ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

NIZHNY NOVGOROD 3(62)/2025

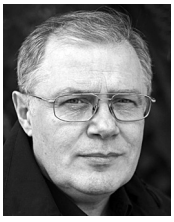
Владимир ЧЕРЕМНЫХ
Пермь
4

Игорь ПАЛАШОВ
Нижний Новгород
45

Павел ЛАПТЕВ
Выкса
Нижегородская обл.
80

Марина СОЛОВЬЕВА
Нижний Новгород
85

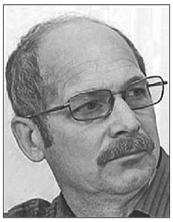
Надежда КОНДАКОВА
Переделкино
97



Александр КЕРДАН
Екатеринбург
102

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
Нижний Новгород
106

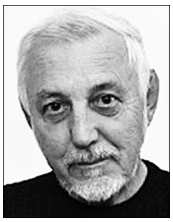
Олег РЯБОВ
Нижний Новгород
114



Николай АЛЕКСАНДРОВ
Колывань
Новосибирская обл.
131

Владимир ГОФМАН
Нижний Новгород
138

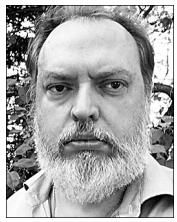
Светлана ЗАМЛЕЛОВА
Сергиев Посад
142



Виктор КУСТОВ
Ставрополь
167

Ксения ЖУКОВА
Москва
175

Светлана ЛЕОНТЬЕВА
Нижний Новгород
193



Дмитрий АНИКИН
Москва
233

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Владислав ЧЕРЕМНЫХ
МИШУРИН РОГ. *Отрывок из повести* *4*
Игорь ПАЛАШОВ
ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ОСТРОГ 45
ПАЛЕЕВЫ 65
Павел ЛАПТЕВ
КОШКИ И ПРОЧИЕ АНГЕЛЫ 80
Марина СОЛОВЬЕВА
РОВЕСНИЦА ВЕКА 85

Поэзия

Фёдор СУХОВ
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД МЕНЯ ТЫ ЖДЁШЬ.... 94
Надежда КОНДАКОВА
ПОБЕДА – ТО, ЧТО ПОСЛЕ БЕД... 97
Александр КЕРДАН
И ТАКОГО КРАЯ НЕТ, ГДЕ БЫ НЕ БОЛЕЛО... 102
Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
НЕМАЛЫЕ НАРОДЫ 106

Проза

Олег РЯБОВ
НА РЫНКЕ 114
В СТАРЫХ ДВОРАХ 119
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ 127
Николай АЛЕКСАНДРОВ
КЛОУН 131
В ЗАЛИВЕ ТЕРПЕНИЯ 136
Протоиерей Владимир ГОФМАН
ДЯДЯ КОЛЯ 138
Светлана ЗАМЛЕЛОВА
ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ 142
Виктор КУСТОВ
МИЛАЯ ОСОБЕННОСТЬ 167
Ангелина СЫЧЕВА
БЕЛЫЙ НАЛИВ 170
Ксения ЖУКОВА
СТУПЕНЬКИ 175
ЗВОНОК 177
КАРУСЕЛЬ 179
Александр КРАМЕР
ЖДУЩИЙ 180

Поэзия

Юрий ГЕРАСИМОВ
И ВОТ ОНА – В ГОРУ ДОРОГА.... 183
Владимир ВАСИЛИНЕНКО
ПРИДИ КО МНЕ НЕ ОТ НУЖДЫ... 187
Ольга ВИКТОРОВА
Я И ЖДУ, И НЕ ЖДУ. ТЫ И ЖДЁШЬ, И НЕ ЖДЁШЬ... 190

Их будущих книг

Светлана ЛЕОНТЬЕВА
ВОЛОНТЁРША. *Отрывок из повести* *193*

Стихи по кругу

Татьяна СТАФЕЕВА 219
Андрей КОЗЫРЕВ 220
Елизавета МАРТЫНОВА 222
Дмитрий ФИЛИППЕНКО 223
Кристина ДЕНИСЕНКО 224
Павел КЛИМЕШОВ 225
Александр ПОПОВ 225

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
«ЧТОБЫ НАША ЖИЗНЬ БЫЛА СВЯТА…» 227

Литпроцесс

Дмитрий АНИКИН
ГОРОДЕЦКИЙ. СТОНЫ, ЗВОНЫ, ПЕРЕЗВОНЫ 233
Иван РОДИОНОВ
СЛЕДИ ЗА ШЕРШНЯМИ
Андрей Ломовцев «Свет мой, зеркало, скажи…» *238*

Проза

Владислав ЧЕРЕМНЫХ

Родился в 1958 году в городе Краснокамск Пермской области. Иженер. Работал в нефте- и газоперерабатывающей промышленности, 16 лет – в японской компании.

Публиковался в «Дне литературы», «Литературной России», журналах «Нижний Новгород», «Нева», «Волга – XXI век», «Дон», «Литературная Армения». Лауреат конкурса сценаристов «Золотой витязь» за сценарий «Прощай, Родина» (2022). Короткий список VI международного конкурса «Славянское слово» (2023).

Живет в Перми.

МИШУРИН РОГ

Отрывок из повести

Поперёк пологого, идущего на запад к Днепру склона тянулась траншея полного профиля. Сквозь редеющую жёлто-красную листву сливающегося с горизонтом леса пробивались весёлые, уже не жаркие лучи заходящего солнца, они лизали округу, как бы прощаясь с южнорусским бабьим летом. Бойцы правили края траншеи, комья земли изредка вылетали по сторонам.

Ефрейтор Мирошниченко аккуратно срезал отточенным штыком лопаты край траншеи, зачищал дно и широким взмахом от плеча выкидывал коричневый мокрый песок подальше от края траншеи – по приказу комбата бруствер не делали, пласты тугого дёрна уносили подальше в заросли. Мирошниченко навалился грудью в тельняшке на древко лопаты, втянул носом речной запах, поглядел на товарища.

– Чуешь, рекой пахнет, – хрипло сказал рядовому Пинегину. Тот обстучал штык лопаты, подмигнул.

– С удочкой бы засесть, – посмотрел в сторону Днепра, – и этих... ззз, ззз, – показал ладонями трепет комариных крылышек, – нету.

У Пинегина это «ззз» получилось как дальний вой «лаптёжника»* – из-за поворота траншеи даже выглянул молодой из пополнения. Мирошниченко заметил испуганное лицо в пилотке, посмотрел на тёмные силуэты тополей.

– Да, Генка.

Мирошниченко ждал, надеялся заскочить в свою деревню, но полк прошёл по шоссе, а деревня осталась правее – не сбе́гать. Последнее

* Такое прозвище в Красной Армии получили пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87 из-за формы обтекателей неубираемых шасси.

письмо из дому, ещё майское 1941 года, краснофлотец Василий Мирошниченко хранил в тетрадке с дерматиновыми корками. Когда с пополнением пришли земляки, Мирошниченко накинулся на них с расспросами: как, как, как?!

Потом затих. Когда тащил в кусты дёрн, прижимал его крепко-крепко.

Работа сделана, настала минута, когда они могли просто жить. Он достал из внутреннего кармана раскинутой на краю траншеи телогрейки целлофановый пакет с папиросами, зычно свистнул и крикнул:

– Славяне, огоньку подкиньте.

А в ответ из-за поворота:

– Фриц тебе подкинет.

Это он просто так крикнул, чтоб услышать ответ. Раскрыл свёрток с разодранной коробкой папирос, протянул Пинегину.

– Пойдём поговорим.

За поворотом, прикрыв ладонями огоньки папирос, трое бойцов тихонько тянули дым.

– Чо, брюхи поют? – спросил сержант их отделения Семёнов. – Послал за кашей молодых, воротиться уж должны.

Он выдохнул струю дыма ко дну траншеи.

– Быстрых должон расстараться – прорву земли перетаскали.

Семёнов на самом деле был не старше тех молодых, которых послал за кашей, а говорил он так для субординации. В их отделении от первого формирования остались он да Мирошниченко с Пинегиным, остальных он звал молодыми.

Мирошниченко сел на корточки рядом с ним, прикурил.

– Не для себя копали.

– То-то и оно. Нам бы сейчас брёвна да доски какие.

Семёнов посмотрел на стоящего у края траншеи Пинегина.

– Ген, твоих бы елей из Сибири на плоты-то. Днепр – не лужа, вон, отсюда слышно его.

Пинегин стоял и слушал, как из прозрачной темнеющей дали, через дыхание кажется, был слышен шелест воды.

Из-за деревьев, со стороны деревни послышался звук подъезжающего «виллиса», хлопнула дверца. Все затихли. Их лица и Генкин богатырский силуэт осветили повисшие звёздами в небе немецкие ракеты – повисели и погасли.

Пинегин, услышав быстрые шаги, повернулся, приметил, как напрямки к траншее от деревни скользили две чёрные тени.

– Не, ребя, это не каша.

Пинегин всматривался в мрак.

Быстро, пружинисто шли двое, оба в телогрейках, первый в фуражке, с полевой сумкой, второй в пилотке с карабином за спиной. Бойцы встали, вытянув шеи.

– Накликал ты, Семёнов, – Пинегин сплюнул за борт.

Офицер бойко подошёл к краю окопа, чтобы не кричать, встал на одно колено, привычно кинул руку к козырьку.

– Здравия желаю, товарищи бойцы. Майор Баранов.

– Здравия желаем, товарищ майор, – как старший по команде ответил Семёнов и машинально одёрнул телогрейку.

– Флотские? – спросил Баранов, цепко оглядев бойцов.

Когда тыловые играют бывалых, окопники сразу видят, – этот блестел в сумерках глазами и смотрел в упор.

– Так точно, ходили, товарищ старший политрук*, – Семёнов ответил с раскачкой, но по форме.

– Где КП 3-го батальона?

Сержант махнул рукой вдоль линии окопов, теряющейся в уже густой тени деревьев.

– Берите два румба правее.

– Спасибо, – Баранов ещё раз оглядел бойцов и задержал взгляд на Пинегине. – С Днепра холодом тянет. Накинули б что на плечи, боец.

Легко встал и, как будто всю жизнь считал направления румбами, зашагал с ординарцем через сумерки к КП батальона.

– Мы в Тихом океане мочены, – поведя плечами, сказал тихо в след уходящим Пинегин. Его голос догнал майора и заставил улыбнуться.

Под низким, затянутым брезентом потолком на перекинутой через тонкую жердь верёвке висела керосиновая лампа, она освещала собранный из патронных и снарядных ящиков стол и раскинутую на нём карту. Павловский знал эту карту наизусть и сейчас смотрел из темноты, как его начштаба старший лейтенант Зверев и замполит батальона Овчаров обсуждали диспозицию.

Иван сидел в наушниках у открытой радиостанции и делал вид, что ловит дивизионную волну, но временами носок его сапога тихонько стучал по полу, и даже нахмуренные брови не могли скрыть, что в наушниках звучало что-то совсем другое.

– Мишурин Рог, Днепрово-Каменка, Бородаевка, Анновка, – гудел в землянке голос Зверева. Начштаба вёл блестящей верхушкой циркуля по руслу Днепра.

– Тут метров восемьсот. Берег невысок, слева остров. Мыс в камнях, заводь, ивы над водой. Картинка. Самое то место для высадки.

– Сколько до берега? – спросил Овчаров Зверева. Тот упёр иголки циркуля в карту, сверил с масштабом.

– Метров пятьсот. Добеги тут с плотами да пушками, – он провёл пальцем от намеченных синим позиций батальона до берега, – не по карте бежать.

– Ещё и плотов нет, – медленно, как бы спрашивая себя, проговорил Овчаров.

– Я бы весь батальон не повёл разом через Днепр, – вступил в обсуждение Павловский, – полк тем более.

Он ладонью постучал по жерди, на которой висела керосиновая лампа.

– Таких жердей и другой мелочи тут много. Роту на небольших плотиках. С собой пулемёты и двойной боекомплект. По-тихому обойти мыс, в заводи чалить и брать плацдарм. Вот тут, у Мишурина Рога, левее, – Павловский уверенно показал пальцем место, – потом батальоны, и броском к шоссе и держать. Держать, пока вся дивизия не переправится.

– Лихо. Я за. Кабы артполк помог, вообще песня.

Зверев засветился ярче циркуля.

В это время Иван переборщил с тактом, и замполит, преодолев деликатность преподавателя начертательной геометрии и парторга фа-

---

* Институт военных комиссаров и политических руководителей (политруков) в Вооружённых Силах СССР был ликвидирован в октябре 1942 года, и введён институт заместителей командиров по военно-политической работе (замполитов). В войсках некоторое время замполитов продолжали неофициально называть «комиссарами» и «политруками». Майор Баранов ранее был старшим политруком отдельного сапёрного батальона, старший лейтенант Овчаров – политруком батальона.

культета прикладной механики, развернулся и, так как долго терпел, гаркнул:

– Перестаньте садить батареи!

После этого над радиостанцией пропали уши в наушниках, словно там никого и не было.

– Как думаете, политрук? – по старой привычке спросил замполита Павловский.

Тот ещё не отошёл от своего командирского опыта и сразу хмуро ответил:

– Думаю, надо набирать добровольцев.

Павловский заметил, что этот пришедший с пополнением насквозь штатский человек понимал логику тактических решений и, кажется, имел своё мнение. Овчаров продолжал:

– По-тихому, на жердях, – это значит люди раздетыми поплывут, а вода в Днепре уже холодная.

– Морской пехоте не привыкать, комиссар.

Зверев положил руку Овчарову на плечо, а тот не знал, как реагировать – ему было хорошо, но правильно ли? Зверев же стучал кулаком по карте.

– Но шоссе без артиллерии не удержать.

– Я поддерживаю, – как мог строже сказал замполит.

Павловский посмотрел на начальника штаба, на замполита, провёл ладонью по карте.

– Вы смотрите. Дальше ведь равнина как стол.

– Дожди зарядят, и равнина станет болотом, – Овчаров сказал это сразу, не подбирая слова и тона.

– Мужики, у меня прямо зуд перед делом. Рвать надо. Рвать!

Зверев выпрямился над картой:

– Нефёдов!

Над радиостанцией тут же показалось длинное лицо Ивана в наушниках:

– Я!

– Не сдохнут батареи, политрук. Главное – не утопить их. Комбат, не возражаешь?

– Давай, – у Павловского после хорошо сделанного дела было настроение, как он говорил, с игринкой. Батальон вовремя занял рубеж, фланги прикрыты, закопался, связь, лазарет, кухни – всё нормально. Зверев махнул рукой Ивану.

– Музыку.

– Есть, товарищ старший лейтенант, – Иван щёлкнул тумблером и переключил станцию с наушников на динамики, пытая уши, подстроил волну... Землянку наполнил голос Утёсова.

Ты одессит, Мишка, а это значит...

Под утёсовский голос в землянку и спустился Баранов с ординарцем. Зверев, увидав, махнул рукой и сделал страшное лицо – Утёсов замолк.

– Здравия желаю, товарищи офицеры. Замполит отдельного сапёрного батальона майор Баранов, – вошедший представился не трескуче, подошёл к столу, жмурясь от света лампы, достал из телогрейки удостоверение и протянул Павловскому. Тот пробежал глазами по корочке, заглянул в глаза Баранову.

– Здравствуйте, товарищ майор. Нас предупреждали.

Вернул документ, как будто уже был знаком.

За спиной Баранова в чёрном проёме входа в землянку сутулился под потолок ординарец, его круглое лицо в пилотке светилось из темноты блином – он огляделся и сел на ступеньку, закинув ногу на ногу. Как притёртые временем камни ложатся в гору, так эти двое пришли и уже были свои.

Баранов поздоровался с офицерами за руку, шагнул к карте, снял фуражку, пригладил рукой тёмно-русые, с большими залысинами волосы. Аккуратно подсечённые бритвой виски белели на смуглом профиле. Свет лампы выделил на худом лице острые скулы, волевой рот человека, умеющего принимать решение, высокий лоб, изборождённый глубокими морщинами, и горящие живым интересом глаза. Потёртая, местами зашитая телогрейка была ладно перетянута портупеей, полевая сумка висела как приклеенная справа. При этом Баранов дышал свежестью кадрового офицера, привыкшего в любой обстановке быть выбритым иссиня, иметь чистый подворотничок и запах, пусть чёрного, мыла.

– Люблю Утёсова. И песня к месту. Что думает штаб? – без паузы и остановок спросил Баранов.

– Вот об вас как раз и думаем. Нам сапёры – вот так нужны.

Зверев уставился на Баранова и провёл ладонью по горлу.

– Батальон подтягивается. Доски, брёвна, понтоны везём с собой... Мало, для дивизии это кот плакнул.

– Роты сегодня прошерстили округу – пусто. Немец всё выгреб или сжёг, – Овчаров это сказал даже не потому, что не на чем будет плыть, а просто швах как горько.

За спинами раздался глухой голос ординарца:

– Степан Васильевич, я на улице подожду.

«Васильевич» прозвучало как-то сложно. Баранов обернулся:

– Да, Унто, подожди.

В проёме неслышно растаяла долговязая фигура.

– Он кто? – спросил Овчаров.

– Финн, Унто, красногвардеец. Мы с ним ещё с финской компании, – сказал Баранов и тут же продолжил: – Немец пунктуально всё выгреб. Второй день яблоки едим, а яблони спилены. Что думаете об этом месте? – Баранов показал пальцем на тот самый мыс на карте между селом Мишурин Рог и деревней Днепрово-Каменка.

– На нашем участке лучшего места для переправы нет, – Павловский ещё раз внимательно посмотрел на сапёра.

– Вот так же рассуждали и Карл XII с Мазепой, когда от Петра драпали, – Баранов склонился над картой. – Глубина, скорость течения... время, время, время, – это он сказал с нажимом, словно уже мерил ресурсы отдельного сапёрного батальона.

– «Охотники» с берега вернулись. Нефёдов, – Павловский оглянулся к Ивану, – соедини с Востриковым.

– А идёмте к ним. Люди устали, да и хочется из первых уст услышать. Не обижайтесь, комбат.

До самого Днепра стелился туман, он накрывал последнюю перед снегом траву, траншеи, и, подняв глаза к небу, можно было видеть, как мигают сквозь поредевшую листву звёзды, а потом вытереть рукавом воду с лица и слышать, как шуршат под сапогами сухие листья. Шли друг за другом – первым Павловский, за ним Баранов и Овчаров, замыкающим шёл Унто.

– Побывал сегодня в первом и втором батальонах, – выдыхая на ходу пар заговорил Баранов, – работать-то вместе.

Овчаров хотел ответить как коллеге, но тут с далёкой-далёкой высоты донёсся протяжный звук, словно оса кружилась у гнезда.

– Рама кружит, – сказал он как коллеге.

В землянке у «охотников» тихохонько вздыхала гармошка, у завешенной плащ-палаткой стены сидел санинструктор отряда Димитрич и, склонив голову к мехам, не спеша ласкал своими большими пальцами кнопки. В свете самопальной керосинки на лбу у него блестели круглые очки, а глаза были призакрыты.

На широкой лежанке из ивовых веток стояло ведро, из которого выглядывали краснобокие яблоки, рядом, поджав ноги по-турецки, сидел Лёнька Бельды и хрустел яблоком. На нём был только флотский тельник, а из солдатских галифе ехидно торчали босые ноги и покачивались под музыку. Сергей начищал свои и так уже сияющие сапоги. Ворот его гимнастёрки был расстёгнут – прощай устав, и белоснежный подворотничок распахнулся на стороны. Когда Лёнька потянулся за следующим яблоком, Сергей, хоть и был занят сапогами, быстро отодвинул ведро подальше.

– Да у них там этих яблок... – Лёнька надул щёки, – о! – и махнул рукой к потолку.

Сергей покрутил ногой, оценивая блеск сапога.

– Презент. Пусть компот варят.

За его спиной послышалось движение. Лёнька сдул щёки, соскочил с лежанки и быстро-быстро принялся обтирать босые ноги о галифе, и засовывать без портянок в сапоги, при этом он улыбался до ушей. Сергей вытянулся, но гимнастёрку застёгивать не стал – боялся испачкать гуталином нулёвый подворотник. Димитрич аккуратно поставил гармонь у стены, взял свёрнутый ремень, быстро встал и затянул гимнастёрку. Среднего роста, широкоплечий, сразу видны сильные руки, голова брита наголо, очки блестят стёклами на лбу.

Баранов успел их всех разглядеть из-за плеча Павловского, а они его. Кажется, проверку прошли.

– Здравия желаю, товарищи бойцы, – чуть растягивая слова, громко поздоровался Павловский и шагнул к Димитричу – от него была лучше видна землянка. – К нам сапёры познакомиться пришли. Вот, товарищ майор, замполит их батальона услышать хочет, что высмотрели.

Тут, отодвинув плечом Унто, в землянку вошёл лейтенант Востриков, встал и осветил всех своими серыми глазами из-под чёрных бровей.

– Наш командир разведки, младший лейтенант Востриков, – представил Павловский. Даже при мерцании коптилки стало заметно, как покраснел лейтенант, когда Баранов жал ему руку.

– В полку «охотников» перед форсированием по батальонам раскидали, – пояснил комбат.

Наступила напряжённая тишина.

– Мужики, присесть бы, – Баранов снял фуражку, ища глазами куда бы её положить.

Востриков выдохнул, глянул на своих, и тут же появились откуда-то ящики и даже венский стул с гнутой спинкой, который Сергей двумя руками поставил прямо к Павловскому. Баранов привычно уселся на ящик, ещё раз оглядел собравшихся, обратился к лейтенанту:

– На Днепре были? Рассказывайте.

– Ширина русла 800 метров. С нашей стороны зыбь, тина. По берегу ивняк. Скорость течения метра полтора.

– Глубину не прикидывали?

– Нет, – Востриков виновато опустил свои серые глаза к полу, потом глянул из-под бровей, – всё пристреляно.

Павловский, подавшись вперёд, скрипнул стулом.

– Расскажите про мыс.

Наблюдение, о котором заговорил комбат, сделал Димитрич, и лейтенант не мог заставить себя докладывать за него.

– Казаковцев, доложите, – снова краснея, приказал санинструктору. А тот, помедлив, неторопливо доложил:

– Судя по барашкам, товарищ майор, там отмель должна быть. Аккурат напротив мыса.

Баранов смотрел в глаза рядовому, и со стороны казалось, что эти близкие по возрасту люди говорили друг с другом о чём-то неслышно для окружающих. Павловский хорошо знал Казаковцева и с интересом наблюдал доклад своего бойца.

– Хорошо, – Баранов опустил руку на колено, – товарищи, давайте просто поговорим. Командиры не возражают?

– Не возражаем, – улыбаясь только глазами, заключил комбат и закинул ногу на ногу. Сергей при этом вытянул шею и зажмурил глаза – стул под комбатом стал клониться к земле и жалобно скрипнул.

– Рябов, ты какой мне стул подсунул?!

– Венский, товарищ капитан. Садитесь к нам.

Сергей с Лёнькой, подвинув Унто, сразу уселись ближе к выходу, а Павловский, незлобиво чертыхаясь, уселся рядом на ивовые ветки. Овчаров снял фуражку и навалился спиной на плащ-палатку.

– Какое расстояние от ваших траншей до реки? – продолжил разговор Баранов.

Народ в землянке колыхнулся, переглянулись.

– От 500 до 1000 метров, – ответил Павловский.

– Да-а. Опыт форсирования у вас есть?

– Три раза Ловать форсировали. Весной ещё, по льду.

– Северо-Западный фронт? Вот и встретились болотные. Мы с Волховского, – Баранов осветил землянку широкой улыбкой, на глазах даже слёзки блеснули.

– Да, есть что вспомнить. Не злые мы тогда ещё были.

– А сейчас злые?

Молчание накрыло землянку, и тут Павловский сказал:

– Сейчас злые...

– Романтика была, – вдруг философски заключил Сергей, сам соображая, как смыться. – Может быть, чаю? А, товарищ младший лейтенант?

Востриков никак не ожидал такой наглости при комбате, да при чужом майоре – сидел и ел глазами Сергея.

– Знаю я твою романтику, Рябов, – Овчаров сказал это, покачивая головой.

– Только чай, товарищ замполит.

– Как, Степан Васильевич, время есть? – Павловский назвал гостя по имени отчеству, все заметили это и про себя согласились.

– Наверно, не придётся нам чайку попить. Нового комполка вам назначают – думаю, вот-вот на представление вызовут.

– Да, ждём.

Сидевший с краю Унто отвёл свою сапёрную лопатку штыком за себя и сквозь прорезанную ткань чехла блеснул металл. Потерявший

надежду сбежать, Сергей провёл пальцами по лезвию и отдёрнул руку – на ладони налилась черным полоска крови.

– Покажь, – слизывая языком кровь, попросил Сергей.

Унто достал аккуратно лопатку и отдал Сергею. Глаза собравшихся проводили играющий в свете коптилки штык от рук владельца к Сергею, а тот удивлённо рассматривал металл и осторожно трогал по плоскости.

– Это наш начмех научил. Немецкую каску пробивает на раз, – с гордостью пояснил Баранов.

У Сергея само вырвалось:

– Да ну?!.. Извините, товарищ майор, – он вернул лопатку Унто и тут же спрыгнул с лежанки, встал на четвереньки и вытащил из-под ног товарищей немецкую каску с двумя чёрными молниями и молча положил на землю в самый центр землянки,

– Бей, – глянул на Унто и похлопал каску по темечку.

Унто посмотрел на Баранова – тот кивнул. Ординарец встал, окинул взглядом низкий потолок, потом, крутанув в руке лопатку вдоль древка, сжал её ручищей, чуть наклонился в сторону, размахнулся и на выдохе, привстав на одно колено, с зычным «ха», рубанул штыком по каске. Все собравшиеся, вытянув шеи, смотрели на результат. Каска лежала на том же месте, куда её положил Сергей, только поперёк темени, немного справа, по самые клёпки в каску вошёл штык лопатки. Унто тяжело дышал, грудь раздвигала телогрейку.

– Вынимай, – скомандовал Сергею, а сам снова уселся. Сергей попробовал достать – не поддалась лопатка, вросла в эсэсовское темя. Он зажал обеими ногами края каски и с раскачкой выдернул лопатку, посмотрел на штык.

– Товарищ младший лейтенант, мне нужен напильник.

Лопатка пошла по рукам, её рассматривали, гладили металл, даже нюхали. Когда она доплыла до Павловского, он провёл пальцами по стали, потёр заточку, поднёс к коптилке, и когда металл нагрелся, серьёзно сказал:

– Углеродистая сталь, близка по составу к инструментальной. Один минус – качество мы пока не можем стабилизировать. Вот пойдёт сортовой прокат... тогда.

– Это да. Но на одну каску в любом случае хватит, а, товарищи? – Баранов хоть и задавал вопрос, а глядел на собравшихся утвердительно и в ответ услышал:

– Приноровиться, так и боле можно.

– Где же вам пришлось испытать инструмент? – спросил Павловский.

– Высотку одну брали у Синявино, – Баранов повернулся к ординарцу, – помнишь, Унто?

Тот только поёжился и кивнул.

– С заточкой поможем. У нас есть наждаки.

– Спасибо, товарищ майор. Мы лопатки завтра раненько принесём. Скажите, куда нести? – Востриков уже переводил разговор в практическое русло и был жутко серьёзным.

– Несите в Светлогорское. На берегу майданчик – там наш штаб найдёте, разберёмся, мастерские только начали разворачиваться.

Баранов что-то вспомнил, энергично раскрыл полевую сумку и достал несколько сложенных вдвое листков.

– Вот памятки вам, как «тигров» бить, – он передал листки Павловскому, – ЗИСы их не берут. Над задними катками им надо бить, по мотору.

По рукам пошли отпечатанные во фронтовой типографии памятки с профилем танка, с чёрными точками, показывающими уязвимые места. В мерцании пламени коптилки серые листки словно сами горели в руках бойцов. Павловский внимательно рассматривал листок, потом спросил:

– А гранатой по мотору тоже можно?

Блестели глаза, люди ждали ответа.

– Связкой, – с края лежанки сказал Унто.

Притихла землянка – все уж обстрелянные, и в голове у каждого был практический вопрос: как это сделать?

Комбат в своих бдениях над картой давно уже думал о танках, считал время – когда провести учёбу, как?

– Не воевали мы ещё с танками, – само сорвалось у него с губ, сказал и посмотрел на Димитрича, – только Казаковцев.

– Где же вам воевать пришлось? – тут же спросил Баранов.

Димитрич перевёл свои серые, близорукие глаза на Баранова, машинально потёр ладонью изуродованную ожогом щеку. Отвечать он не спешил, словно вспоминал и подбирал слова.

– В Великих Луках, у Веденьщины. Товарищ капитан знает, где это. Тоже у «охотников» санинструктором был. 953-й полк, 257-я стрелковая дивизия.

– Это не Дьяконовская ли?

– Так точно.

– Знаю Анатолия Александровича с финской. Лихие у него лыжники. А как же глаза?

– Из-под огня и без очков вытащу.

– Анатолий Димитрич просвещает нас, – сказал Востриков и опять покраснел, – давеча про Лермонтова рассказывал. В школе такое мы не проходили.

– Учились?

– Исторический факультет Кировского пединститута. Диплом получить не успел. 22-го июня повестку прислали.

– Вы член ВКП(б)?

– Да.

– А кем до войны работали?

– Грузчиком работал на спичфабрике.

Баранов смотрел на бойца с вопросом – перед ним сидел человек почти того же возраста, широкой крестьянской кости, не привыкшие держать карандаш руки лежали на коленях. Как собрать вместе? Исторический факультет, крестьянин, Лермонтов, грузчик и близорукие глаза, глядящие в упор из под очков-велосипед.

– Всё просто. Большевик должен быть образованным, а я не знаю очень многого, – отвечал явно читающий человек.

– А до спичфабрики где трудились?

– В райкоме, – близорукие глаза бойца казалось были беззащитны, но смотрели в упор на майора, – по аграрному вопросу не сошлись. Товарищ капитан, разрешите выйти покурить? – Казаковцев без паузы обратился к Павловскому через голову взводного.

– Конечно, идите.

Овчаров слушал разговор Баранова с бойцом, глядя на начищенные носки своих кирзовых сапог и хотел сменить тему. Казаковцев всё решил сам.

Надев военную форму после майских праздников, замполит батальона ещё не знал, как вести себя с людьми в окопах, изо всех сил ломал

свои университетские привычки, хмурил брови, говорил газетными заголовками, а потом корил себя, начищал кирзачи, хоть мог бы потребовать и юфтевые.

– Нам батарею ЗИС-3 придали. Вы говорите, не бьют они этих «тигров»? – Овчаров спросил это не формально.

– В лоб – нет. А что за народ в батарее? Вы с ними познакомились?

– Бойцы сталинские, обстрелянные, шахтёры.

Тут вдруг снова заговорил Сергей.

– У них комбата богом зовут.

Овчаров успел только брови поднять.

– За что ж его так? – усмехнулся Баранов.

– Да, так и зовут. Не мажут у него.

Овчаров решил разъяснить вопрос с Богом.

– Артиллерия – бог войны. Вот и прозвали его. С командиром батареи я разговаривал. Полещук Иван Иванович, учитель математики из Чернигова, воюет с 41-го года, – Овчаров говорил, как читал характеристику. Павловский оторвался от памятки по борьбе с «тиграми» и поглядывал на своего политрука. От Баранова не ускользнула улыбка на губах комбата.

– В бою посмотрим – мажут, не мажут, – Павловский сказал это не от недоверия к командиру батареи – не знал он ещё его. Павловский глядел тогда на собравшихся в землянке и чувствовал – свои, и вот этот университетский в новой шинели колом – свой.

Овчаров шлёпнул себя ладонью по шее повыше кадыка:

– Грешок у него есть. Как напьётся, с котелком на Кальмиус за водой рвётся. Его бойцы останавливают. Потом, говорят, плачет.

С улицы послышались летящие шаги, и в землянке нарисовался связист Нефёдов, вытянулся и, осветив землянку овалом своих ещё не знавших бритвы щёк, громко отчеканил:

– Товарищ капитан, вас в штаб полка вызывают. Товарища майора тоже.

– Вот и новый комполка, – Павловский отдал памятку Овчарову. – Нет кабеля – есть ноги. Информация – жизнь. Вольно, Нефёдов.

Когда вышли в траншею, увидели Димитрича – он смотрел в сторону Днепра и не курил. Со спины были видны дужки его очков и блестел край стекла. Баранов, проходя мимо, встал рядом.

– Не обижаетесь?

– Нет, – боец обернулся к замполиту сапёров и ответил без удивления, помолчал и продолжил: – И ни на кого. Жена написала, уже на всех похоронки пришли.

Они молча пожали руки и смотрели друг другу в глаза, как люди, знающие что-то для них общее.

– Я их люблю, – тихо сказал Казаковцев вслед уже расплывающейся в темноте фигуре замполита, но густой, влажный воздух донёс его слова. Баранов услышал, обернулся, кинул руку к козырьку и ушёл.

В такт шагам под сапогами шуршали тополиные листья, тени деревьев проплывали мимо, и было несколько минут, чтобы поговорить.

– Вы не кадровый, вы инженер? – заговорил первым Баранов.

– Закончил Сибирский институт чёрных металлов, я инженер-металлург. Служил срочную, был лётчиком. В 41-м меня сняли с эшелона и направили на «Амурсталь».

Говоря это, через вдох-выдох, Павловский вспомнил свой аэроклуб в Великих Луках, деревянное здание, ступеньки под коньком крыши,

лётное поле, класс и ребят. Сашки Попова нет – сердце сжалось. Павловский как будто увидел в небе между мотающихся веток чернявого мальчишку – АС Попов (Александр Сергеевич – Павловский его назвал как когда-то в аэроклубе).

– Что вы сказали? – откликнулся Баранов.

– Друг у меня погиб. Лётчик. У нас на Псковщине ребята беленькие, а он чернявый был. Ганнибал.

Дальше шли молча, пока впереди не забелели силуэты хат.

– А вы, Степан Васильевич, к нашему делу тоже отношение имеете? – спросил Павловский, когда под ногами перестали шуршать листья.

– Нет. Пришлось воевать. Я в кадрах РККА с 24-го.

– Если не секрет, откуда вы?

– Мы с вами почти земляки. Родился в городе Гдов, Псковской губернии. С отцовской артелью ушёл в Петроград мостовые класть. С пятнадцати лет в Красной Армии. После гражданской закончил военную школу ВЦИК.

– Стой! Кто идёт? – проорал молоденький часовой из темноты.

– Волга, родной. Волга! – ответил ему Баранов.

* * *

Сергей, опершись рукой о край траншеи, легко выскочил на одеяло тумана, подхватил ведро с яблоками и, поскрипывая дужкой, вразвалочку зашагал через лес в сторону деревни. Шуршали листья, скрипела дужка в такт шагам, пар изо рта струился в темноте, а с неба сияли полтавские звёзды и, как бы Серёга ни задерживал шаг морским увалом, он уже почти бежал и остановился только перед хатой, над крышей которой из трубы поднимался дымок. Он тихохонько, так, чтобы не скрипнула ни одна досочка, поднялся на крыльцо, встал у входа, постучал в дверь, прислушался, постучал снова, потоптался и распахнул дверь настежь.

– Здравия желаю, девчонки! – проорал Сергей, перешагивая через порог. А в ответ зазвенела посуда, брызги из огромного таза, и тоненькая Оля в белой нательной рубахе навыпуск пискнула и закрылась гимнастёркой.

Вера не торопясь откусила нитку, затянула на пальце узелок и показала Сергею кулак:

– Чем пахнет?

– Карболкой.

– А по-людски-то зайти не мог?

– Я постучал. Вот вам яблоки на варенье, на компот.

Серёга улыбался и смотрел на Лиду – она тихо сидела у печки перед разложенными на тряпице частями своей винтовки и смотрела на него. Он торжественно поставил ведро на стол.

– Вот, можете сок делать или там кальвадос.

– Чего, чего? Рябов, если ты про брагу, то иди к Быстрых, – Вера сделала руку торжественно-указующей в сторону завешенного плащ-палаткой окна. Сергей посмотрел в указанном направлении и упёрся глазами в торопливо натягивающую гимнастёрку Олю.

– Девчата, там майская ночь, как у Гоголя.

– Рябов, завтра октябрь будет, – голос Веры звучал со спины, а Серёга смотрел на прядь Лидиных волос и блестевшие на него глаза.

– Всё равно Гоголь. Лид, пойдём погуляем.

– Ты зачем пришёл, кавалер? – уже смеялась из-за плеча Вера.

– Девчат, кипяток нужен... Лида, на улице сказка.

– А кипяток? – наконец заговорила Лида.

– Так девчонки крикнут, когда закипит.

– Крикнем-крикнем, – пропела Вера и обняла севшую рядом с ней Олю, – Лид, успеешь свой инструмент смазать. Правда, сходите.

Сергей обернулся на Веру, наверное, как на мать – молодой он был, хоть и фартовые бачки чернели на щеках.

Лида подняла глаза на подруг, щёки разрумянились.

– Мы пойдём.

Уже на выходе не мог Сергей не покуражиться, подмигнул Оле и пропел тоненьким голоском:

– Я чайничала, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала, – и выскочил на крыльцо.

– Бакенбарды не застуди, – донеслось ему в след.

Сергей и Лида шли друг за дружкой по узкой тропинке вдоль плетня. Впереди чернела пустая хата с распахнутыми створками окон, за ней следующая, а дальше, за тополями, белел силуэт колокольни, упирающийся чёрным крестом в Млечный путь. Лида слушала его шаги за спиной и ждала, ждала, ждала, что он скажет. А он молчал, вспоминая глупые слова, которые он говорил раньше, гнал их и всё смотрел на ладную Лидину фигурку со складками гимнастёрки сзади. На поляне перед продутой сквозняками хатой Сергей, забыв всё на свете и даже то, где он сейчас, взял Лиду за плечи, повернул к себе, прижал и стал целовать, целовать, целовать – без ума, без слов, захлёбываясь её запахом.

А она ждала другого.

Задул откуда-то ветер, хлопнула со скрипом оконная створка. Плечи под его руками как застыли, и руками в грудь.

– Нет, нет!

Он ещё прижимал её, а она, выгнув спину:

– Нет!

Ветер путался в верхушках тополей, кружил листья и вдруг вихрем поднял их над чёрными крышами.

Чайник кипел, выплёвывая из горлышка кипяток с паром.

– Я пойду, крикну? – спросила Оля.

– Погоди.

Девушки сидели на лавке рядышком и молчали. Дверь распахнулась, и в чёрном проёме подруги увидели растерянное лицо Лиды. Она сорванным листом влетела в хату и сразу села у своей винтовки. Сергей зашёл следом, постоял, глядя в пол, потом с какой-то весёлой злостью глянул в вопросительные глаза подружек, снял раскалённый чайник с печки и выдал:

– Оль, знаешь ли продолжение?

– Про что?

– Про чаёвничала... А я с Колей в калидоре калидорничала, меня Коля целовал, а я модничала.

– Какой ещё Коля? – Оля хлопала глазами.

– Дурак! – крик Лиды, как разбитое стекло, искрами разлетелся по хате. Стало тихо. Лида сидела, закрыв лицо ладошками и её детские плечики безутешно дрожали под новенькими сержантскими погонами.

– Это персонаж вымышленный, – уже готовый провалиться, пробормотал Сергей.

У двери он оглянулся на Лиду.

– Спасибо, разведка вас не забудет, – сказал всем и вышел.

Лида, сгорбившись, сидела перед разобранной винтовкой и машинально передвигала затвор. К ней через комнату лёгкая, как ангел в гимнастёрке, подошла Оля, встала на коленки и так стояла, сжимая ладошки на груди, не решаясь ни тронуть, ни сказать.

– Лид, ничего не было? – Вера это сказала и мотнула головой, уронив на лоб уже седую прядь.

– Дура ты! Ой дура, Лидка, – Вера качала головой и сжимала побелевшими пальцами лавку, – в дивизии набирают добровольцев. Серёжка ведь первым пойдёт.

Лида как очнулась, отложила на тряпицу затвор. Её огромные чёрные глаза сияли слезами и испугом.

– Куда? Я с ним пойду!

А потом она летела за ним по туману, под метелью из листьев, она хватала губами сырой осенний ветер и стирала ладонью слёзы. Где-то за огородами она догнала его, обхватила руками и целовала в глаза, в щёки, в нос. А он стоял с горячим чайником и боялся её обжечь.

* * *

В штабе полка только что прибывший на должность подполковник Путахин стоял у стола и молча рассматривал собравшихся офицеров. Его прищуренные глаза не торопясь проходили одного за другим, губы над мелким подбородком были поджаты. Подполковнику едва было за тридцать, и он явно подражал кому-то из высших командиров – его портупея с кобурой и фуражка лежали на столе, китель с иголочки окрыляли погоны, широченные галифе были заправлены в сияющие дорогим хромом сапоги. Офицеры штаба, командиры батальонов и батарей переминались с ноги на ногу своими растоптанными сапогами, ждали слов.

Подполковник начал говорить тихо, кажется, только тем, кто стоял рядом. Офицеры вытягивали шеи, прислушивались.

– Перед полком поставлена задача переправиться через Днепр и овладеть селом Мишурин Рог, – подполковник говорил и продолжал рассматривать офицеров. На мгновение он замолчал, и потом в уши офицеров ударил его отшлифованный, чуть с хрипотцой командный голос.

– Почему полк топчется на месте?!– командир полка задавал вопрос всем, а смотрел на заместителя командира полка майора Дворникова. Майор смотрел в пол, а желваки бугрились – сбитый таким знакомством с новым комполка он искал слова, наконец поднял голову и, ругая себя за что-то, глухо начал:

– Полк занял рубеж...

Подполковник Путахин оборвал его доклад тем же командным голосом:

– Майор, если боитесь, идите в тыл и там управляйте. На бумаге! Я академию закончил. Завтра... уже сегодня в 24:00 полк должен форсировать Днепр!

– На чём? – уже разозлившись спросил Дворников.

– На соплях! Командир сапёрного батальона? – Путахин всё также с прищуром искал командира приданного сапёрного батальона. Невысокий, плотный майор с чёрными петлицами на гимнастёрке сделал шаг вперёд.

– Командир отдельного сапёрного батальона майор Петровский.

– Вон там должен быть твой батальон! – новый командир полка говорил так, словно желал вбить подчинённых в пол, а вот этого «кругля-

ша», как он определил для себя командира сапёрного батальона, чтобы ветром сдуло поднимать батальон немедленно. Путахин поднял руку и в полной тишине пальцем указал в сторону Днепра.

Майор прочно стоял – крик подполковника обдул его, как верстовой столб. На своём сапёрном веку комбат видел много разных командиров, за его батальоном тянулись дороги, траншеи, переправы, мосты, гати солдатскими руками, на пупу, да на нашей «матушке» поднятые. Он, приученный этим своим веком считать и управлять, нарастил на себе такую броню, что пробить её могла бы только немецкая пуля.

– Батальон вышел к Перевалочной в назначенное время. Материальная часть следует по графику, – чётко начал доклад майор. Но комполка перебил его:

– Не умничайте, майор. График, понимаешь. Там! – подполковник снова показал пальцем в сторону Днепра. – Я должен слышать стук топоров! Сейчас!

Путахин посмотрел на блеснувшие на левом запястье часы:

– В 24:00 переправа. Первым идёт первый батальон. Направление – Мишурин Рог. У вас меньше суток.

* * *

Солнце только-только позолотило округу, ветер кружил листву по разъезженной дороге у ног стоящей на краю старухи. Она стояла под холодным голубым небом и слушала звуки, доносящиеся с другой стороны дороги – стук топоров, скрип несмазанных петель, мужские голоса.

– Ты табличку-то снял?

– Снял. Вон она.

– Затопчем, потеряют покойника-то.

Между голых кустов, под нависшей продутой ивой качался серый деревянный крест, слышался натужный счёт:

– Раз, раз, раз... тянем.

Она стояла у дороги, став слухом и зрением – пальтецо, подпоясанное немецким ремнём, топорщилось выше круглых коленок, ноги-палки утонули в широченных голенищах немецких же сапог, в щепоть собранные глаза и губы обнимал полушалок, прядь волос шевелил ветер. Мимо, на солдатских плечах, плыли кресты, солдаты, проходя, отводили глаза, а старуха глядела им вслед и провожала каждого так, словно знала больше, чем они.

– Ну чо, поташшили... прости Господи, – через ограду долетел всё тот же голос.

Она подняла лицо к небу за высоко поднятой рукой, медленно опустила руку к земле, потом также медленно тронула правое плечо, левое и наклонилась к земле низко-низко, и так снова и снова. Перед ней через дорогу бойцы, упираясь в землю ломиком, снимали с петель кладбищенские ворота. И вот, когда рука дрожала у неба, страшный грохот разрушил поток звуков, и пыль заклубилась по дороге у пустого места.

– Ты прости нас, мать, – услышала она совсем рядом.

Боец заглянул ей в лицо и сказать дальше ничего не мог – девчонка, седая девчонка крестила его.

– Таблички-то на могилах, – только и сказал, и пошли они с товарищем натужно дыша и прижимаясь щеками к тёплому дереву.

По дороге катила телега, запряжённая одной лошадкой, подпрыгивали и гремели на кочках бочки из-под солярки, норовя раскатиться

по сторонам. Рядом с телегой, подгоняя лошадь вожжами, шёл весёлый узбек и что-то напевал по-своему. Зычный свист пересёк дорогу.

– Тохтасин, ты где это бочки увёл?

– Зачем увёл? Я их увёз. Там многа.

– Дело, дело... Ешшо вези. Мы их под кресты приспособим.

Узбек натянул вожжи, встал, пропуская солдат с крестами, снял потную пилотку.

– Там многа. Мно-о-ога танков.

Да, ночь прошла. Баранов с Петровским уже всё обговорили, доказали друг другу, спланировали, обошли не по разу хозяйство, сделали распоряжения и молча сейчас курили у дороги, смотрели, как бойцы их батальона разбирали крышу пустого дома. Мимо тянулись телеги с пустыми бочками, скрипели колёса, бочки стучались друг об дружку, и пахло соляркой. Баранов курил красиво через мундштук, аккуратно стряхивал пепел на вытянутой руке, пускал в небо струйку дыма, казался спокойным, но по прищуренным, как бы от дыма, глазам чувствовался край. Замполит тихо заговорил:

– Ещё перед войной мысль была понтоны лёгкие с замками для сборки делать – быстро, удобно, даже эскиз набросал, – замолчал и вдруг вырвал, выбросил под ноги, как к чёртовой матери, недокуренную папиросу и твёрдо сказал: – Я с ними пойду.

Петровский тоже думал о деле, не сразу уловил то, что сказал ему Баранов, ещё затянулся, понял и шумно выдохнул:

– Василич?! – Он схватил комиссара за плечи. – Там же!.. Жена ушла, хрен с ней! Не рви сердце.

– Так. Я своим сапогом хочу дно пощупать. Где переправу делать.

Унто слышал разговор офицеров, Баранов знал это, оглянулся к ординарцу.

– Унто, тебя это не касается.

Тот вытянулся рядом с «виллисом».

– Обижаете, Степан Васильевич. Обижаете.

Баранов немного смутился:

– Решай сам.

* * *

Над Днепром тянулись тёмные тучи, а в прогалинах над чёрным берегом металось, сорванное осветительными ракетами вороньё. Ветер трепал прибрежные ивы, срывал последние листья в тёмную воду и нес их, и топил. Правый берег далеко-далеко шумел под ветром, и временами было видно, как листья рябили над тьмой и пропадали.

Баранов с комбатом стояли на краю уходящей в чёрную даль просеки и смотрели на проходивших мимо бронебойщиков с ружьями в небо, на плывущие на солдатских плечах плоты из крестов и бочек, на автоматчиков под железными касками с ППШ, привычно закинутыми за спины стволами вниз. Баранов несколько раз взглянул на комбата – стоит, смотрит из-под козырька на свой батальон, идущий неслышно, ускоряясь под горку, – комбат, я не успел тебя разглядеть.

– Вестовой, – коротко позвал комбат, – комрот, артиллериста и начштаба ко мне, в конец колонны.

Началось, воздух стал тяжёлым и липким, сердце колотило молотом в грудь.

– Я пойду с третьей ротой, – Баранов это сказал тихо, продолжая смотреть на комбата.

– Как будет угодно.

– Я с тобой, комбат, – сказал замполит батальона, докурив.

Подошли офицеры, они разного роста, возраста и масти, на ком-то телогрейка в ремнях, на ком-то шинель, но глаза у всех блестели в темноте одинаково. Баранов их запомнил навсегда.

– Десантируемся по готовности рот. Не ждём. Первый пошёл, второй пошёл, третий пошёл. Я с первой ротой. Начштаба, ты со второй, вы, – комбат глянул из под козырька на Баранова, – с третьей. Артиллерия, стоишь и не дышать... чо бы не вышло. Идёшь по зелёной ракете.

– Товарищ майор, – обратился комбат к Баранову, – что-то хотите сказать?

Что он мог сказать? Уж много-много раз сказанное и слышанное? Баранов смотрел им в глаза, и вдруг само связалось в тугую фразу:

– По-суворовски. С Богом.

Первая рота с ходу, разобравшись вдоль берега, заходила в воду. Бойцы молча, стоя по пояс в воде, затаскивали в Днепр плоты, принимали с берега ящики БК, оружие и укладывали на чёрные острова, которые становились их уделом – шесть на три, четыре угла, и стоишь, как на земле, хоть на четвереньках стой. Оттолкнулись шестами, приняли последних из воды и тихо заскользили, осыпаемые мелким октябрьским дождиком, к едва видневшейся во мраке тонкой полоске правого берега. Переправа пошла.

Комбат затянул рант фуражки на подбородке, и от этого козырёк почти наполовину закрыл глаза. По чёрному лаку струились капли дождя, блестели и падали на небритый подбородок. Он смотрел безмолвное действо – плоты, плоты, первая рота, вторая, третья, и бойцы на глухих выдохах вытягивали плоты тёсаными, самопальными вёслами. Не было осветительных ракет, только чёрные тучи гнал ветер и по воде пока сыпали только дождь.

С нашего берега, среди поникших ив, готовые к погрузке, стояли орудия приданной батальону батареи. Ездовые застыли у лошадей, их руки сжимали вожжи, расчёты замерли, глядя на уходящие вдаль плоты. Командир батареи забрался на лафет орудия и так стоял не шелохнувшись. А за спиной стоял готовый к рывку полк, и сотни глаз напряжённо смотрели в ночь.

Роты прошли середину реки, с передних плотов уже видели, как ветки ив скребут воду.

– Ха, ха, ха!! – с хрипом и слюнями из разорванных ртов онемевшие руки толкали Днепр уже сухожилиями, пальцы срывались с весел, и глаза из-под мокрых пилоток считали этими «ха» расстояние до чёрного берега. Не было осветительных ракет – сразу завыли с неба мины, фонтаны воды поднялись над плотами, и колючим огнём покрылся и затрещал правый берег, следом небо, летящие тучи и воду осветили повисшие ракеты.

Живые стреляли и гребли, оскалив рты, закусив ворот телогрейки, на злости за тех, кто только что дышал рядом, а сейчас уронил руки и пропал в чёрной воде. Комбат оторвал ледяные руки убитого пулемётчика от «максима» и стрелял не ложась, с колен, с отчаяньем обречённого, по горящим в лицо точкам... Наверное, он обернулся на свой батальон, он увидел медленно плывущие плоты – очень медленно, потом всё полетело в небо, и он услышал человеческий рык – так рычат, когда рвутся из бездны. Это он рычал, а вокруг кипел Днепр, тонули люди, хватая воздух, раздвигая чёрную воду – их догоняли строчки пуль, затыкали рты и топили, топили, топили.

Третья рота всё видела, их плоты прошли половину, когда вода впереди вскипела, в небо взлетели чёрно-красные столбы кипятка, и тротиловая вонь ударила в ноздри. Бойцы невольно опускали греби, вытягивали шеи и глядели на ад впереди, а течение сносило плоты, и мины уже ложились правее. Баранов встал на плоту – валко, ветер ударил в грудь, заставил сделать шаг назад – он широко расставил ноги и заорал:

– Не стоять!!! – и тут же начал считать. – Раз, раз, раз!

Потом, поняв, что его не слышат на других плотах, вырвал гребь у бойца и стал мощно грести стоя. Он работал и ждал, озирая округу, и вот с других плотов донеслось, уже не таясь:

– Раз, раз, раз! – Мужики работали вёслами, досками, руками. – Раз, раз, раз!!!

Всё вдруг взлетело – четыре угла, удел десятка бойцов разметало шрапнельным ливнем. Баранов успел запомнить камни на берегу. Солёная от крови вода захлестнула рот, нос – он захлёбывался ею, ловя ногами дно. Фуражку сорвало и понесло водой во тьму. Кто-то схватил его за ворот телогрейки и вырвал на отмель – это был Унто, Баранов видел его профиль. Потом он почувствовал сапогами гальку, и они шли, захлёбываясь густой, солёной водой, вперёд, под правый, злой берег. Горстка бойцов их роты выбиралась по той гальке, а за ними мины, мины, мины вспучивали Днепр, а над головами свистели пули, и небо мерцало ракетами. Баранов нагнулся по плечо, потом встал над водой, разжал кулак – на ладони блеснул песок с мелкой галькой, пальцы сжались крепко-при-крепко.

В тысячах глаз отражался расстрел батальона. Огненные сполохи зажигали небо и открывали застывшие силуэты бойцов. Димитрич стоял во весь рост и глядел на взбесившийся Днепр – стёкла его очков блестели от вспышек на небе. Он стянул рукой пилотку и сжимал её внизу у солдатских галифе.

– Засекай огонь! – Павловский бежал по траншее и орал. Он ввалился в землянку. – Связь с батареей!

Трубка в руке.

– Полещук, засекай огневые точки! – проорал он, касаясь губами холодных дырочек микрофона.

– А мы уже, – услышал Павловский спокойный голос командира своей батареи.

– Спасибо, – выдохнул комбат. Он ещё обзвонил свои роты, потом сел на снарядный ящик и смотрел под ноги – больше он ничего не мог сделать?

Взрывы мин становились всё реже, затихли пулемётные очереди, и только изредка доносились короткие очереди ППШ по правому берегу. Потом всё стихло, и дождик тоже. Ветер гнал тучи на запад, чёрная стена стояла за Днепром, а над головой звёзды мигали в предутреннем небе. Слева вставала заря, делая небо розовым, а под небом, между двух берегов тянулся красной лентой Днепр, и плыли, покачиваясь, по нему могильные кресты.

* * *

Подполковник Путахин мотнул головой вправо так, что фуражка слетела на землю и прядь волос закрыла глаза. Десятка два бойцов, стоявших в две шеренги перед штабом полка, подняли измученные лица на звук пощёчины. В полной тишине, которая казалась вечностью, Путахин рванул кобуру, но его за руки схватили сразу два офицера штаба,

разумно вставших рядом, третий встал перед Барановым. Замполит сапёров не шелохнулся, он стоял без фуражки, по стойке смирно, в мокрой телогрейке, затянутый портупеей, с полевой сумкой на боку.

– Пустите меня! – рычал подполковник и смотрел на Баранова через прядь свисших волос. – Сука! Ты пожалеешь! Арестовать! Конвой! Конвой! Ко мне!

От штаба уже бежал молодющий дежурный офицер, на ходу доставая свой ТТ.

– Конвой! – орал он, сам ещё не понимая, что произошло. А произошло то, что ломает жизнь, и Баранов знал, что сделал шаг куда-то в безвозврат. Ветерок холодил его чёрное, заросшее щетиной лицо, он стоял и вытирал о мокрые галифе горячую правую ладонь, а левую держал плотно сжатой. За ним стояла горстка уцелевших бойцов третьей роты, и он спиной чувствовал их глаза и дыхание. Он видел юношеское лицо спешившего лейтенанта, ясно слышал команду:

– Товарищ майор , сдайте оружие.

Рука расстегнула клапан на кобуре, ствол в ладони на вытянутой руке. В это мгновение раздался скрип тормозов, покрышки проскребли просёлок, и «виллис» встал.

В раскалённой обстановке никто не заметил, как подъехал комдив. На дорогу без паузы вышел генерал-майор Иванов с адъютантом, офицер особого отдела с автоматчиком вышли следом. Иванов, не глядя на Путахина, стремительно прошёл к штабу полка, на ходу бросил команду адъютанту:

– Связь с полками.

Козырнул в ответ встречному офицеру и начал подниматься на крыльцо. Скрипели, прогибаясь, ступени под его начищенными сапогами – весь путь от «виллиса» до этих ступеней он сдерживал себя, чтобы не обернуться и не вступить в ненужную сейчас разборку. Сзади донёсся голос особиста,

– Подполковник, сдайте оружие.

– Я исполнял приказ, – дальше шёл мат, – ты слышишь меня?!

– Сдайте оружие.

– Форсировать с ходу на подручных средствах! – орал подполковник с подвыванием.

Иванов уже ступил на крыльцо и тут резко повернулся – перед ним стояли люди, и все смотрели на него, только особист с подполковником смотрели друг другу в глаза. Комдив сбежал по ступеням, не чувствуя дороги, дошёл до подполковника и встал так, чтобы грудью быть к бойцам, и заговорил так, чтобы слышали:

– За тебя кто должен думать? Иван Степанович Конев?! Ты к Днепру-то ходил? – и уже тише. – Не позорься. Сдай оружие.

* * *

В штабе на стене висела карта, комдив Иванов стоял, набычившись перед ней, вокруг стояли офицеры дивизии.

– Урок получили? – Иванов оглядел офицеров. – Командиром 19-го полка назначается майор Дворников.

Комдив упёрся глазами в майора и смотрел, не мигая.

– Есть, – коротко ответил майор.

– Батальонам выйти на исходные позиции к 24:00. Рота добровольцев идёт первой. Лейтенант Осокин?

– Я.

– В 24:00 вы должны начать переправу. Где намерены заходить в Днепр?

Лейтенант, подошёл к карте и начал показывать, а Иванов смотрел на его выбритый затылок, крепкую шею и белоснежный подворотничок.

– На два километра выше по течению... – услышал он конец доклада. Да, конечно, выше, он этот ивняк сам рассмотрел и принял, – добре. Не спешите, лейтенант.

Он хотел ещё сказать офицеру, но не стал, просто смотрел ему в глаза.

– Встаньте в строй, – потом он снова вышел к карте, – начало переправы по зелёной ракете с плацдарма. Командир артполка?

Вперёд вышел майор-артиллерист:

– Я.

– Огонь по намеченным целям сразу после начала переправы роты. Задавить любую огневую активность. Задача дивизии – захватить плацдарм по линии: село Мишурин Рог, Днепровокаменка, Бородаевка, Анновка, – комдив провёл карандашом по линии будущей обороны, снова посмотрел в глаза офицерам. – Всем ясно?!

Он их знал и верил в них.

– Держать плацдарм и шоссе вдоль Днепра до переправы основных сил корпуса. Ни шагу назад!

* * *

На лавке у палисадника, глядя себе под ноги, сидел Баранов. Его сжатая в кулак левая рука дрожала в такт частым ударам сердца. Майор Петровский сел рядом и раскрыл портсигар.

– Будешь?

Баранов промолчал. Он поднял голову и долго смотрел в сторону Днепра. Аромат папирос, смешанный с запахом сухих листьев, немного кружил голову.

– Когда-нибудь я построю дом на берегу Волги и буду поливать крыжовник, – Баранов говорил это и дрожал всем телом, ему стало нестерпимо холодно. Он разжал кулак. На его ладони блестел песок и мелкая галька. – Я знаю, где делать переправу, – Баранов оглянулся на стоящего рядом Павловского, – капитан, ваши «охотники» правильно указали отмель. Держите 200 метров правее мыса, – он говорил это, и было слышно, как стучали у него зубы. Он стряхнул песок с ладони, провёл дрожащей рукой по уже седым волосам. – Надо б тригонометрию вспомнить.

Искры от наждака веером летели под потолок колхозного сарая, освещая рабочие руки, отражаясь золотыми снопами в чёрных стёклах очков сталевара. Сталь штыка сапёрной лопатки алела на точильном диске. Боец поднял стёкла на лоб к пилотке и, прищурясь, смотрел на мерцающий алым, как живой, металл.

– Гэта добра. Брытва.

* * *

– Лёнька, отпусти меня. Я только посмотрю на него, – Лида стояла уже в камуфляже перед Бельды с зачехлённой винтовкой за плечом, – на чуть-чуть. Я добегу и обратно.

Бельды был глух, как стена, он смотрел в сторону и молчал.

– Товарищ старший сержант! Ну товарищ старший сержант.

В темноте блестели её огромные глаза, казалось, она скажет ещё несколько слов, и из этих глаз потекут слёзы.

Бельды готов был провалиться, он стал смотреть в сторону, потом себе под ноги. А Лида взяла его обеими руками за плечи.

– Лёнька, отпусти ты меня, – как будто тёплый-тёплый ток прошёл через Лёнькины плечи и остался в груди.

– Иди, – сказал он тихо.

Прохладные, нежные губы коснулись его щеки. Лёнька стоял, широко раскрыв свои маленькие узкие глаза, а брови, кажется, подняли пилотку. Он ладонью прикрыл то место.

– Инструмент, БК, сухпаёк – всё в ажуре, – Лида говорила быстро-быстро и снимала винтовку, – я скоро.

Она бежала по опавшей траве, по сухим листьям, через чёрный кустарник, всё вниз, вниз, к Днепру. Лида не чувствовала ног, не слышала своего дыхания, её словно несли крылья, она, как ночная птица, чёрной тенью пересекала пространство. Потом она, не дыша, стояла за ивой у заводи, боясь помешать людям собираться в дорогу.

В блестевшую рябью под ветром воду солдаты спускали плотики, на которых чернели ветками кустов пулемёты и амуниция. Бойцы были раздеты до нижнего белья, на шее у каждого висел ППШ.

Где он, где? – молотил вопрос, и она искала Сергея глазами. Он столкнул свой плотик в воду, ступил босыми ногами следом и оглянулся на ивы, словно ища кого-то глазами – бескозырка, перетянутая крест-накрест пулемётной лентой тельняшка, обрезанные по колено подштанники и ветер заставлял его подёргивать озябшие плечи. Она вышла и подняла руку вверх, её белая ладошка заиграла на ветру платочком. Сергей увидел её и махнул рукой:

– Уходи, мне пора.

А сам всё смотрел и смотрел на неё. Лиду увидели все, бойцы оглядывались на неё и, стараясь не плескать, шагали в воду и тихо растворялись в ночи. Она глядела им вслед, пока последний плотик не растаял во мгле. Дул ветер, он срывал брызги с набегающих волн, хлестал, словно мокрой тряпкой, в лица добровольцев, а они, сжимая побелевшими пальцами скользкий ивняк и пиная босыми ногами октябрьскую воду, упрямо тянули свои «чёрные кусты» почти по гиперболе к намеченной точке высадки. Когда они подходили к береговой линии, левый берег загорелся мерцающей огненной лентой, а затем грохот орудий разорвал ночь, и там, где правый берег соединялся с беззвёздным небом, взлетел огонь, задрожала и вскипела земля.

Высаживались молча, делово разгрузили плотики на прибрежную гальку, разобрали боекомплект, натянули сапоги и, как были в исподнем, пошли наверх.

На левом берегу сначала услышали взрывы гранат и вал очередей ППШ, потом пропало мерцание боя, и всё стихло.

– Ну, давай же!

Все ждали ракеты и спускали в воду плоты.

– Не они, так нам плацдарм брать.

Ракета прочертила небо и повисла зелёной звездой.

– Пошли!

Сотни плотов вползали в воду и чёрными тенями в мерцании речной глади двинулись к правому берегу, как неизбежность или кара тем, кто был против них.

Шумела вода по бочкам, заливала сапоги, несла, качала и снова слышалось над Днепром:

– Раз, раз, раз.

Лошадиный храп, и глаза навыкат от ужаса сверкали белками.

Среди этой флотилии шёл плот, набитый катушками телефонного кабеля, люди гребли и глядели на полоску чёрного берега. Иван вцепился в доску и, выгибаясь всем телом, пропихивал воду под плот. Сопли от холодного ветра текли в рот, а он не успевал их вытирать, и в голове у парня стучало: идём, идём!

– Не спать! Кабелиное племя! – орал сержант Бажутин. – Щас прилетит, – шептал. А потом снова орал: – Раз, раз, раз!

Завыли мины, столбами поднялась днепровская вода, и небо полыхнуло, как днём. Плоты бросало, переворачивало, мешало с водой доски, людей, лошадей, бочки... Поздно, первые роты уже высаживались на берег. Штурм плацдарма пошёл. Вся чёрная линия правого берега содрогнулась от оглушительного: УРА!!!

* * *

Ритмично стрекотал мотор «японца», Андрей Алексеевич сидел, не замечая этого звука, смотрел на прохожих, на кленовый лист, прибитый ветром к лобовому стеклу, и всё возвращался в тот майский день у тестя.

– Не величай ты меня... – слышался голос старика, – не хочу... – отодвинул полную рюмку, и прядь чёрных волос повисла на морщинистый лоб. Потом поднял свои светлые глаза, а они блестели.

– Марусь, – жена прислонилась к косяку, платочек белый с голубеньким узором поправляла, – Маруся, мы высоту ту 177 взяли, – он говорил, как отчитывался. – На поле стоял туман. Водой захлёбывались, телогрейки, штаны, сапоги, нательные рубахи – всё мокрое. Сто метров до немецких окопов оставалось, когда комбат красную ракету пустил. Знаешь, след такой в молоке и шелест, потом повисла. Мы в траве лежали, а ребята туда пошли. Видел, слышал, – тесть закрыл лицо руками, потом выпрямился, – а мата не было, Марусь. Только страшно, кровью запахло... мясом. Потом были три зелёных ракеты.

«Сержант, связь с ротами!» – это комбат заорал справа. И побежали мы. Вперёд телег бежали – лошади не шли, боялись. Ездовые намаялись, по мордам лошадей-то, за узду, а они стоят. Три часа мы держали высоту эту, 177.0. Помню только катушки, кабель по земле – 500 метров вправо, 500 влево, скрутки, медь на зубах и на языке кисло.

Солнечный зайчик от стёкол книжного шкафа дрожал на обоях.

– Заземлители у него алюминиевые. Связистом воевал. Лауреат, – губы тестя шевелились, пережёвывая беззвучно по матушке, – медные заземлители были, а лучше штык от «мосинки».

Ветер трепал кленовый лист на стекле, левый дворник держал его крепко.

* * *

Через риски бинокля, в клубах сизого выхлопа, залитое водой в колеях от траков, как в слезах, с танками, с крестами, с крадущейся следом пехотой двигалось раздавленное, перемолотое гусеницами и сапогами поле. А за полем едва была видна нитка шоссе, тоже в клубах выхлопа от бесконечной колонны ползущих грузовиков. Кажется, совсем рядом,

на бронетранспортёре с открытым кузовом два немца разворачивали на станке MG, полосатая пулемётная лента змеёй свисала к их ногам, немцы всё озирались на высоту, их каски нервно, как в тике, поворачивались и матово блестели.

Иван молотком вбивал штык винтовки Мосина в землю – удар, удар, удар. Он стоял на коленях, согнувшись к земле, а его рука поднималась к серому небу и била, била.

Первая пулемётная очередь прошла верхом, потом вторая перемолола бруствер, бойца от уставившего в небо ствол ДП откинуло к стенке траншеи, и он осел на дно без глаз, в залитой кровью каске.

– Рядовой, связь с «охотниками»! – Иван услышал за спиной команду комбата и ручищами наработанно сделал петлю из оголённого кабеля вокруг торчащего четырёхгранного штыка, потом затянул припасённым гвоздём, схватил жидкую катушку, вскочил... и новая очередь выбила катушку из руки, разнесла в щепки, кабель кольцами расползся по траве. Пилотка на Иване, как у Наполеона треуголка: только глаза и уши, дыханья нет.

– Живой?! – сквозь свист в ушах услышал голос комбата.

– Ага.

– Связь!

На животе он собирал эти кольца кабеля по траве, а потом, не чуя себя, полз к аппарату.

– Сейчас я, сейчас…

Начштаба Зверев шёл по траншее, матерясь на весь белый свет, дошёл до ручника, прижал приклад ДП к щеке и влупил длинную по бронетранспортёру, потом ещё и ещё он давил на спуск, словно мог выжать из пехотного пулемёта дополнительные метры.

– Далеко, жабы! – орал Зверев и стрелял.

– Востриков, тебе минута заткнуть фрица, – это Павловский отдавал команду разведке по телефону.

– Уже?! Передай Бельды спасибо... Кто? Карандаш! Молодец! – и орал в трубку: – Так и передай ей!

Кузов бронетранспортёра был пуст, «пила Гитлера» смотрел стволом в сторону, и расчёт сливался с серой далью, только у одного белело лицо, повисшее над гусеницей.

– Нормально, боец. Пилотку поправьте, – Иван услышал голос комбата и почти с радостью повернул пилотку.

– Колечко, комбат. Роты фланги завели на круговую, – подходя к Павловскому говорил Зверев, глянул вдоль траншеи, – о, политрук чешет. – Они привыкли называть замполита политруком.

Овчаров бежал по траншее, не в шаг размахивал правой рукой с ТТ и всё смотрел вперёд, ища глазами комбата. Когда подошёл, тут же выпалил:

– Из третьей роты я. Соседа справа смяли.

Павловский плотно сжал губы, молчал, а Овчаров глядел на него бешеными глазами и продолжал размахивать пистолетом.

– Переведите на предохранитель, – разжимая свои жёсткие губы, сказал негромко комбат.

– Что? – переспросил Овчаров.

– Там сзади затвор, переведите его в среднее положение и уберите оружие в кобуру.

Овчаров даже открыл рот, потом быстро поставил пистолет на предохранитель, убрал и, словно скинув страшный спазм, вытер ладонью лицо.

Павловский быстро оглянулся на выглядывающую из-за рога серую ленту Днепра – гладь рябила осенним дождём. Потом он так же быстро повернулся к фронту – там немцы уже не атаковали. Их танки расстреливали батальон издалека, два танка слева чадили чёрным дымом.

– Чего молчишь? – Зверев смотрел на Павловского из-под козырька фуражки и ждал.

– Тут нам сидеть без толку.

Зверев сдвинул фуражку на затылок. Овчаров изменился в лице так, что у него даже уши подались назад, – ожесточение с бессилием не находили слов, а материться он не умел. Наконец он собрался и выдавил:

– Не понял!

Глянул на Ивана, который стоял на коленках за Павловским и мотал через локоть остатки кабеля. Проорал:

– Товарищ капитан!

Павловский сдёрнул с шеи бинокль и дал ему в руки.

– Смотрите.

– У нас приказ! – Овчаров не брал бинокль. – У нас приказ держать высоту! – Он ничего не хотел слышать.

– Вон там, – Павловский показал рукой за бруствер, – шоссе, без бинокля видно.

Овчаров не слушал и упрямо смотрел в глаза комбату, его полевая сумка болталась бесполезно на животе.

– Да смотрите же! Земля скоро раскиснет, только по шоссе немцы смогут перебрасывать технику. Надо резать шоссе. Тут немцы знают свои окопы до метра. Батальон положим зря, а там транспорт вдоль Днепра идёт, – Павловский говорил это чётко, делая паузы. – Политрук! Смотри! – он снова пальцем показал на нитку шоссе.

Зверев ударил себя по карманам галифе, достал портсигар, но не успел закурить – рядом от выстрела танка разлетелся бруствер, комья земли ударили в лицо, серый дым пороха перехватил горло. Иван полз и ничего не видел, просто полз механически, передвигая руками и ногами, потом оглянулся – там комбат тряс Овчарова за отвороты шинели, и лицо у того было серое. Потом все трое сидели у стенки траншеи.

– Связи с полком нет. Принимаю решение. Рвём кольцо. Вторая рота занимает высоту 1.7.

Павловский показал рукой по левому флангу в сторону лысого холма у шоссе.

– Третья рота пересекает шоссе и встаёт на высоте 2.0, – комбат показал вправо, на холм за изгибом шоссе, – во-он там. Ну а мы, грешные, прямо к шоссе выйдем. Батарея и «охотники» будут при мне.

Зверев и Овчаров молча следили за изложением диспозиции.

– Товарищ политрук, приказываю быть в третьей роте. Обеспечить захват и удержание высоты 2.0.

– Есть.

– Начштаба, бери двух автоматчиков и во вторую роту.

– Есть.

– Начало в 12:30. Встаём по красной ракете. Закапывайтесь по ноздри. Время пошло.

Они встали в траншее, вот сейчас они пойдут в разные стороны, и всё.

– Капитан, а ты рисковый, – играя желваками, сказал Зверев. Павловский коротко протянул ему руку.

– Давай, Миша.

Овчаров стоял смущённый, потом повернулся, как на гражданке, и пошёл.

– Борис Васильевич, – услышал в спину, обернулся. – У вас рота из пополнения, – Павловский смотрел в глаза Овчарову, они оба смотрели друг другу в глаза, – связь, политрук. Идите.

Больше комбат не стал говорить. Овчаров кивнул, быстро повернулся, мотнув полевой сумкой, и пошёл, отталкиваясь руками от стенок траншеи. Павловский смотрел ему в след и шептал:

– Ему ещё дойти надо, метров 300.

А слева уже раздался свист Зверева и крик:

– Пинегин, Мирошниченко, со мной, – он оглянулся, – ну всё, комбат. Мы пошли.

– Связь. Связь! – крикнул ему вслед Павловский, а потом по траншее. – Сержанта Бажутина ко мне. Быстро!

И полетело по траншее:

– Бажутина к комбату...

* * *

Два санитара спускали на носилках по уже размокшему склону перебинтованного раненого – белый с кровавыми пятнами ком и острый нос вздрагивали в такт шагам. По скользкой тропке, вытянувшись жидкой цепочкой, шли раненые и глядели то под ноги, то на запряжённые лошадками повозки. Лошади приседали от каждого взрыва и косили мордами назад.

Подсев под плечо раненого, Оля вела его вниз, а он, выставив руку вперёд, с силой топал в скользкую тропку – на глазах у него был кровавый бинт и грудь вся перемотана бинтами.

– Сестрица, а, сестрица, глаза-то промоют мне? – громко говорил раненый и ловил сквозь бинты ветер высоко поднятой головой.

– Промоют, миленький. Через Днепр переправим и промоют, – отвечала она натужно, а у самой слёзы ручьём и искусанные губы.

Григорян принимал раненых у повозки, на нём, как всегда, была чистенькая шинель, затянутая ремнём на первую дырочку. Увидав Олю, он побежал к ней, ухватил раненого за вытянутую руку, подсел под неё и понёс, стараясь разгрузить медсестру.

– Товарищ лейтенант, – говорила Оля, – вы не несите его. Он сильный.

– Да, да, конечно, – отвечал он, а сам брал на себя весь вес и не замечал, как Оля вдруг сошла с тропки и встала. Он усадил раненого, оглядел свой конвой – телеги, раненые, два санитара, санинструктор, все на месте.

– Все, – вытягиваясь в струнку, сказал себе и потом громко: – Марш!

Он махнул рукой, и повозки покатили по просёлку. Только тогда он вдруг увидел, что Оли нет, волчком оглянулся, Оля стояла на склоне. У него ещё мелькнуло в голове, какие у неё огромные сапоги, он крикнул:

– Брызгалова, почему стоите?!

Он был решителен, но не замечал, что краснеет.

– Товарищ лейтенант, разрешите остаться, – донёс до него ветер её слова.

– Нет! Товарищ санинструктор! Я приказываю переправить раненых, – он соблюдал субординацию и краснел.

Оля стояла на склоне в телогрейке без ремня в огромных сапогах, и ветер прижимал юбку к коленкам.

– Олька! Не дури! – гаркнул на неё усатый санитар.

Земля задрожала от взрывов на высоте. Оля вздрогнула и присела на корточки.

– Там Вера одна, – крикнула, и лебединая шея выгнулась из ворота телогрейки.

Повозки валко катили по сбегающему к Днепру просёлку, ходячие раненые медленно спускались, на ходу оглядываясь на холм.

– Что?! Я приказываю! Оля! – кричал Григорян, сжимая кулаки, потом резко повернулся и побежал за повозками. Он шёл и по-армянски ругался с Олей, приводил аргументы и сам отвечал, а когда не было ответа, махал резко рукой, разрезая воздух.

Они ещё от камней увидели старшину Быстрых. Он стоял на песке и наблюдал, как сапёры сколачивали настил для забивания свай паромной переправы. Казалось, каждый удар молотков по доскам отдавался на его ладной фигуре, он жмурил глаза, смотрел на мужиков в белых, промокших от дождя и пота нательных рубахах, на жёлтую щепу, засыпавшую берег, на груду брёвен и оглядывался за Днепр. Григорян увидел безмерную тоску на лице старшины, но не хотел про это думать, да и некогда было.

– Здравия желаю, товарищ лейтенант, – увидав телеги и подходящих раненых, поприветствовал Григоряна старшина. Никакой тоски на его продутом ветром лице уже не было. – Прошу, – он махнул на зачаленную у берега флотилию из трёх плотов, течение по радиусу вынесло их на песок, и вода тихо журчала по солярным бочкам. Быстрых свистнул своим «матросам»:

– Не спать, баракуда вам в нюх!

И сразу началась погрузка. Старшина смотрел на работу своей команды через губу – все из пополнения, не обстрелянные и вообще... не те.

– Куда ставите?! Ё... Носилки по центру! – крикнул и сам кинулся помочь ходячему, взял на руки и, по пояс в воде, занёс на плот.

– На палубу не плевать! – говорил и стучал ладонью по доскам, потом вернулся к Григоряну. – Девчонок-то зачем оставил?

Он смотрел в глаза лейтенанту и лучше б не спрашивал.

– Пиши, лейтенант, что везти.

– Не успеете, товарищ старшина. Батальон меняет позицию, – Григорян вытащил из шинели лист, – тут новые координаты рот.

Быстрых сгрёб лист рукой.

– Как не успею? – и осекся, сжимая лист в клеточку.

– Передайте в штаб дивизии.

– Передам.

В это время мощные удары прервали военфельдшера, и земля под ногами начала вздрагивать. Мужики, взявшись за лом, пропущенный сквозь бревно, били сваю, а рядом следующую и следующую. Брёвна взлетали к небу с натужным выдохом бьющих, и падали на деревянные сваи, которые, раздвигая речной песок, уходили в Днепровский берег.

– Надо ещё троса тянуть, – поглядев на левый берег, мрачно проговорил Быстрых. – Ладно, лейтенант, дай пять.

Он протянул Григоряну шершавую ладонь. Военфельдшер не смутился, протянул навстречу свою тонкую ладошку.

– Как там Серый? С бачками который. Видал?

– Нет, не видел.

– Пошли мы, лейтенант.

Старшина повернулся, зашёл в Днепр, как будто и воды там не было.

– Ну что, пошли, ребята, хотчей, хотчей! – начал орать на «матросов» и толкал с ними плот.

Поднявшись за камни, Григорян обернулся – три плота ползли по серой дали, под мелким дождём, шлёпая дном бочек по воде. Старшина возвышался над всеми и махал рукой, задавая такт гребцам. А сапёры били сваи: ах! ах! ах!

– Только б дождик подольше. Дай им доплыть, – почти молился лейтенант.

По траншее, мимо прижавшихся к брустверу солдат, быстро шёл военфельдшер Григорян, он смотрел на готовых к атаке бойцов и радовался, что успел вернуться. Было тихо, он слышал только свои шаги, оглядывал на ходу проплывающих мимо людей. Они ждали, кто-то просто навалился на бруствер и затих, унимая сердце, кто-то надевал каску и затягивал ремешок, кто-то устанавливал на винтовку штык. Щелчок от вставшего штыка заставил Григоряна оглянуться – солдат, который только что установил штык, ладонью гладил землю перед траншеей.

«Как тихо, даже в ушах слышен звон», – подумал лейтенант.

Сначала Григорян увидел впереди по траншее комбата, тот сидел на поставленном на бок патронном ящике, потом он услышал прервавший тишину голос комбата:

– Полещук, готов?.. Ты одну пушечку не показывай до поры. Поставь её... Я знаю, что ты бог, но ставь в квадрате 7, по улитке 2. Там будет линия их встречного огня. Ты понял?.. Тогда смотри в небо... Всё, конец связи.

Григорян, вытянувшись, встал рядом.

– Товарищ капитан, все раненые доставлены к реке и отправлены на наш берег, – чётко, отдав честь, доложил и так стоял лейтенант медицинской службы, худющий, серьёзный, с чёрными как уголь глазами.

– Лейтенант, это тоже наш берег, – Павловский посмотрел на часы, потом спокойно спросил Григоряна: – Вы курите?

Григорян не курил, но вдруг ему захотелось.

– Да.

– У нас есть три затяжки.

Металлический портсигар распахнулся в руках комбата, они взяли по одной папиросе. Пальцы почувствовали тугую, белую, чистую гильзу.

– Спасибо, – Григорян сказал это и выдохнул.

Колёсико самопальной зажигалки скребануло кремень, заметалось пламя, прикурили. Время остановилось, но стрелка на часах комбата летела по кругу, а когда лейтенант медицинской службы заходился кашлем, комбат вдавил недокуренную папиросу в стенку траншеи, оглянулся на вспотевшего в ожидании ротного и сказал ему:

– Иван Ильич, поднимай роту.

Рука с ракетницей вверх, выстрел, и в небо с шипением ушла красная ракета. Ротный – на гражданке буровой мастер, имея бронь, ушёл добровольцем в 42-м – свистнул, как на буровой в бригаде:

– Пошли, ребя, – и полез из окопа. Рота молча выбралась на бруствер, бойцы высыпали на раздавленный склон и стаей серых теней пошли вперёд. Мелкий, противный осенний дождь сыпал бойцам на каски, на лица, мочил телогрейки, а они шли, сжав зубы, ощетинившись штыками винтовок и автоматами – так дикая кошка крадётся перед прыжком.

Рядовой Нефёдов с двумя телефонными коробками на обоих плечах, с катушками кабеля в руках и карабином на шее, задыхаясь, падая, бежал за всеми.

* * *

Третья рота поднялась с правой окраины высоты и двинулась по раскисшему от дождя склону – им надо было пробиваться через немцев, уже зашедших батальону и роте в тыл справа. Борис Васильевич Овчаров бежал в цепи, грозя пистолетом куда-то в небо. Полы его перепоясанной ремнями шинели были углами заткнуты за ремень – это придавало его фигуре вид бывалого окопника и давало свободно шагать. Его очки отпотели от дождя, и он на ходу, как будто стирая пот, проводил рукавом шинели по стёклам и продолжал идти.

– Дружнее товарищи. Ещё метров сто, и ура! – говорил он, задыхаясь.

Из серой кисеи дождя вдруг завыли мины, но чуть раньше, остановив чавканье ног, в небо взметнулись чёрные кусты вздыбленной земли и человеческих тел. Кто-то падал на колени, кто-то бухался на бегу в мокрую, пожухлую траву лицом. Командир роты упал за мгновение до разрыва, осколки пронеслись мимо, на телогрейку, на каску падали и падали комья земли. Он приподнялся на руках, набрал в грудь воздуха и заорал:

– Ррота-а-а! Вперёд!

А потом, оглядев жмущихся к земле бойцов, заорал на срыве:

– Ура-а-а!

Вскочил и кинулся вперёд. Бойцы было начали вставать, где-то закричали:

– Ура!

Но через несколько шагов снова в небо взлетела земля, комроты ещё шёл, а телогрейка на нём уже топорщилась белой ватой, и потом белое становилось красным. Ещё мгновение он стоял и упал как шёл.

Рота залегла прямо там, под воем и разрывами мин, скованная параличом страха. Борис Васильевич лежал среди бойцов, уткнувшись лицом в траву, зажмурив изо всех сил глаза. Потом он заставил себя открыть глаза, машинально протёр очки и поднял голову. Мальчишка-взводный, который прибыл в роту с пополнением две недели назад, лежал недалеко, подтянув коленки к животу, и руками закрывал голову.

– Взводный! – проорал Овчаров.

Взводный смотрел на него из-под рук и часто-часто мигал.

– Поднимай роту!

Тот закивал, а сам сильнее руками голову закрывал. Потом вдруг глянул на комиссара и уж готов куда угодно, хоть в бездну шагнуть – вытянулся, на локтях приподнялся, чтоб вскочить. Овчаров видел это – глаза взводного, огромную каску на тонкой шее и, ещё не осознавая зачем, снял очки. Борис Васильевич встал среди взрывов на дрожащую землю.

– За нашу Советскую Украину!!! – он успел это крикнуть, сделав только три шага, но не успел крикнуть «ура!».

Его увидела рота, на него смотрел с земли не успевший встать взводный. Потом началось то, что, наверное, не смог бы объяснить ни один тактик – только что прижатая к земле рота, подхваченная чем-то могучим, встала и пошла вперёд сквозь дождь, падая на землю, вставая, с звериным рыком:

– Рра-а-а!!! – Взводный бежал и орал, разрывая рот: – Уррра!!!

А по склону вслед за ротой медленно текли красные ручьи.

Политрук Овчаров, согнувшись пополам, упал на бок, потом завалился на спину и смотрел в небо совершенно беззащитными близорукими глазами. Это был его первый и уже единственный бой.

По тонкому телефонному кабелю через скрип наводок над высотой 177.0 звучали голоса двух комбатов.

– Бог! Почему не стреляешь! Третью роту минами накрыли.

– Не вижу я!

– Квадрат 3, по улитке 6. Углы сам посчитай. На связи.

Над склоном, над головами бойцов третьей роты зашелестели шрапнельные снаряды и рвались где-то за пеленой.

– Бог, на полградуса доверни влево... Так бей. Бей родной!

– Не забыли нас, выручили славяне. Щас мы, мы щас!!! – кричала с каждым шагом рота, и снова над склоном несся звериный рык: – Рра-а-а!!!

– Бог, добре. Отбой! Наших зацепишь.

* * *

Комдив Иванов стоял у окна, курил в открытую форточку и смотрел на мокрый ковёр из тополиных листьев. За спиной связист монотонно продолжал вызывать «Десну», «Дон», «Оку», и вдруг раздался крик:

– Связь! «Ока», я слышу! Первый на связи! Товарищ генерал-майор, «Ока» на связи.

Иванов кинулся от окна к столу, связист уже сорвал наушники и подал в горячие руки командира дивизии. Вокруг стояли офицеры оперативного отдела штаба дивизии. Просто сказать, что они ждали, – мало. Глаза, руки, упёртые в столешницы, сломанный пальцами карандаш.

– Громкую! – стараясь спокойнее, но крикнул Иванов.

По штабу, через шум наводок, все услышали голос с правого берега Днепра.

– «Ока», меня слышишь? Докладывай, – сдерживая удары сердца говорил комдив.

– Батальоны дерутся в полном окружении на линии Мишурин Рог, Днепрово-Каменка. Связи с батальонами нет. Много танков... очень много. Поддержите огнём.

– Дай координаты. «Ока», координаты! Мы не видим вас.

По штабу разносилось шипение наводок, сквозь которые слышались звуки взрывов, автоматные очереди.

– Квадрат 10, по улитке 5. Бейте!

Иванов стучал пальцем по столу, и кто-то уже записывал цифры.

– Шоссе? Кто держит шоссе, «Ока»?

– Третий батальон... Ориентиры для штурмовки – высоты 1.7, 2.0, шоссе, там наши, – потом было снова шипение, и всё пропало.

– Вызывай «Оку»! – Ладонь комдива трахнула по столешнице.

И вдруг снова штаб заполнило шипение.

– Был связист от них. Связи с батальоном нет. Бейте! Квадрат 10, по улитке 5. Бейте, Василий Поликарпыч!

Офицер штаба подал Иванову карту, пальцем указал на квадрат.

– Дворников, это твои координаты, – орал комдив в микрофон.

– Бейте же! КП окружён!

Уже кто-то писал приказ, скрипело перо. Иванов бросил наушники на стол, стоял, глядя в пол.

– Приказ в артполк: бить по квадрату. Координаты слышали. Связь с артполком!!!

Ему дали телефонную трубку, и он сам называл координаты КП полка. Потом перо рвало бумагу, но подпись была чёткой, приказ ушёл в полк.

– Почему нет ориентиров?! У меня есть разведка?!

– Никто пока не вернулся, товарищ генерал.

– Посылайте снова! Координаты! Связь! Связь!

Иванов стоял посередине своего штаба, вытянувшись, и глядел за окно – там ветер под дождём раздевал тополь. Иванов прикрыл глаза. Может быть, он видел тогда их – комбатов, ротных, рядовых, всех, кто проходил перед ним по привокзальной площади в Хабаровске.

– Я в штаб корпуса, – привычно твёрдо сказал комдив, открыв глаза.

Над линией огневых позиций повисли, чередой повторяясь, команды командиров орудий.

– Огонь!!!

Гром сотрясал округу. Линию орудий накрыл вихрь песка, и, кажется, только разведённые станины держали рвущиеся пушки на земле. По небу за Днепр уходили наши снаряды снова и снова. Снова и снова, как автоматы, работали расчёты.

– Огонь!!! – уже не было слышно, но жёсткие губы открывались и повторяли команду.

Майор Дворников не мог быть в своём блиндаже, ему надо было видеть, что его КП не займут немцы. Он полз по дну траншеи, задыхаясь от вони тротила и глотая комки земли, потом, упёршись стволом ТТ в дрожащую землю, он встал, грудью навалился на остатки бруствера. Черный дым застилал склон, и немецкие танки пятились, а родные снаряды ровняли траншеи полкового КП и всё, и всех.

* * *

В штабе корпуса был короткий разговор. Иванов изо всех сил старался сдержать эмоции, но они рвались сами наружу. Сбежав по лестнице, он встал перед адъютантом комкора, но как бы и не прекращал движение. Тот отступил.

– Доложите генерал-лейтенанту. Срочно!

Командующий корпусом смотрел на своего комдива усталыми от бессонных дней и ночей глазами и, не дав сказать положенного приветствия, спросил:

– Василий Поликарпыч, плацдарм знаю, держите. Как строительство переправы?

Иванов, готовивший слова всю дорогу до штаба корпуса и готовый выпалить эти слова сразу, запнулся, поправил фуражку и доложил:

– Сапёры бьют сваи. Направление переправы выбрано точно. Паром к ночи будет действовать, танки смогут идти. Сильное течение и... – Иванов сжал зубы, – «юнкерсы» бомбят беспрерывно. Почему наша авиация не поддерживает батальоны?!

– Ты же видишь, ни земли, ни неба. Мы не знаем координат батальонов. У немцев один ориентир – Днепр. Василий Поликарпыч, лётчики от самолётов не отходят. Только чуть прояснится, вдарят ИЛы!

– У меня батальоны гибнут.

– Переправа, кровь из носу, нужна ночью! Всё понял?!

– Так точно.

* * *

Дождь прошёл, но серое небо сливалось с горизонтом, и над лентой шоссе стоял сизый выхлоп немецких двигателей, перемешанный с се-

дым газом пороха. Сквозь риски бинокля за шоссе были видны наскоро отрытые и уже снесённые взрывами траншеи. Старший лейтенант Зверев в последнем живом усилии прижимал приклад ДП к плечу, через линзы была видна щетина на его трясущейся от выстрелов щеке. Павловский не слышал этих последних очередей своего начштаба, не слышал, что говорили его губы, он видел за ним убитую роту. Бинокль летел по траншее, и везде в липком дыму были неживые люди, чьи-то лица комбат узнавал, а кого-то не мог.

– Мирошниченко, – обрадованно выдохнул Павловский.

Старший матрос стоял на коленках и делово, спокойно связывал обрывком телефонного кабеля рукоятки кумулятивных гранат. Бинокль метнулся дальше. Раздвигая траками жирный чернозём, медленно полз танк – если бы не этот сверкающий, как намазанный маслом, чернозём, танк бы двигался куда быстрее – выбрасывая в небо шматки украинской земли вперемешку с выхлопом, разворачиваясь и перемалывая всё вокруг, танк больше рычал и поливал вокруг себя из пулемёта.

В линзы словно впечаталась полосатая тельняшка. По скату от траншеи полз Пинегин. Он был в одной тельняшке, без пилотки, в правой руке Пинегин сжимал связку гранат, а левой рукой он отчаянно помогал ползти своему телу, пальцы раздвигали чёрную жижу.

Павловский вжимал окуляры бинокля в глазницы, но не чувствовал боли, на мгновение он закрыл глаза, но тут же открыл.

Пинегин поднял своё тело, встал на колени и, широко размахнувшись, обеими руками швырнул гранаты на задние катки, над которыми ещё стояла сизая туча выхлопа. Был взрыв, танк вздрогнул всем корпусом, и чёрный дым с языками пламени рванул из моторного отделения. Человек упал, и только по полосатой тельняшке Павловский мог видеть, как он лежал в колее.

Полыхающий, чёрно-красный горизонт тянулся за рисками бинокля, в небо чадили танки с крестами. Павловский считал: один, два, три, четыре... но через полевую насечку вдруг наткнулся на перекошенное, кровавое лицо Тохтасина – узбек своей чёрной рукой вгонял патрон в ПТРД, потом ткнулся лицом в затвор... и всё.

Вдали угадывался по командирской башенке «тигр», он безнаказанно стрелял издали.

Комбат сдёрнул трубку телефона, крутанул ручку, ударил по зуммеру – в трубке была тишина.

– Бажутин, связь с батареей!

Сержант ещё поколотил по зуммеру, закинул карабин, обернулся к Ивану.

– Айда! – крикнул и пошёл по кабелю.

Увешанные катушками кабеля, они ползли через поле по мокрой траве, по лужам, по земле, вспоротой осколками мин, мимо воронок, мимо обгоревших кустов и чёрных стволов когда-то деревьев. Над их головой чирикали бешеными воробьями и уходили в землю пули.

Вот он, разорванный конец, – сержант держал его рукой и тут же, достав из голенища нож, принялся зачищать. Где там сыщешь второй конец – Иван подал конец со своей катушки.

– Не жди, тяни вон понизу. Догоню, – сказал Бажутин, а сам подтягивал уже кабель с Ивановой катушки.

– Ага, – кивнул Иван и пополз дальше, скидывая с катушки витки кабеля, которые цеплялись скрутками за края, торчали над травой, бороздили по земле, и Иван с силой и злостью выдёргивал катушку

из грязи. Его сапоги раскачивали подошвы со шматками чёрной земли, промокшая насквозь телогрейка совсем вылезла из-под ремня, а карабин за спиной не давал дышать. Дождь сыпал и сыпал на его оттопыренные мокрой пилоткой уши.

Послышался страшный вой с неба. Иван знал – это мины, они летели, падали одна за другой и раздвигали землю. Всё дрожало – земля, небо и каждая Иванова жилка, а он закрывался той початой катушкой с кабелем, который соединял его с сержантом. Всё разом смолкло, как и началось, только пульсировал вой в ушах. Иван оглянулся назад – там серый дым ещё висел над травой и лужами, и яма скособочилась чёрным, вонючим ртом на том месте, где только что полулежал сержант Бажутин.

– Товарищ сержант, – шевелились губы, а уши словно были набиты ватой. – Товарищ Бажутин! – кричал Иван, ничего не слыша, и тянул кабель, а он тянулся. Иван рвал его на себя, перебирал изо всех сил по чёрной оплётке – в руки попал оборванный конец. На четвереньках Иван подполз к яме – там рука сержанта ещё сжимала зачищенный конец кабеля. Иван тихонько потянул, и бледные пальцы бессильно разжались. Потом он лежал у той смердящей дыры, скручивал красную медь, мотал чёрную изоленту – виток, ещё, ещё, ещё, – руки остановились, лицо сморщилось, и он заплакал.

Потом он полз по убитому склону, тянул кабель, скручивал медь, бросал пустые катушки и полз, полз на какой-то последней жиле, глаза его были сухими, он только вытирал рукавом капли дождя с бровей и ресниц.

Орудийный дворик сотрясался от выстрелов, густой воздух был наполнен пороховыми газами и мерзким мелким дождём, под ногами чавкала раскисшая от дождя, усыпанная снарядными гильзами земля. Орудие стояло с разведёнными станинами, расчёт стоял на местах – всё по боевому уставу.

– Выстрел! – проорал наводчик. Ствол выбросил огонь и накатил назад, рукоять повернулась, под ноги упала снарядная гильза и освободила блестящее стальное нутро затвора. Спотыкаясь и скользя, боец нёс, как ребёнка, прижимая к груди, снаряд, обмотка с левого ботинка волочилась по земле, он отдал снаряд заряжающему и снова побежал к зелёным ящикам.

– Цифра?! – не отрываясь от прицела проорал наводчик.

Комбат Полещук, согнув правую ногу и вытянув вперёд левую, привычно сидел за станиной на снарядном ящике и говорил по телефону:

– Сколько, сколько? Одно. Я ж дисциплинированный – как приказал, так сделал. Ты меня видишь?.. Очень хорошо. Слышишь! Не посылай, не дойдут, сами управимся. Цель давай, – Полещук прижимал трубку и одновременно слюнявил чернильный карандаш, – записываю. Добре. Капитан, связист у тебя толковый... Ага. На связи.

Он положил трубку, коротко, резко черкая по листу блокнота, сделал свои расчёты. Наводчик, впившись пальцами в барашки угловой наводки, смотрел на комбата, заряжающий всё так же стоял над свободным затвором.

– Горизонт 35, Вертикаль 15, – крикнул комбат.

Наводчик намотал углы наводки, сверил с прицелом:

– Есть цель!

Заряжающий бережно опустил в затвор снаряд.

– На, – шепнул на выдохе, как живому, орудию.

– Выстрел!

Подбросив колёса, орудие мощно рвануло за бруствер и выбросило из ствола огонь.

Полещук сидел, по-прежнему сгорбившись над блокнотом, со стороны казалось, он забыл про позицию и орудие – нет, комбат считал оставшиеся заряды, расстояние, углы и людей.

– Связист! – крикнул он, обернувшись на Ивана.

Тот сидел, прижавшись спиной к стенке орудийного дворика, смотрел в землю и не окликался. Полещук зычно свистнул. И только тогда Иван оторвал глаза от земли и посмотрел на комбата.

– Уходи отсюда.

Иван молча опёрся на карабин, медленно встал, забросил карабин за спину и пополз с позиции.

– Тебя как звать, солдат? – услышал он за спиной и оглянулся на краю. В лицо дул ветер, дождя уже не было, ветер разгонял серые тучи.

– Иван, – ответил он, почти не слыша своего голоса.

– Ползи, тёска, – комбат махнул рукой, пружинисто встал с ящика и повернулся к расчёту.

– Ну что, продолжим? – бодро заговорил он со своими бойцами, как с классом у школьной доски. – Витяй, я у прицела, ты к телефону.

Комбат рывком расправил плечи и заорал полной грудью в небо, так, чтобы услышали бойцы прикрытия:

– Стахановское племя́! Прославим труд, страну свою и время́... А! Понеслась!

* * *

Лида торопилась, она ползла через грязную траву к развороченной траками канаве, часто дышала, поднимала голову и смотрела на идущих прямо на неё эсэсовцев. Где-то слева непрерывно строчил MG, и немцы спокойно шли под его прикрытием, стреляя от живота на любое движение. Лида искала глазами Лёньку – рядом с торчащими в небо голыми ветками лещины она заметила два уголька его глаз. Лёнька показал ей пальцем на немецкого пулемётчика – над бугром был виден только воронённый ствол с вырывающимся огнём и каска в пятнистом чехле – и ударил себя кулаком в грудь. Лида кивнула в ответ. Она видела в перекрестие прицела обросшее щетиной лицо одного эсэсовца, второй, наверное, ещё не брился – белёсый пушок покрывал его бледное лицо с ярко-розовым румянцем на щеках. Лёнька выстрелил первым, вторым был выстрел Лиды. Она в последний момент перевела прицел с белобрысого на первого, того кто был в щетине. Он смотрел кровавым лицом в небо и, уже падая, стрелял из автомата куда-то. Белобрысый парень стоял мишенью, а палец советской девушки застыл на спуске. Немцы отходили – чужие, пятнистые, в добротных камуфляжах, в перчатках и касках с кожаными ремешками, – они отходили, оглядываясь и сплёвывая на чужую им землю. А парень стоял, как приговорённый, опустив автомат, боясь сделать шаг.

Тишину разорвал вой летящих с неба мин. Закрывая небо, в котором уже плыло среди туч мутное солнце, летели комья украинского чернозёма. Лида прижалась щекой к дрожащей земле и не закрывала свои чёрные глаза – так, наверное, смотрят перед расстрелом, прижимаясь щекой к стене.

Ветер шевелил траву, рябил воду в разъезженных колеях, чёрный дым метался по горизонту, и, кажется, ни одной живой души не могло

быть на том склоне. Сергей бежал, чуть пригнувшись, пружинисто отталкиваясь ногами, сжимая в правой руке ППШ, по-хозяйски оглядывая каждую борозду, воронку. Немецкая атака откатилась, и он шёл по ничейной своей земле. В глубокой колее от колёс горящего невдалеке немецкого бронетранспортёра Сергей наткнулся на Лёньку. Тот часто дышал сквозь зубы, камуфляж был бурым от крови, а грудь свистела при каждом выдохе.

– Она там, – между вдохов, задыхаясь, прошептал он и махнул рукой в сторону, – уноси её. Она плакала.

Серёга кромсал ножом уже засохший, в запёкшейся крови Лёнькин камуфляж, разодрал пуговицы на телогрейке и прямо поверх тельника клал вату, и она становилась красной. Когда он, как смог, намотал поверх ваты бинт, Лёнька лёг на спину.

– Патроны оставь.

– Лёнька, я вернусь за тобой. Ты слышишь!

Сергей достал из подсумка два диска и отдал в руки товарищу, потом, словно толкнул его в спину кто-то, сжал голову Лёньки руками.

– Зуб даю, вернусь.

Лида лежала в красной луже, раскинувшись спиной по оплывшему краю канавы. Она зажимала обеими руками низ живота и смотрела на Сергея уже отплакавшими огромными чёрными глазами – она ждала его и боялась.

– Уходи, – прошептали сухие, искусанные губы.

Он шумно ступил в воду, нагнулся, стал разнимать руки, а она мотала головой и твердила:

– Нет! Нет! Нет! Нет!

Он взял Лиду, как пушинку, на руки, закинул её винтовку на плечо, крутанулся в кровавой жиже, ища глазами пропавший путь, и побежал по убитому полю, закрывая её своей широкой спиной, а она прижималась щекой к его телогрейке, летела, летела и прятала лицо на его груди. Это был их tango, а хореографом – случай. Оркестр молчал.

Перед куском прожжённого брезента, закрывавшим вход в батальонный лазарет, их встретил Григорян, он был в одной гимнастёрке с закатанными до локтей рукавами, из его нагрудного кармана блестели колечки хирургических ножниц.

– Клади у входа, – устало велел Григорян.

Лида ещё держалась руками за Сергея, смотрела ему в лицо, как будто говорила: не отдавай меня.

А потом, на земле, закинув голову и затравлено глядя на военфельдшера, она выплакала:

– Не дам!

Григорян пытался развести её руки, но она вдруг ударила его, как могла, ещё и ещё раз.

– Не дам!

– Да держи ты её! – получив кулаком в лицо, проорал Григорян.

Сергей стоял рядом на коленках и растерянно смотрел, потом как в воду – навалился на Лиду, прижал к земле, а она мотала головой, и глаза плакали в небо, и вдруг замерла. Он прижался щекой к её щеке, и так лежали они.

– Всё, отпускай, – услышал он голос Григоряна. Военфельдшер смотрел в сторону и протирал куском красного бинта руки.

– В пах её, – а сам всё тёр бинтом руки, – крови много потеряла. Я ей морфин вколол.

Григорян говорил и не смотрел на Лиду.

– Понесли, – и кинул кровавый комок за бруствер. Сергей посмотрел на Лиду сверху – ровные витки бинтов через вату закрывали тело, что-то кровавое болталось по краям.

– Сам я, – Сергей с колена поднял Лиду и до брезента смотрел ей в лицо под мутным солнцем.

– Там слева есть место.

В вырытой наспех яме, которая была лазаретом, вдоль стенок прямо на земле лежали раненые, в центре ямы стоял оцинкованный бак с водой и развёрнутые, залитые кровью носилки. Сергея встретили из темноты глаза Оли – она сидела на коленках рядом с раненым комроты и оглянулась на свет из распахнутой брезентовой занавески. Ильич жадно хватал воду из медной кружки в её руках. Лучик света сквозь дырку в плащ-палатке согревал кусок примятой кем-то земли – туда Сергей и положил Лиду. Её лицо скрыла тень, а лучик осветил чёрные пальцы, лежащие на груди. Сергей тихо снял с себя телогрейку, накрыл девушку – она спала, и ему показалось, что губы её улыбались. Было тихо, только чья-то бессильная грудь с хрипом хватала воздух. Он сильно-сильно зажмурил глаза, чтобы вернуть время, и тут, как из другого мира, отделённого куском брезента, ударил длинными очередями наш «максим». Сергей выскочил в траншею, там свет дня ослепил его, и сквозь резь в глазах он увидел цепь наступающих немцев.

– К ружью! – услышал он команду взводного и смотрел туда, где оставил Лёньку. – К ружью! – услышал снова между очередями.

Вот оно, ПТРД, торчит стволом в небо, стрелок воет, зажав лицо руками. Правая рука нащупала под бруствером патрон, лязгнул затвор... Серёга стрелял, пока его рука находила патроны, а дальше стало тихо, только Димитрич продолжал стрелять из своей СВТ-40, упорно целясь через замазанные грязью очки.

Павловский видел, как с ходу разворачивалась новая атака немцев, как из подъезжающих крытых грузовиков выскакивали автоматчики, унтера махали руками и что-то кричали. Комбат задержал бинокль – ему показалось знакомым лицо. Унтер шёл по жиже, отмахивая левой рукой, на нём была молодцевато, чуть набок, надета фуражка со сбитой по-фронтовому тульей. Рядом, фырча синим выхлопом и перемалывая гусеницами землю, разворачивался бронетранспортёр, но унтер даже не оглянулся, а продолжал отмахивать рукой и всё смотрел в даль, мимо Павловского, как будто видел там что-то и к этому шёл.

– Бог, бог, как у вас? – комбат говорил в трубку, не опуская бинокль.

– Абзац, комбат, – услышал он голос командира батареи после длинных-предлинных секунд.

Полещук говорил, стоя на коленях перед телефоном. Ветер трепал ему волосы, а он трогал рукой голову и искал глазами фуражку. Выкаченное из орудийного дворика орудие стояло на прямой наводке. За левой станиной, среди блестящих медью гильз, лежал заряжающий, наводчик опирался руками на орудие, смотрел в небо и часто мигал обгорелыми ресницами и не мог никак проморгаться. Окопы прикрытия угадывались по пологой канаве без конца и начала.

– Будет продолжение с красной строки? – Павловский говорил намеренно медленно, пытался держать себя, когда время неслось уже в глаза огнём автоматных очередей.

Полещук не спешил отвечать – оба комбата умели считать время. Он смотрел за бронещиток – там чадили в небо подбитые немецкие

танки, что-то двигалось, рычало, но ему, кажется, было всё равно, что это двигалось на него.

– Жаль, комбат, не успели мы с тобой посидеть за столом, – он вдохнул полной грудью и сказал на выдохе: – У меня два заряда шрапнели.

– Поделись. Мне жаб встретить нечем. Орудие вдоль фронта можешь развернуть?

– Один я, комбат. Наводчик без глаз... Мы постараемся, – Полещук сказал и положил трубку.

Со стоном, с надрывом сухожилий они пытались завести станины орудия влево. Полещук схватил лом и начал им, как рычагом, сдвигать правую станину.

– Витяй! Ты только приподними её! Милый!!! Приподними её!

Наводчик обнимал железо руками, глядел в небо и рвал, рвал себя.

– На раз, два! Витяй. Раз, два, – разносилось над позицией, – раз! Раз! Раз, – и на каждый раз орудие поворачивалось хоть на градус.

– Всё, Витяй. Уходи! – Полещук уронил лом, подошёл к наводчику, который прижимался щекой к станине и никак не мог унять дрожащее тело.

– Витяй, ползи прямо до ямы, – Полещук вдруг захлебнулся от накатившей любви к этому парню, упал рядом с ним на колени и почему-то стал вытирать ему глаза, щёки, обнял. – Брат, пойдём, пойдём, – твердил он и отрывал от станины. Они ползли рядом на четвереньках к тому, что осталась от орудийного дворика. Наводчик спотыкался и всё задирал голову к небу.

– Ты где, комбат? – поняв, что ползёт один, спросил наводчик. Полещук стоял и смотрел ему вслед.

– Ползи прямо, не сворачивай, – сказал Полещук и отвернулся к орудию.

Покачиваясь, он вернулся, встал у бронещитка, оглядел сектор стрельбы, потом всё на автомате – припал к прицелу и настроил углы наведения, вернулся к снарядному ящику, взял предпоследний снаряд и загнал в открытый затвор.

– Выстрел, – прошептал он себе и дёрнул спуск. Повернулся и подошёл к не добежавшему со снарядом бойцу – тот лежал лицом в землю, обмотка тянулась за ним, а снаряд лежал у его вытянутых вперёд рук.

Полещук поднял снаряд.

– Последний, – он не сказал, он знал это и задышал широко открытым ртом, оглянулся на свою батарею. – А-а-аа! – снаряд в затворе. – Выстрел!

Павловский стоял в траншее с опущенным в землю стволом ТТ и смотрел на немцев, идущих на него в посветлевшей дали. Он знал – батальона у него нет, но с надеждой поглядывал на ласкающие глаза клочки голубого неба.

– Должны же наши начать штурмовку! – шептал он себе. – Фатхутдинов не дошёл, наверно, это так, – он искал объяснения, оглянулся на Днепр, – а Быстрых?

Синева кружила голову и, как последний аргумент, что армия наступает, издалека доносился стук топоров. В самый этот момент в небе зашелестел заряд шрапнели и разорвался в пятнистой цепи, а через секунды снова шелест и разрыв. Немецкие бронетранспортёры всё так же рычали и месили землю, но тем, кто напряжённо смотрел на них из траншеи, после шрапнельных разрывов казалось, что тихо, только доносились стоны и всхлипы ещё живых врагов.

– Товарищ капитан, ваше приказание выполнено, – услышал Павловский за спиной голос Нефёдова, обернулся, готовый от радости сгрести связиста руками, но сдержал себя. Иван стоял перед ним, забыв заправить телогрейку в ремень, его пальцы чуть дрожали у мокрой пилотки, и струйка пота стекала с прилипшего ко лбу чёрного чубчика.

– Спасибо, уже проверил. Где Бажутин? – Павловский не выдал голосом накатившего чувства... быть может, глаза.

– Миной его, – виновато, нелепо улыбнувшись, доложил Иван, – неживой он, товарищ капитан, – сказал и вытер рукавом воду с лица.

Павловский отвернулся, он не мог смотреть на мальчишку и сказать ничего не мог – он глядел за бруствер. Там снова в сизом дыму вставали пятнистые силуэты, атака продолжалась.

– Нефёдов, дублируйте связь! – Павловский дал команду подчёркнуто сухо.

– Товарищ капитан? – Иван хотел сказать, что там, наверно, никого нет, но это «наверно» остановило его.

А Павловский властно смотрел на него – аккуратный, верхняя пуговка его офицерской гимнастёрки начищена и застёгнута, только белый подворотничок стал серым.

– Товарищ боец! Дублируйте связь. Бегом!

– Есть, – Иван вытянулся, неловко повернулся через левое плечо и увидел усыпанное гильзами дно траншеи и притихших бойцов – без касок, грудью прижавшихся к брустверу. Он шёл и оглядывался на них как из другого мира – он тут, а они за чертой. Пригнувшись к земле, тем же путём, что был пройден им час назад с сержантом Бажутиным, он бежал, снова увешанный кабелем, катушка скрипела у земли и становилась всё легче. Правая рука отчаянно дёргала застревающий на скрутках кабель.

«Щас, этот конец кину, должно хватить?» – соображал он на бегу, а в глазах всё стояли бойцы без касок. Он оглядывался назад и уже не видел их. До конца жизни они снились Ивану.

Павловский шёл по траншее, на ходу передёрнул затвор ТТ. Время сжималось, и мерила его не секундная стрелка, а вал немецкой атаки. Комбат глядел на этот ползущий вал, и в это время разрывная пуля снайпера развернула в клочья левый рукав его телогрейки. Белая вата становилась красной, кровь текла горячим ручьём по упавшей ладони. Павловский оседал по стенке траншеи и смотрел на спины своих бойцов, а горло не слушалось его и тихо выло от боли. Он не слышал, как пронеслось над траншеей:

– Комбата ранило!

Горизонт качнулся, и чёрная пелена в глазах закрыла всё.

– Потерпите, товарищ капитан, – услышал комбат грудной женский голос и кусал воротник телогрейки, чтобы не заорать.

Вера скальпелем, как могла, аккуратно, резала ватник, и её руки становились красными и липкими.

– Пожалуйста, товарищ капитан, нам только до лазарета дойти, там Григорян поможет, – быстро говорила она и, подсев под его правую руку, повела комбата по траншее. Всё куда-то летело, в ушах нарастал страшный звон, и комбат не чувствовал ног.

– Тут садим, – пробилось сквозь звон в ушах.

– Это Григорян, он поможет, он поможет.

Сознание Павловского кидалось за надеждой, и он прижимался виском к холодной стенке траншеи. Перед глазами блестели никелем ножницы Григоряна, они летали и пропадали.

– Инструментарий! – Павловский услышал голос военфельдшера.

На пятачке перед входом в лазаретную яму Вера оглянулась на фронт – совсем рядом, она видела их лица, поднимались темные фигуры немцев. Она невольно, крест-накрест прижала руки к груди.

– Инструментарий! – кричал Григорян.

Не обращая внимания на отчаянную стрельбу, он резал кровавую гимнастёрку комбата, тампоном в блестящем зажиме мыл мясо. Павловский смотрел на торчащий из земли корень, водил сухим языком по губам и не чувствовал губ, страшно хотелось пить и кружило голову. Он слышал короткие, как краденые, очереди ППШ и здоровой рукой искал ТТ, мотал ей по дну траншеи, а ТТ был зажат в ладони.

Сергей ещё в горячке передёрнул затвор, надавил пару раз на спуск – бесполезно, диск был пуст. К траншее двигались немецкие каски, внимательные глаза врага смотрели в глаза Сергею, немцы уже начали доставать припасённые за ремнями гранаты с длинными рукоятками. «Максим» справа молчал. Димитрич снял свои очки-велосипед и засунул за пазуху.

Они все знали, что делать – не дать забросать себя гранатами. Лейтенант первым поднялся над траншеей с сапёрной лопаткой в левой руке – он был левша. Сергей шёл, держа свой ППШ за ствол, как дубину и вдруг проорал во всё горло:

– Тан-цу-ют все!!!

Сержант Семёнов вышел со своей «светкой» – перед тем он обтёр пилоткой крышку ствольной коробки, потрогал штык-нож, и заиграла винтовка у него в руках, как любимая барышня.

Остатки первой роты и отделения «охотников» шли молча и улыбались.

Оля не видела, что было за бруствером, её глаза блестели в чёрной дыре брезентовой занавески и, кажется, застыли навсегда. Григорян склонился над комбатом, а Вера на четвереньках ползла по изгвазданному сапогами, осколками, пулями пятачку перед входом в лазаретную яму.

– Товарищ капитан, морфина нет.

– Григорян, вы не думаете.

Оля слышала это и смотрела на ползущую по земле подругу. Она не видела немца, её глаза уловили рывок военфельдшера, как он, широко раскинув руки, заслонил комбата и кровавую строчку через всю грудь по распоясанной гимнастёрке.

– Девки, не смотрите!!! – орал Димитрич и ручищами свёртывал шею тому немцу.

Оля слышала крик Димитрича, а перед глазами Вера, устыдившись своего малодушия, взяла в руки лежащий на земле ППШ и встала, и тут же села у стенки траншеи, поджав коленки к самой груди. У неё было белое-белое лицо, и кровь топила подошвы её сапог.

Павловский зубами перевёл затвор ТТ в положение стрельбы и, шатаясь от стенки к стенке, шёл по траншее. По скользкому выходу он выполз на бруствер, встал, подняв ТТ для стрельбы, и так стоял, почти ничего не видя от боли.

В это время Отто отходил со своим взводом и всё оглядывался на злую траншею. Мимо него проходили те, кто остался жив, а на бруствере не взятого ими рубежа он видел перетянутого красными от крови бинтами знакомого ему человека.

Ветер трепал волосы на голове комбата, толкал его в спину, кружил, и через пелену боли доносил от Днепра удары сотен топоров, звуки тяжёлой, смертельной работы.

Димитрич нес на руках младшего лейтенанта Вострикова. Глаза командира «охотников» глядели в небо, и оно качалось, качалось, качалось.

– Ваты, сколько есть. Ему живот распороли, – хрипло сказал Димитрич, скользя по чёрной земле остатка траншеи. Встал на колено и осторожно положил лейтенанта на землю. – Ты, лейтенант, только не засыпай.

Востриков, как бы говоря «да», бессильно закрыл глаза.

– Лейтенант! Не спи! – орал Димитрич на всю траншею.

Ножницы с трудом резали пропитанный кровью камуфляж, Олины руки дрожали, тонкие пальцы срывались по кровавому никелю.

– Дай я, – не вытерпел Димитрич и своим ножом принялся распарывать ткань. Оля кинулась за ватой, наткнулась глазами на лежащих рядом Веру и Григоряна и встала.

– Не стой, сестричка, – услышала за спиной Димитрича и шагнула за кусок брезента. Знала, что ваты нет и бинтов с гулькин нос, рвала свою ночнушку, а в глазах стояло белое лицо Веры.

Потом они в четыре руки затыкали рану и бинтовали. Востриков смотрел широко открытыми детскими глазами на Димитрича и что-то шептал через кровавые пузыри.

– Говори громче. Только не спи.

– Письмо. Маме.

– Сам отправишь, – Димитрич снова поднял лейтенанта и, отодвинув плечом брезент, спустился в тишину лазаретной ямы. На него из темноты с разных сторон блестели глаза раненых. Димитрич их узнавал, но только не помнил, когда они ушли, – да вот же, живые.

– Здравия желаю, мужики, – смешав устав с гражданкой, бодро приветствовал товарищей и осторожно уложил лейтенанта головой к стенке прямо напротив входа – места другого не было. Уйти сразу не мог, встал на колени, ещё оглядел лейтенанта. – Ты дотерпи главное и не спи.

Востриков качнул головой из темноты.

– Помнишь Лермонтова? В школе учили. «Люблю отчизну я, но странною любовью…»

– Наизусть не помню. Димитрич, ты мне ТТ достань. У меня обойма в заначке есть, – лейтенант сказал и закатил глаза к потолку. Димитрич обеими ладонями сильно гладил его по лицу, от лба к ушам.

– Не спи, лейтенант. «Бородино» помнишь! Говори, громко. Говори! «Скажи-ка дядя, ведь недаром...» – Димитрич читал стихотворение и вытаскивал из кобуры лейтенанта ТТ. – Где заначка-то?

– В сапоге. В левом. Сними их.

На землю упала обойма. Димитрич отщёлкнул пустую обойму, вставил новую и отдал пистолет в протянутую руку лейтенанта.

– Говори, лейтенант. Товарищи тебя послушают. Так, товарищи?

Из-за бака с водой донёсся голос:

– Пусть читает, я, может, тоже чо вспомню.

– Да. Я буду.

Димитрич встал, уже повернулся идти и услышал знакомый голос комроты:

– Димитрич, скажи хоть. Как там?

– Комбат на месте, – сказал и вышел.

Павловский стоял, навалившись здоровым плечом на стенку траншеи, – где-то вдали белым пятном колыхалась Оля.

– Санинструктор, – тихо позвал комбат, – санинструктор! – уже не сознавая себя, шептал в землю, как орал, Павловский.

Белое пятно летело всё ближе, через муть в глазах он увидел Олино лицо.

– Сестра, пожалуйста, дайте спирт.

Чемодан Григоряна с инструментарием был иссечён в щепки, но в пробитой зелёной фляжке ещё булькала жидкость – набралась полная пробка. Комбат не морщась выпил из рук девушки эту каплю. Тонкие струйки заблестели в углах его рта.

– Спасибо, – сказал и снова прижался щекой к земле.

Оля не знала, чем может помочь, и вдруг провела ладонью по седому виску.

– Идите к раненым, – Павловский уже смотрел на втоптанный в землю среди гильз телефонный кабель и, оттолкнув себя от стенки траншеи, пошёл к желтеющим щепками зелёным патронным ящикам. У телефона он встал на колени, попытался разжать пальцы на рукоятке ТТ и разжать не смог – стоял, согнувшись к земле, а пистолет качался в согнутой руке. Тонкие пальцы сестрицы помогли ему. Он смотрел на неё, потом снял трубку и надавил на зуммер.

– Бог, Бог, – трубка шумела наводкой, он ударил по зуммеру ещё и ещё раз. – Бог! Бог! Бог!

Полещук слышал шаги идущих к пушке фашистов – они шли без выстрелов. Он сидел на станине за бронещитком, зажав что было сил рычажки на гранатах, и ждал, когда они подойдут ближе, и, когда это настало, он встал и шагнул навстречу. Его руки с гранатами двигались в такт шагам, гимнастёрка была застёгнута на все пуговки, а ремень он не нашёл, и распоясанную гимнастёрку с подтёками высохшего пота свободно раздувал ветер.

– Красная строчка, – последнее, что он сказал.

Пулемёт с немецкого бронетранспортёра дал длинную очередь, гильзы сыпались по броне. Два взрыва осыпали землю осколками.

В это время Лёнька полз в полной воды колее. Эта рыжая, в масляных разводах жижа охлаждала лицо и, кажется, становилось легче дышать. Он видел идущих цепью немцев, пальцем протирал оптику, но муть оставалась на линзах.

– А! – прорычал и взял на прицел. Лёнька не мазал – два выстрела, и снова он полз, полз к чадящему чёрным дымом бронетранспортёру. До спасительных рваных колёс оставалось чуть-чуть, когда на него вышли два эсэсовца. Лёнька стрелял навскид два раза и оба раза точно. Потом он лежал, собирая силы, и думал, что в магазине патронов нет, и надо брать автомат, но сил повернуться не было. И всё-таки он повернулся, стянул с шеи ППШ. Когда он мог уже коснуться рукой обугленной ребристой резины, длинная автоматная очередь прибила его к земле, кто-то перешагнул и пошёл дальше.

Иван лежал на дне воронки, в жидкой земле, и серый тротиловый дым покрывал его худое, согнувшееся пополам тело. Обеими руками он водил по правой ноге, наклонялся к ней и при каждом наклоне тихо скулил, всё пытался ладонями закрыть сочащиеся кровью дыры на штанине. Вдруг он ясно услышал немецкую речь и затих – со стороны КП батальона доносились короткие гавкающие слова. Помогая себе здоровой ногой, Иван пополз по текущей навстречу земле к краю воронки. Временами он опускал лицо в прохладную жижу и так лежал, уговаривая боль, потом снова полз, выдёргивая правой рукой за ремень

свой карабин. Вот пальцы левой руки схватились за край воронки, и мелькнул краешек светлого неба, вот плечи уже были на воле, и голова поднялась над землёй. Вверху, там, где небо соединилось с землёй, Иван увидел пятнистую толпу эсэсовцев и на земле, у их сапог, лежащего комбата. Они рассматривали советского офицера и громко говорили, потом один из них пнул комбата по кровавым бинтам. Комбат сжался, до Ивана донёсся тихий стон. Потом, опираясь здоровой рукой о землю, комбат попытался встать, и его снова пнули в бинты. Толпа смеялась, но потом замолкла, они по-деловому смотрели на муки человека, который не ломался перед ними.

Тут Иван услышал крик в небо.

– Встать! – комбат приказывал себе. Снова опирался рукой о землю и вставал.

Иван увидел знакомое лицо и вспомнил допрос в палатке у Рамушево. К толпе шёл Отто, его фуражка всё так же лихо была сбита назад, и он всматривался за спины товарищей.

– Aufstehen! – Иван услышал голос комбата.

Отто раздвинул круг и встал над Павловским.

– Aufstehen! – приказывал себе комбат на немецком, чтобы поняли те, кто его мучил, и вставал уже не видя ничего.

Снова был удар кованным сапогом по плечу. Комбат упал и, уже лёжа на земле, стоном приказывал себе:

– Встать!

Иван смотрел не отрываясь, рывком подтянул за ремень карабин, с силой ударил им о край воронки, так, что жижа глухо чавкнула – немец в прицеле, палец застыл на спусковом крючке, и ствол подпрыгивал от ударов сердца.

– Встать! – голос комбата звучал в траншее.

Навалившись на стенку траншеи, сидел оглохший Сергей, его рука сжимала бескозырку. Дальше, у входа в лазаретную яму, лежал лицом в небо Димитрич, его глаза ловили голубизну, клочья облаков и линию разнесённого взрывом бруствера, он рассматривал всё, что было над ним, и чего-то ждал. Обгорелая, простреленная брезентовая занавеска чуть качалась от ветра.

– Встать! – эта команда подняла санинструктора «охотников».

Он встал, широко расставив ноги. Из-за пятнистых спин он увидел Павловского и пошёл к нему. От неожиданности спины перед ним расступались и вокруг перестали смеяться.

– Товарищ капитан, опирайтесь на меня.

– Казаковцев, ты?

– Так точно, товарищ капитан.

Они встали. Ветер с востока становился всё сильнее, он разогнал тучи.

Отто стоял оглушённый, сознание перевёртывало всё. Без всхлипов, без гримасы слёзы вдруг затопили серое лицо Отто. Он повернулся и, раздвигая своих, как слепой, не разбирая пути, пошёл по склону вдоль линии траншеи.

– Flammenwerfer! Schnell! Schnell! – он слышал сзади команды и заткнул уши руками – шаг, ещё шаг и взрыв покрыл то место землёй и дымом.

– Brennen! Alles lebendige ist da. Ausfuhren!

Эсэсовцы дружно встали в кружок. Иван не понимал, что происходит, он только видел, как ветер приминал пятнистые анораки к спинам.

Вдруг они разом разошлись, и на фоне неба остались стоять два чёрных силуэта с ранцами за спиной и с мечущимся под ветром огнём. А потом горящий газ с воем ворвался в траншею, и чёрные люди, на ходу регулируя струи огня, делово пошли вдоль траншеи. Пламя сушило воду и кровь, бинты летели чёрной паутиной в небо. Люди ещё ползли, а потом сжимались чёрными головнями, пряча то, что могли закрыть руки, и оставались лежать лицами в землю. Сергея накрыла волна огня, и он насмерть раненым зверем скрёб землю ногой.

Когда в лазарете услышали ещё непонятный гул, Оля стояла на коленях у комроты. Он поднял на неё глаза, а она оглянулась на вход, и все смотрели туда и ждали. Только Лида спокойно дышала, и по её щеке к губам тихонько текла слезинка. И тут эту немую западню пресёк голос лейтенанта:

– Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, – Востриков глубоко вдохнул и на выдохе: – Что! Ищет! Он! В стране! Далёкой!

Лучики света сквозь дыры в брезенте ворвались огнём, и открылся чёрный силуэт в проёме. Оля, прижав руки к груди, как последняя защита тех, кто был за ней, встала у выхода.

– Уйди! – кричал ей в спину кровавым ртом лейтенант, а она стояла, и белый халат превращался в чёрный, и девичья фигура в огненной раме становилась чёрной, сгибалась и упала, захлебнувшись огнём. Лейтенант стрелял – один, два, три... А ветер поднимал высоко-высоко крики людей в топке. Павловский, как мог, расправил спину, здоровая рука коснулась шеи Димитрича. А лейтенант ещё стрелял, и эти выстрелы были как удары лома о бетон летки, и в глаза комбата уже рвалась река огненного металла.

– Пошла сталь, – услышал Димитрич слова комбата.

– Сталь пошла!!! – орал Павловский навстречу огню.

Рокот двигателей, до того гасимый высоким правым берегом Днепра, ворвался неожиданно. Он ворвался с неба и придавил всё чужое. Железные, краснозвёздные птицы вырывались на простор и шли на бреющем один за другим, разнося в клочья огнём пулемётов и пушек всё, что стояло вдоль шоссе, и дорога становилась огненной змеёй. А ИЛы уже шли дальше громить эшелоны фашистов в Пятихатках, туда, на запад к Киеву.

Иван обнимал землю перед воронкой и, как немой, неспособный крикнуть словами, мычал и прижимался к земле.

Замполит отдельного сапёрного батальона Баранов остановил «виллис» и пошёл к воде. Ему до края захотелось умыться. Скрипя сапогами по гальке, он дошёл до самой кромки, ещё смотрел на проходящие войска, слушал сигналы, крики, скрип рессор, потом шагнул в воду, нагнулся и стал плескать на лицо. И… захлестнуло горло, прижал ладони к щекам и так стоял, продолжая слушать, как дрожала земля. Глянул за Днепр, капельки серебрились на бровях, Баранов не вытирал их. По переправе, в синюю дымку шла великая армия, и она не свернёт, снесёт всё на своём пути и победит.

Игорь ПАЛАШОВ

Родился в 1971 году в Горьком. Окончил Нижегородский технический университет. В 1990-х работал режиссером на региональном телевидении. В начале 2000-х был главным редактором окружного информационного агентства «Интерфакс-Поволжье». Затем – заместителем директора Нижегородского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», начальником управления АО «Росэлектроника». В настоящее время развивает ремесленные проекты.

Живет в Нижнем Новгороде.

ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ОСТРОГ

Иеромонах Благовещенского монастыря отец Игнатий стоял у ворот острога, ожидая, когда охранник справится у начальства на его счет и надеясь, что ему позволят пройти. Загодя он отписал полицмейстеру с просьбой разрешить посещение одного из заключенных – Николая Белогорцева, с которым они некогда вместе учились в Нижегородской семинарии. Но тот проставил неопределенную визу «Не возражаю. На усмотрение коменданта», таким образом, не отправив прошение по инстанциям, но как бы подвесив его в пространстве между полицейским и жандармским управлениями. Отцу Игнатию пришлось самому нести бумагу в тюрьму, и он понимал, что виза эта могла содержать тайное указание на отказ в свидании.

С Николаем, который, чудом избежав смертной казни за покушение на жизнь государственного чиновника, ожидал пересылки на сибирскую каторгу, они не только были знакомы, но и приятельствовали, пожалуй, даже дружили во время учебы. Спустя годы Игнатий с некоторой осторожностью думал об этой дружбе – настолько уж сильно развела их судьба. Но все-таки да, в то время, когда оба они были подростками, чистыми юными душами, что лишь готовились взойти в самостоятельную жизнь, Игнатий, в миру Алексей Горохов, сын приходского священника, и Николай, к своему четырнадцатилетию оказавшийся сиротою, были искренними друзьями. И да, это светлое взаимно связывающее чувство никуда уж не денется из их прошлого, пусть и позабытого, преодоленного по пути, что каждый из них выбрал в дальнейшем.

В память этого чувства отец Игнатий и запросил возможность встречи с Николаем. Может быть, поначалу она была романтически необязательной, но после сидения в присутственных местах, увенчанном формальной визой, двусмысленности которой позавидуют даже позднейшие богословы, отец Игнатий вознамерился добиться своего во что бы то ни стало – передал через охранника не только прошение, но и настойчивое указание на пастырское право окормлять паству.

Утро выдалось стылым – на черную землю сквозь пустые уже кроны деревьев падали крупные хлопья снега и подолгу не таяли. Но к полудню распогодилось, просветлело; отец Игнатий смотрел, как в низком мутном небе растекается слабый свет далекого солнца. Наконец шаги, загремел засов, заныла в петлях тяжелая дверь, в открывшемся проходе показался охранник, замотанный в башлык: «Проходите, ваше преподобие, полковник ждет вас». Мощеный дворик с караульной будкой, нагромождение приставленных друг к другу низких зданий, узкие проходы между ними. «Куда мне идти?» – «Извольте следовать за мной». Вновь грохнула дверь, теперь уж за спиной, жандарм, сутулясь сиплым кашлем, прошел вперед. В одном из проходов показался еще один двор – огорожен рядами колючей проволоки почти до самых крыш, – там, гремя кандалами, бродят несколько местных сидельцев, в стороне курит надзиратель, безучастно провожает их взглядом.

Отец Игнатий был здесь впервые. По рассказам отца, настоятеля церкви Святой Великомученницы Варвары, который частенько был приглашаем в острог на исповедь или отпевание – кажется, ему и венчать однажды приходилось в местной часовне – Игнатий знал и про круглые крепостные башни, и про подвалы, якобы хранившие запасы на случай осады, и про низкие сводчатые потолки, словно из последних сил связывающие расходящиеся в разные стороны каменные стены. Был наслышан и готовился к ветхозаветному мраку. Но все оказалось, нет, не иначе, но прозаичнее. Административный корпус, хоть и дышал казенщиной, но был чист и светел, в коридоре по-домашнему пахло печами и едой. Кабинет же коменданта, куда охранник его привел, был и вовсе легко представим в любом, даже самом дружелюбном ведомстве. А его хозяин, лысый, со щегольскими усиками и в пенсне жандармский полковник, и вовсе запросто сошел бы, например, за банкира. Учтиво пригласил сесть, уставился было в лежащую перед ним на столе бумагу, вероятно, то самое прошение, но затем посмотрел на посетителя поверх очков.

– Чаю?

– Благодарствую.

– Ну что же, воля ваша, – вернулся к бумаге, поигрывая пальцами, словно собирался писать. – Значит, учились вместе, ага, приятельствовали. Так-так. И не заметили тогда за Белогорцевым никаких ложных устремлений?

– Не понимаю вас.

– Может быть, книжки семинаристу ненадлежащие находили, может быть, суждения вольнодумные слышали?

– Не припомню такого. Николай был обычным студентом, усердным в науках, даже и более обычного.

– Хорошо. Но я ведь почему спрашиваю – примерно в то время, когда вы вместе посещали семинарию и, как вы пишите, были «добрыми товарищами», Белогорцев и привлек наше внимание. Уже тогда…

– Мне нечего сказать на этот счет, полковник. Могу лишь выразить сожаление. И в том числе о том, что Николай не разделил со мной своих сомнений, своего душевного смятения, если таковое испытывал. Иначе я постарался бы укрепить его в праведных помыслах и, быть может, мы бы с вами не встретились при таких обстоятельствах.

– Душевного смятения! – полковник невольно хохотнул. – Собственно об этом я и хотел поговорить с вами, предупредить. Нет, – всплеснул руками, – я не против вашей встречи и нахожу ее даже полезной

именно вот в этом смысле – ду-шев-ного смятения моего подопечного. В жандармском деле Белогорцева указывается, что он вспыльчив, эмоционально, так сказать, нестабилен, бывает заносчив на пустом месте, а потом вдруг удивительно смирен. Он всего пару недель у нас, но мои люди уже имели возможность самим непосредственно в этом убедиться – уже отсидел в карцере, смею вас уверить. Не буйный, не подумайте, очевидно, хорошо воспитан и образован, в общем, с виду приличный совершенно человек, но с червоточиной какой-то, понимаете? Я даже не о политике говорю, упаси бог, просто непонятный он какой-то, сложно с ним, тяжело моим ребятам, – забарабанил по столу, – чувство тревоги постоянной вызывает. А это, согласитесь, пренеприятнейшее чувство, особенно в таком месте, как наше.

Полковник помолчал, наклонил голову набок, словно старался получше разглядеть отца Игнатия. Но тот не отвечал.

– Это так, ремарка, – полковник откинулся в кресле, – чтобы для вас не были неожиданностью возможные странности в поведении старого друга, – давно ж не виделись. Ведь так?.. Или все-таки доводилось?

– Нет, я потерял Николая из виду, как только он бросил семинарию и уехал из города.

– Хорошо….А также прошу вас иметь в виду все сказанное, прошу как пастыря, и надеюсь, что ваша встреча умиротворит заключенного Белогорцева, – полковник попробовал стать более формальным. – Слово священника исцеляет…

– Уповаю на то.

– Хорошо… И если что услышите… Нет-нет, я не покушаюсь на тайну исповеди, это святое, это между вами, разумеется. Но ведь Белогорцев участвовал в покушении на генерал-губернатора. Знаете ли?

– Читал.

– Диву даюсь, что его на виселицу не отправили, а всего лишь на каторгу с вечным поселением. Но если что услышите… ведь это долг и перед государством, и перед Священным Синодом, если не ошибаюсь…

– Не утруждайтесь, полковник, я понимаю вас. Свой долг я Божией милостью исполню.

– Ну и замечательно, ваше преподобие, – полковник подался вперед, дружелюбно улыбаясь и опершись на стол обеими руками, бодро оттолкнулся от него, пружинисто встал, расправил портупею. – Значит, договорились. С огромным удовольствием сам вас провожу к вашему другу. Пойдемте, – загреб в кулак связку ключей и зашагал к выходу.

Прошли дальше по коридору. Полковник трогал затылок, и, когда убрал руку, отец Игнатий заметил на шее его, у основания черепа, целое созвездие заживающих и вызревающих фурункулов, обильно залитых йодом.

– Сюда прошу.

Неприметная пустая комната, лишь стол с лампой и два стула; окно убрано узловатой решеткой, в углу потрескивает печь.

– Присаживайтесь, сейчас его приведут. Даю вам полчаса. Когда закончите, постучите в дверь – в коридоре будет дожидаться надзиратель. И перед уходом, пожалуйста, загляните ко мне.

Полковник вышел, оставив Игнатия одного. Тот неторопливо огляделся. Комната, судя по всему, давно не использовалась и была наспех приготовлена специально для него – пахло сырой пылью и дымом свежезатопленной печи, в углах заметен лежалый мусор. Игнатий снял палий, встряхнул его от капель измороси, повесил на один из гвоздей,

торчащих в стене, поближе к огню. Встал рядом, с удовольствием принимая всем телом горячее тепло. Подумал, что и расположиться удобнее будет у печки, – переставил стулья, смахнул рукавом пыль с сидений, уселся, посмотрел на другой, пустой стул, пытался представить, каким он стал, Николай.

Через четверть часа послышались шаги с металлическим пристуком кандалов. Открылась дверь – вошли. Вот и он – высокий, с угловатыми плечами, чуть склоненный на правый бок, как клонится, бывает, камыш, слегка качаясь на ветру. Острижен, но с длинной уже бородою, лицо неровное, с обостренными худобой чертами, спрятанные глаза. Стоит в серой, не по размеру робе – она сползает с его плеч, рукава путаются в цепях.

– Здравствуй, Николай.

Если б они встретились сейчас на улице, Игнатий не признал бы старинного товарища, лишь приглядываясь к нему – мимика, осанка, манера держаться, – угадывал знакомое.

– Здравствуй, Алексей… Или правильнее «святой отец»? И имя, верно, другое. У священников много имен – для каждого прихожанина свое. Я сяду. А? Как обращаться к тебе? К вам?

– Пустое. Как удобно тебе.

– Хорошо. Тогда «Алексей», – наигранно улыбнулся, явно стесняясь и видом своим, и всеми окружающими обстоятельствами, кашлянул. – Ну, зачем пришел?

– Прочитал в газетах, о том, что ты…

– Вернулся в город? – усмехнулся Николай.

– Кажется, ненадолго.

– Да нет, застрял здесь. Будут держать, пока дороги не встанут.

– Решил вот проведать.

– Ты не подумай, я рад тебе, рад, что не забыл, правда. И рад, что ты… вот такой.

– Монах?

– Ну да. Мне всегда казалось, что тебе это близко. Именно это тебе и близко.

– Что именно?

– Неучастие.

Игнатий вздохнул, скучнея этим расхожим представлением об истинном монашеском призвании.

– Быть может, ты и прав. Но это уж очень общее слово, мало что объясняет.

– Слова вообще ничего не объясняют, кроме как указывают на тот или иной архивный ящик – возьми вот эту карточку, а потом вон ту, вот еще, пожалуйте, и еще одну. И не перепутай очередность, если хочешь быть понятным! А то, что смыслы уже давно покинули пределы известных форм, что все привычное уже изменилось, обрело новый порядок, становится заметно, когда уже слишком поздно.

Николай говорил сердито и раздраженно, но вместе с тем спокойно, словно бы выказывать недовольство давно стало для него привычным делом. Как привычно было и то, что недовольство это никем другим не разделяется. Так обычно ворчат одинокие старики. При этом резкие ноты, проявляющиеся в его голосе, были вызваны скорее продолжительным молчанием, сухостью горла, нежели злостью.

Отец Игнатий отнес замечание о бессмысленности слов на усталость своего бывшего друга от казуистики недавнего судебного про-

цесса, в ходе которого все, что ни скажешь, бывает вывернуто против тебя же самого.

– Узнаю прежнего товарища – все такой же философ, дискутер. Но стоит ли сейчас об этом. Дай лучше обниму тебя, милый мой Николай.

Монах привстал, неудобно склонился над арестантом и нежно окружил его своими взволнованными руками, привлек себе. Тот в ответ загремел цепями, засопел: «Ну ладно, ладно».

– Я ведь вспоминал тебя. Переживал, когда ты уехал так внезапно, – проговорил Игнатий, усаживаясь обратно.

– Извини, так уж вышло. Мне тоже было горько с тобой расставаться, не было у меня здесь человека ближе тебя. Но никак не мог остаться. Хоть и многое пришлось оставить.

– Пути господни…

– Ну, это, пожалуй, карточка самой старшей масти – при всяком случае любой разговор покроет, – рассмеялся Николай.

– Объясни иначе.

– Что?

– Почему вышло именно так. Два мальчика с одной и той же книжкой, пусть и смотрят из разных углов, но на один и тот же предмет, пусть и видят каждый по-своему, но лишь дополняя видение другого. Почему же они оказались вот здесь? – Игнатий повел руками по сторонам. – Хотел ли хоть кто-то из них такого? Ведь нет.

Николай задумался, устремив взгляд в потолок; его борода задралась, как подол, обнажив водянисто-белую шею.

– Пожалуй, что пути, да. Неведомо, правда, чьи. И чем, каким законом предопределенные. Знаешь что, это как грех – совершается не поступком, а умыслом, поступок определяющим. Или даже предумыслом. Ну то есть неведома та точка этого самого пути, когда тот самый роковой поступок оказывается предопределенным всей внутренней логикой природы человека.

– Очень христианский взгляд.

– Не суть. Это простая логика.

– Значит, не так уж мы и далеки друг от друга.

– Были бы далеки, не сталкивались бы ежечасно лбами, – сказал Николай, расширив «мы» Игнатия с их частной пары до абстрактно общего значения. – Вот я и признаю, насколько правы вы, священство, с непреходящим покаянием. Так уж правы и усердны в этом, что места собственно поступку и вовсе не оставляете.

– Правильный вопрос «когда», а не «что»?

– Если величины известны, если субъекты – или объекты, как уж посмотреть, – описаны. Если мы знаем, кто такие эти мальчики. Эти или любые другие, – Николай попытался вытянуть ноги в стоптанных валяных бахилах, но цепи, что тащились за ними по полу, не позволяли принять удобное положение; он с досадой подогнул ноги обратно под стул, вздохнул. – Если знаем хотя бы что-то еще кроме того, что эти мальчики читают одну и ту же книжку и находят предмет для общего разговора. Общий язык, знаешь ли, вещь обманчивая – говорю ж, слова ничего не объясняют.

– О них известно, что вот сидят сейчас, спустя пятнадцать лет после своего детства…

– Могло ли быть иначе?

– Вот именно. Пути господни…

– Предопределенность в любой неопределенности? Из ваших церковных картотек даже не козыри, а круглые, как бильярдные шары,

тяжелые, как ядра, призрачные, как мыльные пузыри, слова выкатываются – понимай, как хочешь, все равно не ухватишь, не поймаешь на подлоге, да? А вдобавок и полные равнодушия ко всему. Без всякой оценки. Один только первородный грех.

– Равно-душие. Равенство души. И ее ровность, и одинаковость в участии, в сочувствии другой душе. Но не безучастие. И участие вовсе не хладнокровное – не бесчувствие.

– Исихазм…

– Рад, что помнишь.

Игнатий был доволен, что разговор с Николаем, спустя годы потенциально таивший в себе множество опасностей, повернулся на знакомую для него тему.

– Как уж забыть. Безвидная молитва и трезвение. Или вот еще словечко – «обожение».

– Не говори, что эти слова не согревали тебя в горестях. Когда душа бывала смята и белая мгла скрывала путь твой от твоих глаз.

– Согревали, точно. Если хочешь не сойти с ума в карцере, что-то эдакое и сам неминуемо выдумаешь. Но я всякий раз отгонял их палкой, чтоб избавиться от липкого усыпляющего смысла, который они кодифицируют. Святому Антонию колокольчика хватало для рассеивания бесов, а мне своих приходилось палкой гонять. Вот так!

– Обычно в голосах, невесть откуда исходящих, напротив, дьявола подозревают. А у тебя, видно, наоборот. Мастер ты парадоксов. Но никогда не понимал я, зачем ты столько сил на них тратишь, зачем так натужно в прелестях своих упорствуешь. Через тернии, но в обратную сторону.

– Но ведь и книжку не единственную мы все-таки прочитали, – Николай заметно оживлялся все более. – Знания не только вовремя обретаются, но и во время конкретное. Не только усваиваются фактом, но и формируют детерминистскую сеть. Узнаешь нечто сегодня – одним путем отправишься, а завтра вот то же самое осознаешь – уже другим. Не согласен? Одно и то же усилие ума, одно и то же логическое упражнение к разным результатам приводит, будучи в разное время приложенным. Время – быть может, более полный ответ, чем даже вера. Еще более неопределенное, в него, хочешь, весь мир заверни – всех праведников и еретиков с ними – весь целиком поместится.

– А помнишь отца Лаврентия? – вдруг вставил Игнатий.

– Ну как же! Преинтересный был дядька, все гуменцо свое оглаживал, когда вещал, а задаст вопрос каверзный, раззадорит нас – бороду грыз. Я и тогда удивлялся, как его не гонят за взгляды неблагонадежные. Жив ли?

– Слава Богу! Все так же преподает, правда сдавать стал, студенты жалуются, что уж и не всегда понимают, о чем он говорит. Но не фрондер он, насколько сейчас понимаю, а полемист изощренный и учитель, каких поискать. Все больше в софистике формальной упражнялся, нежели в богохульство впадал.

– Как это может быть?

– Может. Если делание умное. Цепко он нас, школяров, с Дарвином-то подковырнул, а? Я как сейчас помню твою горячую речь, отчего, мол, церковь не признает теорию эволюции.

– Но это и правда вопрос, если подумать. Дарвин ведь не отрицал Бога, ни вашего, никакого другого….

– …и напротив, даже укреплял славу его, по твоим словам.

– Да! И сейчас так же скажу. Ведь он разглядел в творении не только бы акт, пусть всемогущий, но и односложный, простейший для всемогущества, а узрел в нем создание целого автономного механизма, подобные акты постоянно воспроизводящего.

– …не только воспроизводящего, но и развивающегося самостоятельно непрестанно. Ныне, и присно, и вовеки веков!

– Аминь! Смеешься? Тебе разве можно это? Подумай же, разве не больше чудес явлено при внутренне заложенном механизме перерождения обезьяны в одухотворенное существо человека, чем простейшем – вот не было ничего, а вот уже все есть – превращении его из куска глины. Это колдовство какое-то, право слово, а не творение! Диалектика представляет Господа вашего более могущественным, чем метафизика, если подумать. Так в чем же дело?

– Нравится тебе твоя мысль, я вижу. Меня, признаюсь, тоже привлекает. Как солнечный зайчик, да, раздражает зрительный нерв. Детское забавление. Но что из этого следует? Интересное суждение – безусловно. Требующее ответа – не поспоришь. Но обязательно ли немедленного? – Игнатий выдержал паузу – Вот ты говоришь, время. Что это? И сколько его нужно, чтобы?.. Сколько его достаточно? Или необходимо? И уверен ли ты, что это суждение полноценно? Что оно истинно? И его истинность останется непреложной?..

– Ныне, и присно, и вовеки веков?

– Да. Есть одна теория, есть другая, пятая, десятая, целое сонмище теорий, в разной степени доказанных, пересмотренных, уточненных и отвергнутых. Но мир вот он, от века покоится вокруг нас единый и единственный. Все ли ты знаешь, владеешь ли всем необходимым знанием, чтобы поступить именно правильно? Ты же говоришь о поступке… Так что дело, я думаю, в осознании себя, в стремлении ежеминутно понимать, что именно происходит в твоей жизни.

Игнатий говорил спокойно и свободно, демонстрируя готовность и принять иронию собеседника, и самому ее проявить над собственными же словами. Словно слова эти не восприняты им были извне, а им самостоятельно созданы. И теперь он по своей воле мог распоряжаться смыслами, в них заключенными.

Расправил рукава рясы, продолжил:

– Как разделить любование теориями и соблюдение, удержание в себе истины я, признаюсь, не ведаю. Предполагаю, есть некий высший замысел, чтобы разделение это проходило не в человеке – ведь иначе душа его не отыщет пути к покою, – а в человеках. Или во всем множестве человеков, как в человеке едином. Одни пробуют этот мир на прочность – ведь ребенок, что стремится разобрать игрушку на части и докопаться до ее нутра, не столько изучает ее, сколько проявляет свою волю и совсем не заботится о том, сможет ли собрать ее воедино заново. А другие – этот мир сохраняют, зная о том, что истина недостижима. Разве ответ нужен не для того, чтобы появилось еще больше вопросов? Так ведь говорят научники. Они признают истиной лишь то, что не оспорено на протяжении тысячелетий. Скажи мне, помнишь ли ты постулат апостольского собора?

– Не делай другому того, что не пожелаешь себе?

– Примерно. Это ведь всё, боле ведь ничего не сказано. Одно лишь простейшее правило. Просто не делай. О большем судить я не могу.

– Помню семинаристскую библиотеку – там горы томов, – усмехнулся Николай.

– Крамольную для своего сана мысль выскажу другу своему неприкаянному – люди говорят. Такими уж мы явились в этот мир. Думают они чаще потом, от стыда, в оправдание этой своей потребности говорить. Так, быть может, проявляется наше единение. Муж и жена – это нечто ослепительное, не мирское вовсе, оттого так сокрытое и никакими словами невыразимое, сколько страниц ни испиши. Браки заключаются на небесах. А уже начиная от родителей и детей и далее до товарищей, соратников, продавцов и покупателей единство наше – в словах. Мы должны его постоянно себе подтверждать. Как птица в лесу кричит, чтобы обозначить для других птиц свое существование, так и люди…. А нам кажется, что она поет.

– Расстригой кончишь, Алексей.

– Упаси Бог. Ты же лучше других знаешь, что священство – те же человеки. Почему же отказать ему в словохотении и в интересе познания, что же находится внутри той игрушки, что нам дадена. С присущей лишь осторожностью, конечно.

– Удерживать себя? Держаться догмы, невесть когда, невесть кем постулированной? Скажи-ка мне, где сейчас находятся те евангелия, что были исключены из канона?

– Не будь банальным, Николай. Ты упрощаешь неведомое тебе до простейшей проекции. Используя слова из той самой картотеки, которую сам же справедливо высмеиваешь. Я лишь говорю, не суди о неведомом. Познанию подлежит, да. И не в семинарии даже, чему ты оказался ярким примером. А иному какому-то познанию. Не будешь же ты утверждать, что путь познания единственный? Есть математика, есть филология, никак не совмещаемые, только лишь упражнением ума, несуществующей в природе абстракцией, но описывают одно и то же – Божий мир.

– Хватит, Алексей, помилосердствуй. Ты подразумеваешь в познании возможность высшего дара, мистики. Увлекаешься идеей самим же собой выдуманной, никаким образом не подтверждаемой, но буде она сформулирована, должна и место некое обрести. Да с какой стати?! Это простейшая фальсификация всего лишь. Настолько неловкая и односложная к тому же, что нуждается в постоянном усложнении, чтоб грубо раскрашенной пустышкой не выглядеть. Закрою глаза, ты, пожалуй, усыпишь меня неисчислимыми стаями не загадок, не опровержений, не доводов, не аргументов, а попросту домыслов – откуда только что взялось! – которые вы размножили в темных пещерах и от века носите в своих рясах и ворчите на всех, кто не хочет вас слушать. А сколько народу порезали да пожгли из гордыни своей.

– Хватит так хватит, – примирительно улыбнулся Николай. – И правда зря мы языками зацепились, хоть и радостно мне, что спустя годы все так же разговариваем не только о себе. Однако времени у нас мало – как ты?

– Еду на каторгу, Алексей, – усмехнулся Николай, раскачав на руках мрачно скрипнувшие кандалы, – неужели не видишь?

– Женат? Дети?

– Нет. Семейный уют не для меня оказался. Решившийся убить, рожать не должен.

– Не жалеешь?

– О пути? Нет. Как ни посмотри на него – из моего угла или с твоего амвона – жалеть не о чем. Можно только сокрушаться.

– И молиться.

– Это оставь себе. Хорошо, если помогает, мне – нет, соблазняет только. А про тебя и спросить, видимо, нечего. Где обретаешься?

– Здесь, в Благовещенском.

– На берегу…

– Да.

– Помню, там сады были – зелено. И белый чистый камень. Красиво по молодой весне.

– Невестино, да. Только берег все активнее обживают, шумно становится, суетно.

– Так и планируешь там оставаться?

– Не знаю. На все ведь воля Божия, ты не поверишь. Но, кажется, пора нам.

Скрипнула дверь, отворилась, в проеме показался жандарм.

– Время вышло, ваше преподобие, не судите, приказ полковника.

– Да, да, голубчик… Ну что ж.

Товарищи поднялись. Николай протянул руки, Игнатий ухватил их, крепко сжал.

– Рад был видеть тебя. Держись, пожалуйста. Буду за тебя молиться.

Надзиратель взял арестанта под руку, молча потянул за собой. Игнатий крестил Николая в спину, бормоча благословение.

– А ты знаешь что, – тот вдруг обернулся, – приходи, пожалуй, опять, если можешь. Меня еще несколько недель будут держать перед отправкой, а здесь и парой слов не с кем обмолвиться, сам понимаешь, не только уж собеседовать. А ты к тому же и человек не чужой. А?

– Конечно, смогу. С радостью приду.

– Только папирос принеси. Не скоромно тебе будет?

– Если позволят, дорогой Николай, и приду, и принесу не только папирос.

Арестанта вывели, дверь осталась открытой. Игнатий слушал, как удаляется звон цепей. Затем направился к полковнику, как договаривались. Тот поднялся навстречу, отложив перо, близко подошел и повел рукой вдоль плеча Игнатия, словно стремился поскорее выпроводить его.

– Ну что? Как прошла встреча?

– Спокойно, к моему большому удовлетворению. Очень вам благодарен.

– Ну что вы, не стоит. Как показался вам Белогорцев? Ни о чем таком речь не заводил, что бы мне стоило услышать?

– Поверьте, нет. Мы совсем не касались этих тем, все больше вспоминали прежние времена.

– Они были спокойнее и приятнее, чем нынешние, понимаю вас. Впрочем, так, кажется, всегда и бывает. Ну что же, тогда здравия желаю.

– Просьба у меня к вам есть

– Слушаю.

– Я хотел бы вновь навестить Николая, скажем, через пару дней. Домашней еды какой принести….

– Ах, ты батюшки! Не скрою, эти визиты для нас довольно хлопотны… Но если рассудить… Давайте так – я подумаю и извещу вас. Хорошо?

– Да, спасибо, полковник. Храни вас Господь.

– Ага. И вам тоже всего хорошего.

На обратном пути Игнатий почувствовал досаду. Взволнованный встречей он пошел пешком, не брал извозчика до самой Благовещенской

площади. Отсюда лишь покатил – по Зеленскому съезду, через Нижний базар, – пряча лицо и от встречного ветра, и от встречаемых людей. Он словно продолжал внезапно извне прерванный разговор, возвращался к разным его фрагментам, развивал даже и не высказанные вслух мысли, свои собственные или, как ему казалось, питавшие Николая. Терзавшие его, ведь неспокойствие души – есть мука и страдание. Это Игнатий знал по опыту, из него исходил в своем пастырском служении. И вот сквозь радость после стольких лет видеть наперсника своего детства, сквозь бодрость духа, которую он ощутил в собеседовании с ним, Игнатий смутился болезненной досадой. Он вдруг осознал свою разговорчивость как глухоту. Позволил себя увлечь обсуждением пусть интересных, живых для него и важных самими по себе, но отвлеченных и потому, возможно, праздных для его друга вопросов. Для его изъязвленной, притаившейся в своей боли души. Пытался ли он повести Николая за собой, хотя бы выпрямить его? Конечно нет. Ведь для этого он должен был, напротив, вынудить его говорить именно что о себе. Спустя долгие годы, в которых они были друг другом потеряны и разобщены, он должен был вернуть дружеское доверие, а не определять и обосновывать границы, разделявшие их. Невольно вышло и незамеченным прошло то, что Игнатий с хладнокровием принял изощренное богохульство Николая, но не его самого. В сказанных словах, ведь не обязательно точных, наверняка не вполне соответствовавших тому, что каждый из них имел выразить, словах, зачастую приготовленных в нашем уме кем-то другим и по другому случаю, Игнатий словно бы и не разглядел своего собеседника. Как среди листвы, залитой золотым предвечерним солнцем. Какие у него глаза?

Милостью Божией они встретятся вновь, и Игнатий будет и более сдержан, и предусмотрителен, и внимателен к Николаю. Но, кажется, он был и сегодня достаточно смирен – это хорошо, это благостно, подумал монах.

Через день, на второй, в монастырь явился жандарм и попросил Игнатия ехать с ним. Тот даже прервал молитву, поспешив собраться. Он понимал, что если не пойдет немедленно сейчас, то, возможно, уже не получит нового свидания. Впопыхах насовал в мешок разной снеди на монастырской кухне и, даже не заглянув, не осмотрев себя в зеркале, отправился. Его отвезли в казенной коляске, без ожидания провели в прежнюю комнату. Жандарм лишь разобрал его мешок – надломил пироги, не спрятано ли в них чего, вскрыл пачки папирос, поболтал бутыль с молоком: «Таков порядок, ваше преподобие». Как прежде, пылала печь.

Вскоре привели Николая – вошел уверенно, привычкой. Игнатию показалось, что тот и выпрямился, просветлел.

– Здравствуй, – перекрестил его, – вот принес, как ты просил. И еды немного.

– О, монастырские пироги! С рыбой?

– Да, наши мужики у стен монастыря ловят. Не знаю, сом ли, судак, взял какие были. И с капустой еще… Осторожнее, могут оказаться косточки.

Смотрел, как исхудавший Николай с удовольствием жевал – щеки надувались пузырем, крошки падали в бороду, пил молоко, а потом облизывал усы, утирался рукавом, громыхая цепью. Смотрел с родительской нежностью и навязчивой заботой, готовый помочь прежнему товарищу даже в этом исходном, простейшем занятии.

– Думал я о нашем разговоре, признаюсь, – проговорил с набитым ртом Николай, – уже потому думал, что мне уж в моем предрешении думать больше и не о чем.

– И что надумал?

– Да все больше прежнее, к твоему сожалению. Что и так знаю, но интересно и тебя услышать. Заковыристая ведь вещь получается – ты говоришь о единении человеческом, указываешь на естественность потребности в ней. Значит – о равенстве людей, нет? Равно-душии. Ко всем и ко всему равно и ровно с тем превеликим чувством, что и к себе, в конечном итоге. Так я понимаю?

Игнатий закачал головой вслед за ступенчатостью умозаключений Николая.

– Ну, допустим. Хочу понять, продолжай.

– …Но при этом разделяешь людей. Властно и без апелляций. Говоря о вере как о чем-то, что никак невозможно объяснить и даже доказать, только описать, зафиксировать ее симптомы, ты предлагаешь заведомо не опровергаемый фактор такого разделения. При этом фактор не настолько очевидный для противоположной тебе стороны – ведь те, кто отрицают наличие высшего промысла, не просто игнорируют его, а именно оспаривают его существование. Ты не столько разделяешь людей, выходит, сколько от них отделяешься. Ну, ты не лично, конечно, а вся ваша благочестивая братия. То есть именно атеисты сомнениями своими, постоянной генерацией всяких теорий, снисходя к примитивной физиологии и возвышаясь до поэтических высот горнего мира, равенство-то в единении человеческом и устанавливают. Вот уж поистине обожение, не находишь? В то время, как вы лишь отрицаете. Отрицаете все, кроме того, о чем между собой договорились. И этот свой договор, который никем из иных не принят, вы этим иным и навязываете, реализуя неравенство и разобщенность. Тот, кто принимает его, тот просто переходит на вашу сторону – это понятно. Но как быть с теми, другими?

– Нет, милый Николай, не отрицаем. Я не отрицаю. Но ты исходишь из того, что твой метод познания, твой язык единственны…

– Это не так.

– Хорошо, не единственны, но максимально точны – так устроит? – оптимальны из имеющихся или возможных. Ты не испытываешь потребности в обретении новых методов и языка, не сталкивался с обстоятельствами, при которых такая потребность формируется. Почему же ты судишь о ней? Ты говоришь, что отрицающие Бога что-либо оспаривают, таким образом формируя пространство контакта, взаимодействия. Но ведь математика не может не только уж оспорить, но и вообще обратиться к филологии. Как, пожалуй, верно и обратное. Нужен какой-то переводчик. Откуда взять его? С чьей стороны привлечь и как убедиться, что перевод его будет адекватным? Вот поэтому священник всегда со своей паствой, он призван к этому – изучать ее. Да, я понимаю, что «исцелять» ты примешь в штыки, но вот «изучать» устроит тебя? Согласен? Разделение очевидно и не только в этом вопросе, а и в любом другом. Вы же мастера их множить. Нигде не можете остановиться, всякое утверждение в вас вызывает сомнение. Всякая истина недостаточна, нужно обязательно расковырять ее – нет ли там чего-то еще. Но кто кроме церкви призывает ко взаимопониманию, всепрощению, миру, наконец? Ведь переводчики с вашей стороны менее дружелюбны. Ведь вы именно что башню, грозный донжон возводите своими

умозаключениями, конструкцию, которая возносится все выше и выше, так что на голову рухнет того и гляди. Посмотри на чем она стоит, на чем зиждется? Вся целиком – на опровержении высшего существования. Если вспомнить о математическом модуле, то и мы покоимся на том же основании, да, только с утверждением Его. И этого хватает нам, заметь, мы не устремляемся дальше. Не башню, а лишь дом вокруг очага обихаживаем. Так кто же разделяет? Церковь, славя Бога, смотрит на человека и хранит его, вы же на человека опираетесь, чтобы Бога ниспровергнуть. Зачем?

– Если бы. Если бы слова не оборачивались чем-то иным, чем-то обратным…

– Это не страшно, если есть искреннее намерение принять. Это называется любовью. Это и есть благовестие. А слова… их можно переговорить, лишь бы собеседник хотел понять, а не победить в споре.

Игнатий перебил Николая из внутренней уверенности, что способен предвосхитить всякие его возражения, видеть предмет спора с любой возможной стороны, настолько продуман он был им за многие годы. Он был готов и проявить великодушие к запутавшемуся мнимыми парадоксами товарищу, лишь бы тот смирил гордыню свою.

Но Николай говорил об ином.

– …если бы преподобный Сергий, – продолжил он, – в своем частном исихазме остался анахоретом, пошел в столпники, действительно отринув все мирское, прошел незамеченным в своем пути индивидуального человека в Царство Божие, то и я б, наверное, принял все твои аллегории. Но порядок был нарушен, и теперь мы кутаемся в коконы слов – говорим о доверии, приготовляясь к подвоху. Разве не Сергий, духовный собиратель Руси, стал моральной основой совсем другого, жестокого к народам и к человеку царства? За безвидной молитвой монаха выстроилась огромная машина подчинения. Всепрощение и смирение – самое время к ним призывать, когда человек, которого вы, да пусть хоть и исцеляете, ограничен, спутан, унижен, подавлен и растерзан. Стая волков насыщается кровью этого самого человека, пока вы изучаете его.

– А чего добились вы, убив императора? Разве не обратного тому, на что рассчитывали? Говорят, конституция готовилась… Я не считаю это важным, не думаю, что человек изменится или станет счастливее под влиянием законов и даденных прав, если он не научается пользоваться правом любить. А посему есть конституция или нет – мне в целом безразлично. Но для тебя, для вас? Вы же заявляете, что это необходимо. Народ, демократия, общее благо! Или это слова, которые лишь прикрывают частную корысть? Ты будешь вынужден согласиться со мной, здесь лишь два варианта – либо крайний индивидуализм, тщеславие, амбиции, желание отомстить, рядящееся в заботу о коллективном, либо простое человеческое неразумение. Выбирай. Церковь предостерегает и от того, и от другого.

– Мы продемонстрировали намерение. Мы показали, что не просим более, мы требуем. Равенство свое насильнику показали – тоже можем применить силу.

– Народная воля? А вы, значит, ее проводники, воли этой, так выходит? А что такое народ вообще? Можем ли мы говорить о народе без человека? Не слишком ли легко говорить о народе, а не о конкретном человеке? Не слишком ли легко подменять народ, его истинное глубинное содержание простыми догадками, теориями, которые невозможно доказать,

а эту самую волю его наполнять домыслами, прямыми вымыслами или даже злыми умыслами? Никто же за руку не поймает, да?! Прости, друг мой, но я никогда не решусь утверждать, что знаю свой народ. Но ведь ты, Николай, не ответил. Принялся защищать себя, в то время как я не нападаю. Мы верим в бессмертие души и помолимся обо всех убиенных. Мы признаем праведность воина, хоть и отказываем ему в причастии на целые годы, зная, как страдает отторгаемая душа. Она страдает в очищении. Нельзя получить конституцию, убив того, кто должен ее подписать. Как нельзя осчастливить народ, исповедуя собственную страсть. Что такое народное – или как еще? – коллективное благо, ты знаешь?

– Равенство. Действительное. Конституция – это наш способ реализовать примат христианской любви, если хочешь. Если так тебе понятнее. В известном смысле мы стремимся конкретизировать догмат – от общего к частному. Вот что такое юридический закон – общежитийная норма. Вы пугаете наказанием Господним, мы – возмездием правосудия. Дал бы Христос не десять заповедей, а хотя бы сотню – может, и Конституция бы не понадобилась.

– Будешь упрекать церковь в консерватизме? Мол, охраняете древние свитки, в то время как ученые мужи уточнили их до мелочей? Но вновь забываешь об относительности познания. Вы ходите по кругу, радуясь лишь тому, что вырвались на этом круге вперед относительно прочих. Возлюби ближнего своего – это не о том, что о любви пока еще мы знаем так мало, что боимся исчерпывающего списка ее видов, боимся ошибки или хотим запутать в интерпретациях. Это о том, что какую любовь вы только ни найдете – вся она здесь, уже все сказано. Сколько ни копай, только это и будет. Будь доволен, наконец, человек!

– Ты даже не замечаешь, как постоянно возвращаешься к одному и тому же. Словно мы идем по лесу, но ты вновь и вновь норовишь вернуться на свою поляну и голубить свой аленький цветок. Принимаешь ли ты мое представление о коллективном благе? Или спросил о нем просто так, потому что в сущности оно тебе неинтересно?

– Лишь бы ты принял свой ответ. Действительно уверился в нем. Если не имеешь другого инструмента познания, то, используя логику, один ли и тот же ответ ты получаешь в разное время? Ты прав, коллективное благо меня занимает меньше, чем благо человека. Я вообще не очень понимаю, что это за сущность такая – общество. Народ, да, хоть и эфемерное, но понятие, культурный феномен. А общество? Придуманная какая-то конструкция, нет? Сегодня так понимается, завтра – эдак. А вот ты, например, совершенно конкретен. Тобой я сейчас искренне интересуюсь. Всей душой хочу, и опять не получается поговорить именно с тобой. О тебе.

– Узнаю пастырское высокомерие – спрашивать в расчете лишь на то, чтобы собеседник задумался над собственным ответом. Это раздражает, признаюсь.

– Извини, пожалуйста. Но как мне еще найти к тебе путь, если не через те двери, в которые ты ломишься? Коллективное благо – это же ваш идол! Ради него все эти смерти. Готовы пожертвовать даже собой. Ты представляешь, что тебя ждет на каторге?! И вот, сидя в ожидании этих мук, мы, два искренних некогда друга, обсуждаем народное благо?! Как оно вообще может быть, если сотни, тысячи людей гниют заживо ради него? Услышь меня, наконец!

– А что им делать, этим сотням и тысячам, если их мир – вовсе не благодать, а мрак и насилие? Разве у них нет права на защиту, не могут

они сопротивляться насилию? Мой покровитель Николай Чудотворец разве не залепил пощечину Арию за подчинение Сына Отцу?

– Опять юродствуешь. Еще вопрос, кто кого провоцирует. Святой Николай видел ересь сомнения в единстве Троицы, а не в подчинении сына отцу… Могут! Не скажу, что должны, но сопротивляться могут. Только ведь борцы за права невинно обиженных – вовсе не они сами, эти встраиваются в предлагаемые модели, как черенок в прививаемую яблоню. А вот на бой идут и прочих призывают совсем иные, те, которые воспринимают борьбу как идею. Отсюда и идут абстракции коллективного блага, обживаются в сознании людей, становятся самостоятельной сущностью и требуют отдельного нового, доселе неведомого знания…

– Не историю церкви ты мне сейчас рассказываешь?

– Пусть так! Но я повторяю, люди, любые, – и миряне, и священники – хотят говорить. Законы будут множиться. Ты помянул преподобного Сергия, но помяни и мое слово, что придет время, когда договорятся до того, что монгольское иго не бедой народной было, но благом, мол, через Сергия послужило оно катализатором русского вещества. Но что это меняет? Сергий как был, так и останется чистым нетронутым. А эти «иные», умаявшись своей суетой, сделают лишь новый круг. И в церкви это есть, да, но в церкви есть и другое – память многовековая. А еще – догмат. Пусть он и недостаточно для вас уточнен и осовременен, зато позволяет удерживать от слишком уж широких заходов на круг. Удержал бы тебя кто в тот момент, когда ты бомбу делал, что было бы с коллективным благом?!

Открылась дверь, вошел жандарм.

– …А что было бы с тобой? – договорил Игнатий, осекшись тем, что эта фраза теперь повиснет в воздухе неотвеченной и будет сверлить его ум до исступления самого глубокого разочарования. Но не договорить он не мог. Сжал губы, глядя, как Николай тоже заметно взволнованный, тоже споткнувшийся о невозможность ответить, пусть нелепо, первым что придет на ум, пусть выкриком, но поставить точку, поднялся со своего стула и покорно пошел к выходу.

– Я постараюсь прийти еще. Сожалею, Николай.

– Буду ждать. Но как знаешь.

Вечером того же дня отец Игнатий вышел за монастырские ворота, чтобы постоять в одиночестве у Гремячего ручья. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Неумолчную молитву он растворял в журчании воды, настойчиво отгоняя нелепые воспоминания о том, как в юности старался запомнить правильный порядок слов – несколько раз произнеся «Господи Боже, Иисусе Христе…», он долго затем терялся, как же правильно, и подглядывал в молитвенник. Днем же ручья совсем было не слыхать из-за грохота груженых подвод, едущих мимо.

Намело, на теплой еще с лета земле образовалась снежная каша, теперь она заиндевела на вечернем морозе. Хрустя ею, Игнатий что-то пнул сапогом, прихватил – то была кованая блочная скоба; оставила шершавый след мокрой ржавчины на пальцах. Он пытался присмотреться к себе, внутренне изловчиться и от себя отойти, чтобы со стороны увидеть. Освободить и разум, и душу, как учили праведники, чтобы те в покое и согласии друг с другом наполнили его пониманием. Отчего так происходит, отчего, несмотря на его решимость и старания, движется именно так, а не иначе? Отчего он глух и так требователен?

Что пытается доказать? Почему именно Николай, разделивший с ним трепетные годы беззащитности и надежд, вызывает в нем приступ многословия? Так бывает, Игнатий наблюдал уже, с людьми в минуты горя и опустошенности – говорят, надеясь заполнить пустоту словами, наполняя слух звуками, говорят, словно укутывают себя одеялом в попытке согреться. Или стараясь удержать реальность от разрушения, чтобы все оставалось на своих местах, как прежде, пусть и мнимо. Повертел в руках скобу – четырехгранная в сечении, в палец толщиной – пригодится, только вот руки холодит.

Игнатий горько досадовал, что старинные товарищи, которые так радостно и так, в сущности, недолго были вместе, что не успели накопить взаимных обид, не находят теперь никаких других тем для разговора, кроме самых болезненных и заведомо разделяющих. Не вспоминают, как таскали яблоки из чужих садов, как прятали за пазухой томики порицаемой в семинарии беллетристики, как смеялись над брачными объявлениями в газетах, а жарким июлем подсматривали через дырку в заборе, сквозь кусты наливающейся кровью смородины, как полуодетая мещанская дочка полощет во дворе белье. Светлые щеки Николая покрывались неровными пятнами румянца, он отводил глаза, а затем непременно затевал шутливую потасовку. Они катались по земле, теряя картузы и смеялись. Но почему сейчас они словно пытаются причинить друг другу боль? Или это такая же потасовка из желания не столько победить, оказаться выше и сильнее, сколько стравить душевное давление? И они ли тому причиной, в равной ли степени зачинщики, или только он один? Возможно ли, что снова и снова возвращаясь к разговору, он не столько вспоминал его, сколько заново моделировал? Возможно ли, что его душевная глухота, которая отзывалась сейчас жгучим стыдом, как бесстыдная торговка попросту подменяла ему реальность? Что он не просто не воспринимал сказанное Николаем, но слышал им и вовсе не сказанное? Разговаривал с самим собой, привлекая несчастного товарища в безвольные свидетели. Так актеры, входя в роль, заставляют домашних зачитывать чужие реплики. Так на портретах, некогда любимых вымещают злость на самих себя. Так иные монашествующие впадают в безумие, поскользнувшись на неведомом мыслительном изъяне на самой уже почти вершине благости.

Игнатий поспешил воротиться поближе к монастырю. Как бы то ни было, теперь необходимо договорить. И как можно скорее. Чтобы недоговоренное не оказалось превратно понятым, не проросло ложными всходами в их душах.

– Если прав ты, то жизнь моя лишена смысла…

– Господь с тобой, Николай! С какой позиции ни посмотри, это не так.

В третий раз Игнатий пришел в острог без договоренности с комендантом, как только завершил работы свои в монастыре, тревожился о том, как его примут. Но встретили без церемоний, буднично, даже не проверили его мешок, в котором он принес моченых яблок и горшок каши, а еще краюху свежеиспеченного монастырского хлеба. Во дворе все так же бродили арестанты, все так же безучастно курил надзиратель. Подождать лишь пришлось дольше обычного, словно Николая приготовляли или занят он был.

– Я не могу признать твою правоту уже потому только, что она обессмысливает мою жизнь, – Николай разглядывал кашу, ковыряя ее

старой обглоданной уже ложкой, но поднял глаза. – Чего ты хочешь от меня, когда утверждаешь, что путь, которым я следую, ошибочен? Если выбор самостоятелен и осознан, то я, выходит, неудачник, если не прохиндей, который растранжирил многие годы без какого-либо следа. А ежели выбор пути предрешен высшей силой – еще неизвестно, что страшнее, – то как понимать это?

– Я в принципе не считаю верным столь прямолинейный подход.

– Да мне плевать, что ты считаешь верным. Ответь на вопрос!

– Я исхожу из непознаваемости высшего промысла. Настолько, что даже не задаюсь вопросом о цели. Допускаю, что сама по себе категория цели здесь неуместна. Извини, твоя логика требует следующего силлогизма, и опять следующего и так далее, и так без конца. Следуя ей, ты вынужден признать, что ты жертва, агнец для заклания, никак иначе же не выходит, если высшая воля ведет по заведомо ложному пути. Что, возможно, ты и правда пример для других, но только не в том смысле, как представляют себе бомбисты, мол, мы герои, образом и духом которых будут разбужены новые борцы за справедливость, а в ином, быть может, более жестоком – пример падения. Как в античном Риме юношам патрицианских семей показывали пьяных рабов, чтоб отвратить их от вина. Твоя логика неизбежно формирует языческого изуверского бога. В образе которого люди лишь кодифицируют собственные низменные порывы. На старых иконах, бывало, изображали демонов, но не существует в Божием мире обиталища для них. Ада как такового, места, полного мук и огня, не существует. Ад – это лишь недопущение к себе Бога. Поэтому я не приемлю твой подход.

– Тогда и проще, и честнее признать самостоятельность выбора. Эдакое противоборство с Ним.

– Проще. Потому что привычнее, ибо «я» понятнее, чем Он, животом чувствуешь себя, чреслами. Но вспомни себя влюбленным. Ты ведь любил, да? Вспомни, как пылало сердце, как предмет своей любви ты ощущал живее, чем самого себя, как растворялся в нем, и каждый прожитый день был самоценен, будущее не имело никакого значения. Разбуди тебя ночью – ты даже не услышишь вопроса, будешь говорить лишь о своей любви. Твои глаза, твоя душа, все твое естество наполнено этой любовью. Но никому другому не сможешь ее объяснить. Этот другой может и сомневаться, не находить в предмете твоего обожания тех беспримерных достоинств, о которых ему твердишь. Но что это меняет для тебя? Ты знаешь, что отныне твоя жизнь изменилась навсегда. Так и здесь. Разбуди ночью и увидишь в счастливых глазах «Верую в Тебя, Господи»…. Понимаешь? Жизнь не может быть лишенной смысла, как бы ты ни проживал ее….

– Не надо, Алексей.

– …Даже грех, совершенный, допущенный… Понимаешь, Он что-то говорит тебе… Даже наказание, хворь, или утрата, или растерянность – это не обесценивание, а указание…

– Слышал я это. Но вот что думаю сам… Думаю, что христианство значимо не указаниями, а, напротив, предоставленной человеку свободой. Тем, что оно сформировало феномен моральной дилеммы. Не исключаю даже, что первоотцы в мудрости своей нарочно составили библейские книги с очевидными изъятиями, чтобы осталось между строками их пространство для интерпретаций. Было бы дадено не десять общежитийных принципов, а пусть хоть сотня, тем паче шесть сотен, так чтобы тесно их стало соблюдать, так чтобы ни времени

не хватало блюсти, ни ума – усомниться, но ведь нет. За простотой догмата любители цитат и дословного следования неизбежно путаются противоречиями – всякого взывающего способен осечь другой, противный, но равносильный ему….

Николай остановился, задумавшись. Потом нервически повел рукой, словно подыскивал слова, посмотрел в сторону окна.

– Знал я одного человека, давно это было, еще в университете, – продолжил, склонив голову. – Наверное, у каждого есть такой знакомый, даже мимолетный, едва различимый в свое время, но которого вспоминаешь во время особое. Мастеровой краснодеревщик – вот уж поистине чудеса творил, прости уж меня. Повертит в руках деревяшку, самую бросовую, ножом порежет – вот и игрушка вышла… Все в его руках словно оживало, ладилось. Казалось, палку дубовую, иссушенную годами, просто в землю воткнет – и та прорастет. Да хоть в голый камень – все одно побеги даст… Застрелили его жандармы. Выследили с пачкой брошюр наших, попытались взять, он вырвался – вот и застрелили. А ведь могли не стрелять. Могли промахнуться. Понимаешь? Путь христианина, по-моему, не указание, а моральная дилемма, в которой ты волен. Вон Бог, а вон порог… Он сочувствовал нам. Сам из зажиточных, но народ, непонятный тебе, замечал – сочувствовал нам. Нет, в боевых операциях или подготовке к ним не участвовал, никакого насилия не принимал. Но вот брошюры распространял. Значит, видел смысл в нашей деятельности. И видел разделение в ней. В самом малом видел разделение, значимое для него. Крошечное совсем различие, полшага, пядь в сторону, а все уже другое. Как его соблюсти, каким указанием определить, какими весами измерить? Невозможно. Если только не тяжкою думой, что спать не дает, пришел ты сюда, в это вот самое, именно твое место…. Не знаю, о чем я. Может, радуюсь, что вот так у него вышло. Может, и та бомба, которую я собирал, должна была мне голову оторвать. Может, так лучше бы было…

– Перестань! – оборвал Игнатий раздраженно. Он раздражался еще более оттого, что история, рассказанная Николаем, неуместно в их разговоре разжалобила его.

– Ты ведь тоже понимаешь, что у меня впереди лишь расплата. Преступление и наказание – если ты прав – это мы уже знаем. А иначе – горячая и взывающая память товарищей – это еще предстоит узнать. Мы с тобой сейчас как в игорном доме – ожидаем, что выпадет. Может, вот он, ад. А может, и нет. Моральная дилемма христианина и благодетельствует, и христианство же разрушает, лишает церковь примата в вопросах веры – она же есть выбор, если подумать, вера-то.

– Я не знаю, что сказать. Порою слышу в тебе и праведное чувство, и искреннее желание благодати Господней, хочу помочь, протягиваю к тебе братские руки, но ты тут же высмеиваешь себя же, отступаешь от порога. Ты словно бы пробуешь на вкус. Может быть, для тебя жизнь – игра, в гордость, в широкий жест, в орлянку. Для меня – нет.

– Искупление ведь сродни предательству самого себя, ты не находишь? – продолжал Николай своё.

– Послушай, что ты говоришь, Николай! Ты же все законы Божьи и человеческие попираешь в озорстве своем, жестоком к самому же себе. Упорствуешь во грехе гордыни и пытаешься себя оправдать. Никакой демагогией не гнушаешься, лишь бы не сознавать себя настоящего, не видеть себя.

– Ладно, успокойся, это я так.

– Не будет тебе прощения, нет, не будет. Никто не вспомнит тебя среди многих других юродствующих умом, забывших уже все стремления свои в суете слепого эгоизма. Правда, чистая беспримесная правда рвет с вас одежды, но вы рядитесь в лохмотья заумных фраз, бесшовных афоризмов, отвлекаете взгляды фокусами и загадками…

– А ты никогда не думал, что эгоизм, как и ум, можно развивать, а? – сказал Николай, словно и не слышал монаха. – Ну, согласись, что интеллект противоестественен в божьем мире, среди гармонии местной флоры и фауны, в которой всякое целое состоит из частей и лишь частью является. Ведь интеллект, познавая порядок вещей, встает над ним, ломает его под себя. Но, развиваясь далее, он становится способен и воспроизводить этот порядок и развивать его. Так и то, что мы называем частным эгоизмом, может быть костью в горле общего – «я» и «мы», «я» оспаривает «мы» и стремится подчинить его себе – но может быть развито до уровней, когда «я» это самое «мы» вмещает целиком. Не задумывался? Разве не этого ты хочешь для человека? Разве не этим стремлением, пусть и неосознанно, движим сам?

– Прости, Николай. Меня совсем не забавляют твои пустопорожние умозаключения. Ты как графоман, завязший во многословии своего романа. Он меняет местами слова и переписывает целые абзацы, но текст никак не складывается в простое и ясное повествование. А ты множишь сомнения, играешь вопросами, неспособный сделать простого и ясного шага. Я тебя здесь и оставлю – перед открытой дверью, в которую ты не хочешь войти. Оставлю с единственным лишь напутствием – пройди свой путь до конца, только там ты поймешь. Уповаю на то, что Господь будет милостив к тебе.

– Вот и я так думаю. Хочу думать. Во всякой жизни есть смысл. Именно смысл, Алеша.

Игнатий поднялся, теперь уж статно, как и подобает, без волнения. Николай в привычных своих цепях встал следом, смотрел на бывшего друга и улыбался. Каждый из них видел в другом понимание того, что теперь прощаются уж навсегда. Поэтому молча. Игнатий обнял Николая, и тот послушно сжал плечи.

– Помилуй тебя Господь!

На обратном пути Игнатий почувствовал усталость, которую принял за покой. Решил сегодня обязательно уж посетить вечерню, слишком многие службы пропустил в последнее время, увлекшись мирскими делами.

На следующий день настоятель призвал Игнатия в неурочный час, когда обычно обходил с келарем монастырские мастерские. Игнатий оставил своих подопечных иноков изучать часослов и отправился, гадая, что же тому понадобилось. В административной палате он сразу натолкнулся на полковника, тот ходил взад и вперед у самой двери, заложив руки с прыгающей в них фуражкой за спину.

– Здравия желаю, ваше преподобие, но день сегодня не добрый, скажу сразу, – остановился, холодно уставился на Игнатия, сверкнув пенсне, зашагал дальше.

– Что такое? – Игнатий отыскал глазами настоятеля, но тот сидел за своим столом с лицом сфинкса.

– Да понимаете, какая оказия случилась, – свою колючую связку ключей полковник притащил и сюда; гремят на его поясе при каждом шаге, – наш общий подопечный, Белогорцев, сегодня ночью удавился.

– Как? – выдохнул Игнатий.

– Да вот так, – полковник встал, вытягиваясь на носках до скрипа сапог, – отгрыз рукав рубахи, разорвал на лоскуты и, связав их на оконной решетке, кончил с собой, представьте себе, – вновь зашастал туда-сюда. – Недюжинную волю нужно иметь, чтоб так-то вот все сделать. Волю и решимость. И терпение, да, скажу я вам. Мозг-то, когда задыхается, спастись хочет, тело к жизни призывает – человек, даже самоубиться задумавший, рефлекторно опору ищет, чтобы шею-то высвободить. А Белогорцев же нет, не с табурета соскакивал, загодя лишая себя возможности вернуться, не в воздухе повис, а вот прямо на полу, на грешной земле стоя, сам, собственным телом в петле наваливался, собственными, так сказать, руками себе шею давил… Сколько ж времени на это ушло, а? Бог весть, как ему это удалось.

Игнатий крестился, закрыв глаза, словно перед ним раскрывалось что-то оскорбительно бесстыдное, бесшумно шевеля губами слова молитвы.

– Не повесился, а именно удавил себя. Вмешательство третьих лиц совершенно исключено, смею вас заверить. Он содержался в одиночной камере под строгим запретом на общение с другими заключенными. А уж мои жандармы ребята все проверенные. Нет, совершенно исключено! – полковник вновь оказался рядом. – Вот я и пришел к вам узнать, что же такое с Белогорцевым приключилось. Что между вами произошло, а, святой отец?

– Мне нечего сказать, полковник.

– Вы так настаивали на встрече… Я счел, что дружеское общение, к тому же со священнослужителем, умиротворит Белогорцева, успокоит его… Ведь я вас предупреждал. Предупреждал, верно?

– Да. Но я не заметил никаких признаков…

– А должны были заметить, разве нет? И не раз ведь приходили, вновь и вновь продолжали свой разговор…. Так о чем же шла речь? При вашем настоятеле спрашиваю.

– О вещах совершенно общих. Немного спорили, Николай ведь тоже семинарист, богословские вопросы ему не чужды…

– Богословские вопросы, значит. Карой небесной его пугали?

– Оставьте, полковник. Я не понимаю, о чем вы допытываетесь.

– Это экстраординарное событие, святой отец, вы должны понимать. Это не просто крестьянина в глухой деревне бог прибрал. Тут государственный преступник, находящийся под властью закона, покончил с собой – много бумаг будет исписано, прежде чем дело закроют. В сущности, мне все равно – то, что было между грешником и исповедником, дело Господа Бога, не мое, – но мне рапорт нужно составить, а потом по инстанциям его направить и ждать высочайшего решения. И надеюсь, вы догадываетесь, что ваше имя тоже в том рапорте упомянуто будет. Так что же, по-вашему, произошло?

– Поверьте, полковник, я ошеломлен не меньше вашего. Не вижу, не нахожу ни одной причины явной, не могу объяснить… Вчера мы почти договорились. Беспокойство осталось во мне, я видел, как тяжела и маетна душа Николая, но милостью Божией, казалось, светлела. Уповал я, что путь его выправится, видел к тому первые робкие шаги. Видел. И выходит, что грешен в том.

– Ну, это к делу, пожалуй, не пришьешь… Что ж, поверю…. Значит, нет у нас ясного определения, значит, он сам все решил. Значит, вроде несчастный случай получается как будто… Чужая душа, как говорится,

потемки, да? Ну что ж, ладно, на том и порешим. Тогда, ваше высокопреподобие, разрешите откланяться. Благословите, святой отец.

Настоятель отец Григорий поднялся к полковнику.

– На все воля Божия, примем ее со смирением, – проговорил. – Будем молиться во искупление грехов наших, явных и неявных, осознанных и невольных. Не подозреваю я, полковник, в произошедшем никакой возможности того, что было бы важно для вашего рапорта.

Перекрестил офицера, протянул руку для поцелуя.

– Можно ли увидеть его, Николая? – пробормотал Игнатий, когда полковник уже напяливал на лысую голову фуражку.

– Это исключено, не по уставу, – отрезал тот, блестя кокардой. – Тело Белогорцева после всех формальностей будет захоронено на острожном кладбище. Это все. Честь имею, святые отцы.

Когда он вышел, настоятель приобнял Игнатия, тронул его за руку.

– Брат мой! Жаль мне тебя всею душой, вместе с тобой пред ликом Господним плачу. Пожалуй, воздержись пока от общих служб с братией, удались в келью, помолись, да не спеша помолись, с усердием. Ежели душа возжелает, исповедую тебя, приходи запросто, когда пожелаешь.

Через неделю неусыпных молитв митрополит вынес Игнатию временный запрет священодействовать.

Да он и сам испросил разрешения отбыть в Спасо-Преображенский монастырь Соловецкий. И ушел с благословением братии. Через Успенский Высоковский, Кириллов и Ферапонтов монастыри, пешком и на крестьянских санях добирался.

Как взобрался в заиндевевший баркас на Белом море, только тут словно бы освободился к радости Рождества.

Местный игумен принял его благосклонно, выслушал, прочитав послание отца Григория, обещал сразу после праздника определить ему скит во временное обиталище, а пока отпустил.

Игнатий пошел в собор и в его гулкой тишине, под пятиметровыми сводами, под защитой приделов, что вознесены подобно крепостным башням, пал ниц. Раскинул руки, как в день пострига, прижался щекой к полу, словно спрятал лицо в материнских ладонях. И пригрезилась ему надобность учинить скит собственный, в честь Второго Пришествия, самого аскетического устава, какой только человек способен выдержать. Скит без дверей, да и без окон, с единственным проходом сквозь толщу земли, таким узким и стесненным, чтобы как в норе, на коленях ползти в одиночестве и смирении, чтобы не обернуться назад. Кельи по числу апостолов солярной фигурой выстроить, вырубить в каждой по малому участку бревна в одном из венцов сруба, да повыше, чтоб глаз насельника не путался видами далей, но созерцал свет. А в центре скита колодец выкопать. Так грезил Игнатий, обливаясь горячими слезами стыда за то, что оскорбляет молитву своим намерением. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.

ПАЛЕЕВЫ

А вот и второе письмо. Палеев усмехнулся, испытав то удовлетворение, похожее на злорадство, которое посещает даже самого великодушного человека, когда его догадка подтверждается. Но удовлетворение, смешанное с раздражением от того, что его внимание вновь привлекают к вопросу, до которого ему нет никакого дела.

Серый конверт из пористой бумаги – по ней шорохом штрихов текут и адресные строки, и нижегородский штамп. И узнаваемый с первого взгляда почерк – тесный частокол букв, выведенных с нажимом, с изломом пера, с птичьими хвостами скупых росчерков. Палеев словно бы видел, как отец подписывал этот конверт несколько дней назад, в четырехстах лишь верстах отсюда – сидит за огромным столом, с единственной свечой, в душной темноте, подобрав перед собой руки, словно кролик, ухвативший морковку. Дыбится плечами, вытягивая шею, подслеповато сощурившись; крупный рубин мерцает на пальце темной кровью.

Первое письмо, поступившее пару недель назад, Палеев оставил без ответа, ожидание второго наполняло его смутной тревогой. Теперь держал его в руках, пытаясь предположить, как поступит. Проще было оставить все, как есть, как было на протяжении долгих лет, как окончательно установилось по смерти матушки. Но чувство сыновьего долга, не столько памятное, сколько непосредственно и с досадой ощущаемое где-то глубоко в груди или ниже, в мягком шраме пуповины, мутило и беспокоило его.

Громада отцовского стола – прямиком из детства; масляные тени будоражат фантазию ребенка страхами. Скрип кресла, сосредоточенное покашливание – сейчас заметит его, сверкнет глазами: «Прочь! Не мешай!» И этот окрик подстегнет ребенка, как опоясывающая вожжа, пока он второпях, вставая на цыпочки, меняет на полке одну книгу на другую.

Всегда тихая матушка оборачивалась вовсе незаметной, когда отец работал с бумагами. Все часы в доме становились слышны. Палеев замирал в ожидании неминуемого разряда, как только мерное тиканье прерывалось шорохом шестеренок, предвещающих бой. В этой сосредоточенной, как туча, работе было нечто колдовское, подобное зарождению в клубящейся выси грозы. Нечто жутковато неуправляемое всегда должно было произойти – приступ гнева или, напротив, нарочитой радости – грозы было не миновать, когда отец заканчивал и громыхал старым ноющим креслом, поднимаясь. Сейчас вывалится в пространство дома и вновь наполнит его живым шумом.

Пока повзрослевший уже Палеев не нашел в его бумагах лишь залежи простейших расчетов и банальностей, записанных старательным почерком школяра. Воспоминания впечатлений, как вода, что сочится сквозь корпус лодки и неудержимо топит ее.

Палеев решил прочитать отцовское письмо вместе с прочими за сегодня после ужина и распорядился подавать. Первое письмо он сжег, не распечатав.

Его тянуло к отцу, как небесное тело притягивает к солнцу. И как солнце же тот был невыразим, недосягаем и неучастлив. Любые проявления родительской ласки бывали словно отравлены постоянно ощущаемой в отце некоей задней мыслью, отличной от смысла произносимых им слов. Обращаясь к сыну, он часто хватал его за плечи и встряхивал, худого и испуганного, нахмурив кустистые брови или улыбаясь, смотрел прямо в глаза. Но смотрел не сквозь него даже, а словно бы в сторону. Туда, где этого мальчишки не бывало в прошлом и не будет в будущем, в неназываемую, едва ли не оберегаемую отцом сторону, в которой, видимо, и были сосредоточены его действительные интересы.

Выплеснув эмоции, Палеев-старший словно бы замечал сына, его взволнованный, но пытливый взгляд. И как человек, вдруг осознавший свою наготу, стремится прикрыться, чем только под руку подвернется, прятался за неизменной насмешкой.

Прошло немало времени, Палееву пришлось преодолеть и переработать умом и душой многие неясности и парадоксы окружающего мира, прежде чем он заметил, что его отец насмехается буквально надо всем. Между интеллектом и страстью лишь паяцу есть место, пришло ему юному в голову при чтении «Братьев Карамазовых». С тех пор образ отца хотя бы отчасти, хотя бы одной своей проекцией приобрел ясные очертания.

Но прежде, до того, как юный Палеев стал замечать какие-либо закономерности в происходящем, отцовские насмешки, чего бы они ни касались, воспринимались им как свидетельство силы и превосходства, исключительное могущество ума и проницательности. За язвительной насмешливостью Палеев подразумевал особую мудрость своего отца. Он искренне и целиком, без остатка восхищался этим замечательным и блестящим мужчиной, не успевая в пылу безраздельной любви осознать в себе это восхищение. Не успевал задуматься, как сильно хочет быть на него похожим, а просто напитывался, выстраивал каждую клеточку себя из его, отцовского материала.

Особенно завораживала способность отца неизменно побеждать. Не так было важно побеждать кого, в чем и зачем, но сама по себе победа как таковая ослепительным образом греческой Афины привлекала юного Палеева и вдохновляла его. Лишь много позже, когда он осознал бесконечность времени, разглядел безграничье астрономического неба, это самое понятие «победа» словно рассыпалось в его руках пустым тщеславием очередного выскочки.

Отец насмехался над «дураками» и «слабаками», над «подлецами» и «мерзавцами», над «простофилями» и «чистоплюями», над «барами» и «благородиями». Насмехался, даже когда не мог с ними справиться и нес убытки или другое какое поражение. И уж совсем без удержу, с хлестким, как удар кнута, злорадством насмехался над теми, кого сумел обмануть, «обвести вокруг пальца». «Я победил! Я Палеев! А не какой-нибудь…» – гудел он в такие минуты, раскрасневшись после горячих щей, скинув сюртук и расстегнув жилет – часы выпрыгивали из кармана и раскачивались на цепочке; на рубахе под мышками растекались пятна пота. Палеев ловил себя на мысли, что следит за полетом часов, которые вот-вот упадут и разобьются об пол. Отец широким жестом

махнет на них рукой, но затем будет внимательно разглядывать, изучать на предмет починки и обойдет всех мастеров в городе в поисках меньшей цены. А ежели придется покупать новые, то лучше не попадаться ему на глаза, пока он будет привыкать к мысли дополнительных трат.

Фамилию того, другого – «Я Палеев! А не какой-нибудь…» – он произносил с презрением, скривив рот и все широкое лицо свое наигранной плаксивой гримасой, пуская даже слюну, отмерив пальцами самую мизерную щепоть. Но свою – «Палеев» – он произносил величественно, словно ценнейший груз поднимал, одновременно выпятив грудь и набычившись, оглаживая бороду и топая сапогом. Вздымался, восставал, утверждаясь в собственных глазах. С усилием выговаривал, словно чувствовал нутряную мягкость своего родового имени, затопленного половодьем гласных. Там, где должны были в его фантазии торчать, рокотать и звенеть твердые звуки, растекалась лишь плавная тихая гладь.

Почему именно щи он вспомнил? Этот суп у них варили из самой жирной солонины, так что густой бульон шел буквально слоями – есть его можно было только пылающим, иначе застывал, покрывал весь рот, губы, пальцы, которыми держал ложку, липкой тошнотворной пленкой. Отец вылавливал в сером вареве кусок сала, плотно посыпал его солью и, пыхтя, отдуваясь, жевал. Почему не суп из баранины? Отец покупал ее у татар, с которыми вел дела. Из тщеславия покупал – задыхался от нее, чихал и отекал лицом, но ел. Или тот же распаренный горох, с неизменной капустой, на свиных шкварках – старший брат Михаил очень его любил. Коренастый в отца, круглый лицом, смешливый, после того гороха он с наслаждением пускал газы в их мальчишеской комнате, а потом удивленно круглил глаза – «Кто это? Ах, это ты, негодник!» – и затевал с младшим Палеевым драку на подушках. Михаил с такой легкостью и полнотой усваивал все повадки и черты отца, так бывал похож на него, что вызывал у брата, нет, не зависть, но любовь, едва не сыновью. И чем больше Палеев осознавал за собой это, чем чаще замечал, что сам не способен быть, а возможно, и стать таким же, как они, тем больше эта любовь проникалась бессильной зависимостью.

В юношескую пору, когда неопределенное «я» вдруг становится неуклонно требовательным и таким острым, что едва не рвет кожу, Палеев всякий раз яростно злился на себя, когда не дюжил, разочаровывался в себе, пробуя и опять не достигая. Он буквально ненавидел себя и считал ничтожеством. Приобрел привычку молчать, отстраняться и не участвовать. В его душе появилась и принялась расти особая зона безразличия, а потом и бесчувствия ко всему, что связано было с отцом и братом. А пытливый ум немедленно отозвался строительством целой сети объяснений, почему это происходит и зачем это нужно.

И все-таки именно щи – это интересно. Простейший исходный пучок звуков, определяющий извечное русское разлапистое расщепление. Фролищи, кустище, кострище, урочище, усище, кладбище, чудовище, стойбище, мощи, святилище, капище, хранилище, сонмище, скопище, кущи, туловище, глазищи… Нисколько не заботясь морфологической точностью, Палеев видел одно и то же расшелушивание многоточия. Без односложных твердых германских концов, без ущемленных инговых окончаний англичан, без взлетающих куропатками французских гласных – что-то едва приличное, словно растянулся на мокром полу.

Слуга Тихон разжег камин, устроенный по английской моде из некогда стоявшей здесь голландки – обложен все теми же ярославскими

изразцами, – взбил подушки в кресле, как барин любит, принес поднос с кофейником и печеньем.

– Пожалуй, иди, Тихон, отдыхай, не понадобишься сегодня.

Тот молча поклонился и вышел. Палеев принялся за письма.

Отец просил денег. Он исписал три страницы, но за витиеватыми словесами, нелепо блуждающими между горделивым пафосом и смиренным унижением, читались неподдельная растерянность и просьба довольно крупной ссуды. Нет, он не указал просимую сумму, но как бы вскользь упомянул объем затребованных кредиторами долгов. Отец начал с привычного – вызвать сочувствие к тому, как несправедливо с ним обошлись. Эта его манера была похожа на скромное постукивание той самой лисицы в окно той самой лубяной избушки. Акт первый – добродушный заяц выглядывает наружу. Но уже во втором, пока домовитый косой пытается продраться в потоке жалостливых слов и понять, что же нужно гостю, лисица уже проныривает в его дом жертвой самой подлой несправедливости, которую только видел мир. А в третьем акте придет пора культивированию чувства вины.

Палеев к своим уже за тридцать годам знал все эти маневры отца. Уже знал, что вовсе не со зла или даже по особому умыслу он их применяет. Да и вряд ли отдает себе отчет, вряд ли сможет все свои ужимки оформить как методическое руководство по тактике для прочих демагогов. Он действовал одним лишь животным инстинктом, когда-то давно нащупал эту практику, заглядывая в глаза своему визави, выслеживая его реакцию на те или иные слова и угадав наконец, как, единожды вцепившись в него, уже не отпускать и добиться того, чего от него хочет. «Не высовывайся, смотри, о чем народ. Твои книжки тебя не прокормят, и деньги не спасут. Деньги – в сущности пыль. Только люди, только их благодушием можно выжить», – говорил он, бывало, склонившись завораживающей тенью над маленьким Палеевым. В этом было что-то классическое, бальзаковское, до омерзения архаичное.

Палеев знал, что вертлявость отца, казавшегося ему некогда могучим светилом, вовсе даже не инструмент для него, а самая суть его существа. Спроси, и он искренне удивится, – а как же иначе, разве не все мы, Божьи создания, живем единым каноном, разве не все вот так. Дело лишь в том, кому повезет в этот раз, кто в этот конкретный момент оказался более изобретателен и изворотлив. Смотреть в глаза и не упускать из виду, стелиться вослед любому шагу. Помилосердствуйте, какой же здесь обман? И без смущения, не будучи оцарапан ни единым сомнением из тех, которыми устлан путь морального человека, он применял свое существо без всякого разбору ко всем – и дальним, и близким, и к тем, кого называл друзьями, и к собственным детям.

Осознаваемая ничтожность вызывает досаду на самого себя за то, что когда-то она тебя оскорбляла. Палеев уже и не сердился на отца. Бесчувственная зона его души была давно обустроена и стала тиха, как запертый дом. Он лишь усмехнулся. Пожалуй, даже злорадства едва лишь угадывается след. Лишь скучно очередное подтверждение догадки.

Когда же это началось? Не зародилось возможностью, но сделало неизбежной трагедию сына, который держит в руках отцовское письмо и ничего, кроме отвращения не чувствует. «Вру, сам себя обманываю, иначе не маялся бы сейчас воспоминаниями, не испытывал бы под кожей зудящую боль. Хотел бы, но нет». Палеев чувствовал, что даже

если сожжет это треклятое письмо, его следы останутся на пальцах, чувствовал, что пусть не смысл, но дух отцовских слов проник в самую его кровь. Он словно бы слышал голос, и каждый звук его пробуждал во всем существе нутряной сокрытый зов. Палеев обхватил голову руками и едва удержался от того, чтобы в полном одиночестве не заговорить в ответ. Тяжело выдохнул.

Был у него друг Арсений, сын богатого мещанина Зайцева, что содержал на Ильинке несколько мелких домов и сдавал их в наем всякой разночинной публике. Его отец любил демонстрировать принадлежность к верхним слоям нижегородского общества, и потому семья Зайцевых воскресным выездом посещала именно Богородичную церковь на Покровке, аккурат в окрестностях которой жили Палеевы. В ходе одной из церковных служб мальчики и познакомились. Одного примерно возраста, с первого же взгляда схожего нрава – оба аккуратные, тихие, следуют за матушкой, стоят, где их поставили. К тому же старшие Палеев и Зайцев были поверхностно знакомы, хоть и без обременения совместными делами, при встрече дружелюбно раскланивались к обоюдному удовольствию. Всяко выходило, что их сыновьям кажется и безопасно вместе, и полезно, дай Бог.

Поначалу мальчики во дворе топтались, присматривались друг к другу, а в следующее воскресенье уже притащили в церковь свои детские сокровища – переливчатые ракушки и оловянные солдатики – смотри, что у меня есть; Палееву пришлось спрятать раскрашенного гренадера под картузом, в карман тот не помещался. Затем, как взрослые, обменялись визитами и, обнаружив взаимное тяготение, зачастили гостевать. А вскоре и в гимназию вместе пошли, стали совсем уж неразлучны.

Парадная Покровка, вся в камне горделивых особняков, мало располагала к мальчишеским забавам, интереснее и просторнее было в окрестностях Ильинки, укутанной кудрявыми садами, сбегающей прямиком к дамбе на Почайне. На ее задах, крутых заросших склонах оврага, друзья проводили целые дни напролет, рассказывали друг другу вычитанные в книжках истории, отыскивали диковинные штуковины среди брошенного местными обывателями мусора. По осени, когда особенно терпко тянет печным дымом, когда сумерки становятся золотыми и тени удлиняются, а утренняя мостовая с каждым днем все громче звенит, мальчики пекли на костре картофель и мечтали о будущем, заглядывая внутрь жаркого раскрытого пламени.

В том году октябрь прихватил морозцем посуху. На Покров снег не выпал, лишь нелепая изморось повисла и к ночи кое-где заблистала инеем. В голых садах на недоступных вершинах деревьев темнели одинокие яблоки. Друзья возвращались из гимназии и уж немного продрогли на ветру в своих форменных шинелях и фуражках, когда заметили грузовую двуколку, полную зрелых налитых тыкв, почти телегу, о паре лишь колес. Она стояла одиноко на повороте к дамбе, упертая в колоду; тыквы блистали солнечным светом на всю серую стылую улицу.

Палеев взмахнул портфелем и побежал к тележке, поддаваясь порыву внезапной радости, охватившей его при виде задорных плодов. Арсений устремился за ним, и вот они уже наперегонки. Лихо вскочил, не зная зачем, полез на самую вершину кучи, – тыквы покатились нежданной тяжестью, одна из них свалила Арсения с ног. Двуколка накренилась, высвободилась от колоды и бодро поехала. Палеева стряхнуло наземь, когда обитое железом колесо раздавило грудь его друга. Даже не вскрикнул, лишь сдавленный звук лопнувших легких. Тачка с треском

ударилась в забор. Тишина. Палеев как-то сразу все понял, смотрел, как треснувшая побагровевшая тыква все еще катилась по брусчатке, но видел омертвевшее тело Арсения. Все застыло. Он побежал прочь.

Влетел в дом, не справляясь с собственным телом, рвал с себя шинель и фуражку; обвязанный вокруг шеи шарф едва не задушил его. Ужас содеянного взметнулся в юной чистой душе, пробуждая в ней, словно древних демонов, и страх, и злость, и гнев, и ярость – они восстали разом. Любовь, нежная любовь к другу отозвалась болью отчаяния.

Испуганная матушка выбежала навстречу. «Нет, ничего!» – рявкнул Палеев, отмахиваясь от ее заботливых рук. Закрылся в комнате, упал на кровать. Не открыл и брату. Кажется, не слышал даже, как тот стучал. Как снова и снова кто-то стучал в дверь. Взволнованные голоса. Крики. Видел одну и ту же картину перед собой – как оборванная лента, без продолжения. Снова и снова, одно и то же, как крутящееся колесо. И ничего не понимал. Пока дверь с треском не вылетела. В комнату ввалился отец и заполнил собой все пространство. Обхватил за плечи, тряс, прижал к груди.

– Андре-е-е-ей! Что с тобой?!

За ним – матушка и брат, за ними слуги.

Пили чай. Палеев все рассказал. Произнося самые страшные слова, он старался ни с кем не встретиться взглядом. Матушка всплеснула руками, зажала рот ладонью и будто опала – закрыла глаза. Брат ошарашенно смотрел то на нее, то на Андрея, то на отца. Тот помолчал несколько мгновений, затем медленно встал, хлопнув руками себя по коленям, перекрестился на образа.

– Так, теперь слушай меня. Вас никто там не видел?

– Не знаю. Я никого не заметил. Улица была пуста.

– А что вы уходили вместе из гимназии, видел кто?

– Мы всегда вместе уходим…

– Я спрашиваю, может ли кто-нибудь свидетельствовать, что вы были вдвоем в это время! – прервал его отец, заметно повышая голос.

– Мы задержались в классе математики, остальные ушли раньше…

– Значит, никто не подтвердит. А учитель, – рассуждал отец, – видел вас вместе лишь в классе, но не может знать, вместе ли вы ушли из гимназии – могли ведь и разойтись в разные стороны. Ведь так? Он не видел?

– Нет, он оставался в классе.

– Хорошо. Значит, так и порешим – вы задержались с математиком, а затем разошлись по домам, каждый своей дорогой. Все! То, что произошло, произошло без тебя. Ничего не видел и не знаешь.

– Я не хотел, все вышло случайно. Я же не виноват…

– Не хнычь! Ничего уж не исправить. А кривотолки нам не нужны.

Матушка закачала головой.

– Как же тогда… С таким грузом на душе…

– Молчи! И думать все забудьте! Поняли?! Ни единым словом, ни единым даже звуком виду не показывайте, что Андрюха был там. Черт его знает, что там случилось – понятно? Я спрашиваю, понятно?

Отец из каждого вытряс обещание молчать. Христом Богом заставил поклясться.

Может быть, тогда все и началось. Или неудержимо наклонилось к окончанию. Палеев чувствовал, что все это, туго перевязанное, спутанное в его прошлом до сих пор никак не может закончиться, а лишь тянется привычной уже мукой.

Палеев не показывался на людях до самого Поста. Домашние говорили, что потрясение смертью друга обернулось для него тяжелой болезнью. «Терзает себя, бедный, за то, что в роковой момент не оказался рядом с любезным Арсением, упокой, Господи, душу его. А что тут сделаешь, чем поможешь? Тележка та немереных же пудов, разве совладать с ней отроку», – говорил отец всякому, кто с расспросами и сочувствием обращался, охал и крестился, закатив глаза.

Палеев и действительно занедужил, переживая всякий новый поворот зловещей истории, как новый приступ тяжелой ядовитой хвори. Слышал, как приходили Зайцевы, – отец сказал, что «допытывались» до Андрея. Мама Арсения разрыдалась под конец разговора, так ее, плачущую, супруг и увел. Потом полицейский урядник – этот был формален, приходил составить протокол («прошу подписать, вот здесь, пожалуйста»), но опросил всех, включая слуг. Пока он был в доме, отец не отставал от него ни на шаг и свирепо зыркал из-за его спины на всех опрашиваемых. И в гимназии понадобились объяснения, и всем знакомым. Эту историю в городе обсуждали до Рождества, потом лишь улеглось, утвердилось, как уж кто для себя ее разрешил, но общее представление сложилось вокруг той версии, что, мол, несчастный случай. Но ведь подумайте, как же мальчишка под тачку-то эту попал, а? Может, и крутили домыслы, но уж в открытую не обсуждали. Суд обязал несчастного хозяина тыкв уплатить немалый штраф в пользу Зайцевых, на том и всё.

Палеев не плакал. Первые дни, полные самого горячего ужаса, он почти не вставал с постели, смотрел в стену, на рисунок обоев, не смог бы сказать, о чем думал, а спустя время в изнеможении засыпал, не замечая день ли сейчас, или ночь. Брат заметно избегал бывать с ним. Мама неусыпно ухаживала, удерживая заботливыми руками его бессильную среди морока жизнь.

Слезы пришли позднее. Когда он вдруг, как жемчужину в скользком теле моллюска, нащупал в своем горьком смятении неотвечаемый вопрос: почему он сбежал? «Почему я не позвал на помощь?» Спустя время Палеев мог бы предложить целый ворох возможных объяснений, но не мог вспомнить тот самый момент, не мог заново его прочувствовать и понять, почему же на самом деле. Слезы пришли горючие, неостановимые, без всхлипов и болезненных гримас. Палеев плакал молча, лишь вздрагивая худыми плечами и дрожа, осознавая, что нелепая смерть друга, завернутая в обман, ничего для него не закончила, что освобождение не наступит, а его душевные страдания ничего не искупят. Смерть отныне будет частью его жизни. Будет сидеть на загривке черной тенью, так что не достать ее рукой, не стряхнуть, все крепче с годами врастая в его хребет, все тяжелее клоня его к земле.

В нужный момент не посмев ослушаться отца, по привычке предпочтя не перечить ему и отклониться, он уже не мог и не сможет никогда вернуться в тот хрустальный октябрь, в тот оборванный день и успокоить маму Арсения и его отца простою чистою правдой. И себя успокоить не сможет просьбой о прощении. Не сможет покаяться.

Однокашники приняли его возвращение с настороженным любопытством. Приглядывались к нему за спиной, словно хотели понять, изменилось ли что, и сторонились. Но вскоре все позабыли, и в класс вернулось обычное настроение подростков, застигнутых между штудированием уроков и беспамятным озорством. Тяжелее пришлось с учителями. Каждый из них, даже строгий и холодный, как замковая стена,

историк счел нужным проявить сочувствие, чем едва не доводил Палеева до истерики. А директор гимназии попросту вызвал его к себе и без обиняков попросил подтверждения, что тот-де в порядке и продолжит учебу. По мысли директора, видимо, необходимо было это именно проговорить, чтобы таким образом закрыть вопрос, но Палеев в этот момент чувствовал себя попавшим в дробильную машину. Методичность педагога насиловала его мятущуюся душу.

По собственному желанию Палеев пришел лишь к Лавру Пантелеймоновичу Соткину, тому самому учителю математики, у которого они с Арсением и задержались в тот роковой день. Пожилой уже мужчина, ходивший опираясь на дубовую палку и постоянно забывающий тут и там свой портфель, словно норовил наконец и вовсе его где-нибудь потерять, разделил утрату юноши со смиренным пониманием. Будучи последним взрослым, который видел Арсения живым, который выпустил его из гимназии, он также чувствовал необъяснимую вину. Горячо ухватил Палеева за руки, усадил и, пока закипал чайник, выставляя звенящие его волнением стаканы, вазу с сахарными сухарями, то похлопывал ученика по плечу, то поглаживал его по голове, словно старался успокоить. «Ничего, ничего, все образуется», – приговаривал.

Палеев очень любил старого учителя. Он преподавал строгую математику, словно читал детям вслух увлекательную книгу. Из его рук она выходила стройной и простой, как житейская мудрость. Мог запросто отвлечься от формул и теорем и пуститься в рассказы о Птолемее, Копернике, Кеплере, словно о своих приятелях, вспоминал Кулибина, с которым взаправду был знаком мальчишкой. Еще какого-то Синицына упоминал, неизвестно к чему, – тот строил телескоп в Нижнем, но потом уехал в Казань. Лобачевский! Лавр Пантелеймонович очень гордился Лобачевским.

По следам этих необязательных в гимназическом курсе рассказов Палеев со своим другом шел из классной комнаты в кабинет учителя, где тот посвящал их уж не математике, но всему тому, что та описывает, – весь огромный мир, переходящий и наружу, и внутрь в немыслимую бесконечность, манил завороженных мальчишек огнями и тайнами Купаловой ночи.

Инаковость юного Палеева, отстраненность его от ствола семьи всякий в доме переживал по-своему. Матушка нежила его, берегла, порой казалось, что с чувством досады, предполагая в сыне некую человеческую, тем паче мужскую слабость. Бывало, Палеев при всех ласках замечал в ее глазах горделивую строгость, в которую она облекала недовольство свое, будучи натурой сдержанной и исключительно щепетильной.

Отец же словно прищуривался, разглядывал, поначалу пробуя в обращении с сыном разные свои приемчики и как-то сразу отставив обычную свою грубоватую манеру. Лишь от извечной насмешки избавиться не смог. Пробы эти ему плохо давались, с удовольствием срывался, а затем кидался в панибратское дружелюбие: «Ладно, парень, брось. Уж такой я человек – жесткий, но не со зла же». Палеев довольно рано понял, что отец его не столько жесткий, сколько жестокий человек, которыми бывают слабые, разобранные люди с настолько простыми суждениями, что, сами это чувствуя за собой, вынуждены симулировать сложность целыми потоками, буквально реками слов.

Подобным многословием изошло и его отношение к «младшенькому». Что-то решив для себя на его счет, отец словно махнул на Пале-

ева рукой, благо «на подхвате» всегда был старший, Михаил, который в полной мере выказывал и породу палеевскую, и готовность соучастия батюшке. С ним отец был деловит, частенько призывал его, брал с собой в контору, порой и на встречи с партнерами своими, приваживая к семейному делу. Младшему же осталась одна насмешка, порой хлесткая с блеском глаз, порой смягчаемая, как с юродивым: «Может, тебе фамилию-то сменить, а? Мамкину, может, возьмешь, раз уж не способен ни на что?»

Брат воспринял формирующийся в доме уклад как признание и старшинства, и достоинств своих. Переживая сыновью почтительность в ранней ее фазе восторженности отцом, Михаил всячески ему подражал и старался еще больше нравиться. Естественная детская ревность к вниманию и заботам матушки, которые, как ему казалось, младшему Палееву были отмерены большей мерой, к особенным манерам брата, которые отмечали все вокруг, к тому, например, какие книги он находит для себя интересными, чему даже и отец удивлялся, были с лихвой компенсированы установившимся положением его как наследника, не только по старшинству формального, но и сущностного. «Кровинушка моя! Пале-е-ев!» – восклицал отец, порывисто прижимая его правой рукой к груди, и трепля его волосы, и с жаром целуя в лоб сквозь косматую свою бороду. Борода его, огромная, пробитая сединой, пахла теплым чуть закисшим молоком.

А потому Михаил, скорее, избегал брата, чем пытался выяснять с ним отношения, поделить с ним общее пространство родительского дома.

Однажды старший Палеев засобирался на охоту, уток пострелять. Было это на следующий год после смерти Арсения. Отец всегда считал себя охотником, любил рассказывать, как в юности гонял зайцев, ходил под Сергачом на кабана и лося, с удовольствием показывал сыновьям пару своих ружей – «этим хорошо птицу бить, а это уже посерьезнее, чисто пушка! немецкое» – ножи, патронташи и расшитый тесьмой ягдташ. Но на охоту при этом не ходил. А тут засобирался, подняв в доме страшный шум и ругаясь, что ничего невозможно отыскать, – слуги даже попрятались по углам. Оказалось, что его пригласил управляющий чулковским имением князя Голицына Петр Ильич Самохов, человек среди нижегородских купцов известный, ухватистый, не только хозяйством патрона распоряжавшийся, но и ведший прочие его дела на Оке и Волге. Отец смекнул, что тот хочет новые подряды обсудить за совместным времяпровождением, был возбужден, в особенности тем, что, быть может, встретит в Чулкове и самого князя. «Мишка!.. Впрочем, нет, Андрея возьму. Взбодриться тебе надо, кровь погонять. Поедешь?» Палеев с готовностью согласился. Он и сам чувствовал необходимость перемены, отдыха перед новым годом в опустевшей без Арсения гимназии. И сама по себе охота, с ее кашей на костре, пальбой и запахом пороха, манила и будоражила его мальчишескую фантазию.

Они провели в Чулкове три дня. Князя в поместье не было, и Палеевых устроили в барском доме как почетных гостей, притом что сам Самохов жил во флигеле. Затемно поднимались, ехали в заболоченные луга, степенный Самохов чутьем отыскивал место, где им схорониться. Пока псарь настраивал собак, приготовлялись. Палееву казалось, что в качестве такой вот легавой отец его и взял, так уж тот увлекся охотничьим азартом. А, собственно, зачем еще, он, такой далекий, почти чужой, отцу был здесь нужен. «Андрейка, Андрейка, смотри! Давай же!» – кричал Палеев-старший, завидев поднявшуюся из болотной травы птицу.

Дергал сына за рукав, не позволяя прицелиться, и – «Ну что же ты?!» – стрелял сам. Да и чем похвалиться перед княжеским управляющим – все у него было, кроме собаки. Суетился, упруго бегал туда-сюда, чуть сам в болото не лез, но лупил из ружья часто и метко. Потом радовался, как ребенок, оглаживая тушки подбитых уток, расправлял их безвольные крылья – «какая красота!» – укладывал головки на вялых шеях одну к другой. Казалось, о делах-то вовсе позабыл.

Палеев был поражен этой звериной гармонией отца с природой. Самохов пребывал в ней, как лопасть маслобойки в плотной массе молока, – всем своим существом нарушал принятый порядок исходной дикости, пробуждал природу к работе и заставлял сокращаться ее мышцы. Отец же словно растворялся в открывшемся просторе, принимал и здешние законы, и доступную ему роль, непосредственно чувствовал все токи и течения, проницающие окружающее пространство, и потому был стремителен и неудержим, словно бы и сам становился переливчатым в красках осени селезнем. Радостные собаки вились за ним без принуждения и команд, признав за своего.

Палеев был очень смущен, заметив, что и сам неожиданно для себя поддался охотничьему угару до стыдной дрожи в руках. Отец дал ему ружье полегче, сам же бегал с немецкой «пушкой», что разом покрывала сетью дроби и пару, и тройку птиц, если им не повезло подняться вместе, кромсала им крылья, рвала бока – многие подранки так и остались умирать в осоке. А вот это легкое, стройное ружье, с резным цевьем, ухватистым и ладным прикладом, стреляло настолько кучно, что совершенно исключало право на неряшливость. Нужно было поймать птицу на мушку и вести ее, предугадать полет, выдохнуть перед выстрелом. Это удивительное зрелище – сломанный полет. Первый раз бахнул – едва не опрокинулся навзничь, задохнулся в едком пороховым дыму, но попал, увидел, как, тяжело и неловко хватаясь крылом за воздух, падала утка; пегий пойнтер уже изловчился поймать, придушить ее на земле. Палеев беспокоился, какое впечатление он оставит по себе спокойному размеренному Самохову.

В последний вечер за ужином Палеев почувствовал себя оглушенным всей суматохой последних дней. Возбужденность не отпускала, несмотря на явную усталость, и изматывала его. Он с удовольствием поел, выпил со всеми бокал красного вина за удачную охоту и отпросился спать. В комнате он нашел «Происхождение видов» Дарвина с приложенной запиской от Самохова – «На память».

Тот подарил отцу и сыну еще и по сундуку, мастерски изготовленному в поместье, и обратный путь они проделали, неудобно стеснившись в нагруженном разнообразной поклажей тарантасе; поднятую утром с ледника добытую дичь сложили в мешок, и тот холодил Палееву ноги. Всю дорогу отец говорил о предложенном Самоховым подряде на перевозку щебня и песка, не столько посвящал сына в дела, сколько просто рассуждал вслух – нужны были дополнительные баржи, имеющийся семейный флот не справится с заказом, нужно ходить по Каме и Вятке, нужно брать кредит.

Между делом отец привычно посмеивался над Самоховым. Во время визита выказывал ему всякое почтение, стремился угодить, едва не лебезил перед ним, невзирая на сословие – «деловому-то человеку сразу видать, какой порядок в поместье, всякий работник и вещь к делу пристроены сообразно способностям и надобности. И не выражу словами, какая честь для меня знакомство с вами, любезный Петр Ильич!» А теперь уж

называл выскочкой, припомнив, что тот был сыном самовыкупленного крепостного – «если б не благосклонность князя, знать бы тебя никто не знал», – чванливым гусаком, раздражаясь хладнокровием и осанкой Самохова, недоступными для него самого, и, уж в довершение, простофилей, которого он, Палеев, уж конечно, обведет вокруг пальца – «контрактик-то я ему процентов на десять взогрел супротив действительной цены. То-то!» Сын отца едва слушал, прикидывая, что спрячет в своем новом сундуке.

Кредит на новые баржи и догнал отца спустя годы. Сначала все пошло удачно, и настолько, что старший Палеев не спешил гасить долги, а в счет возросшей прибыли принялся за операции на Урале. Они потребовали частых поездок, отца почти не бывало дома, и традиционные дела его постепенно стали расстраиваться. К тому же и на Урале не очень приняли – пришлось возвращаться с убытком, и самоховские подряды, хоть и оставались твердыми, но уже не справлялись с долговым бременем. Отец заметно запаниковал, даже продал меняльную лавку, одну из известных в Нижнем, стал резок и совершенно не воздержан с домашними, особенно с Михаилом, которого превратил буквально в мальчика на побегушках. Лишь спустя три года ему удалось выправить дела. К этому моменту подряды на песок и щебень иссякли, долги хоть и сократились, но продолжали нависать над семьей Палеевых.

Андрей же все эти годы прилежно занимался учебой и возделыванием своих неместных дум, не имеющих ничего общего с заботами отца. Он тесно сошелся с Самоховым, который теперь частенько бывал в их доме и выказывал младшему Палееву особое внимание и расположение. Они говорили о теории Дарвина и прочих теориях, которые в то время клубились в большом мире, о литературе, математике. Палееву казалось, что Самохов бывает искренне удивлен им и действительно находит юношу интересным для себя собеседником. Несколько раз они встречались в городе, минуя дом Палеевых. Самохов, предупредив запиской, встречал его после занятий, и они катались в коляске по улицам или ехали на прогулку в сады. Этот неожиданно появившийся в его жизни старший товарищ, заменивший Палееву прерванную дружбу Арсения, еще более отдалил его и от однокашников, и от семьи.

Их отношения не были в доме тайной и никого не беспокоили. Пока однажды отец вдруг не попросил от сына объяснений. «Почему это Самохов вдруг заговорил со мной об университете для тебя?» – вдруг спросил он за обедом, не поднимая глаз от тарелки супа и продолжая хлюпать ложкой в бороде. Для Палеева это прозвучало неожиданно, сам Самохов никогда с ним об этом не заговаривал. Но услышать такое было приятно. Само по себе слово «университет», употребленное по отношению к нему, звучало как признание, являлось своеобразной наградой. Чувство тайного превосходства согрело юношу и отразилось улыбкой в его глазах. «Я ничего об этом не знаю». – «Хорошо. Вот и забудь. Пустая блажь, дело нужно делать. Хоть и ни к какому делу ты видно неладен».

Но сказанного, тем более услышанного не воротишь. Отныне призрак далекого университета, залитого, как представлял себе Палеев, солнцем сквозь огромные окна, поселился в их доме и неотступно следовал за ним.

При очередной встрече Самохов с этого и начал разговор: «Андрей Васильевич, вам нужно поступать в университет. Подумайте об этом серьезно. Времени на подготовку к экзаменам мало. Со своей стороны, готов помочь, чем смогу». Он был прямолинеен и без стеснения

презрителен, говоря о купеческой судьбе, буде тот не решится и останется в лоне привычного порядка. «С первой же нашей встречи, когда батюшка ваш, Василий Матвеевич, привез вас на охоту, я разглядел натуру неординарную. Видит бог, вы обладаете всеми качествами человека, достойного блестящей судьбы. Я не соблазнить вас хочу увещеваниями, лишь показываю путь. Дела именно так и обстоят – либо вы обеспечите ум свой надлежащей и правильной пищей, либо позволите ему зачахнуть в зевотной тоске. Я могу быть чрезмерен в своих высказываниях, за что прошу извинить, но не в суждениях своих. На оных я настаиваю и да, требую к ним вашего самого пристального внимания».

Палеев почувствовал было в Самохове то же давление, тот же обволакивающий натиск, свойственный и его отцу. Он хоть и сидел сейчас рядом на скамейке, но так же, как, бывало, отец нависал над ним, заглядывал в глаза. Однако давление это было приятным, Палеев с удовольствием ему поддавался и не столько благодаря открывающимся перспективам, о которых он имел лишь смутное представление, сколько из желания наконец-то сбежать. Ото всего тягостного, чем – сейчас он это ясно понимал – была наполнена его жизнь. Все, что окружало его, вызывало лишь ощущение неизбывной обузы, ярма. «Заберите меня с собой! – хотелось ему крикнуть в ответ. – Я сделаю всё. Всё! Я всё смогу! Только заберите меня».

Но он сдержался, лишь выпалив: «Спасибо, я подумаю».

Разрыв обеспечил отец. Едва услышав о решении сына поступать в университет, он сорвался черной бранью. Затрясся, побагровев, вскочил из-за стола и попер на сына, сжимая кулаки. «Ах ты, негодник пакостный, собака злая! Мне же помощь нужна, сукины вы дети, а ты – нож в спину?! Предать нас всех хочешь, со свету сжить, тварь неблагодарная». Он хрипел и плевался. «Сейчас будет давить на жалость, – подумал Палеев, внутренне пережидая приступ отцовской ярости в комнате бесчувствия своей души. – Может и ударить». Губы его дрогнули, он невольно поднял руку, чтобы защитить себя, и это его движение отца остановило. В его глазах промелькнул испуг. «Уходи прочь! И на глаза мне больше не попадайся. Как хочешь, так и живи. От меня ничего не получишь», – выдохнул Палеев-старший.

Андрей переехал на время к двоюродной тетке матушки, на окраину, к Сенной, с новым своим сундуком, полным книгами, и парой кульков. У него было немного своих денег, мама втайне от отца сунула еще пачку ассигнаций.

Через неделю Самохов взял его к себе младшим приказчиком, и Палеев целый год практически не выходил из-за стола, окруженный учебниками и счетными книгами. Страшно уставал, но был безмерно счастлив оборвать наконец жизнь, которую вел долгое время за счет именно того, что так горячо, со всей непреложностью выявленного закона презирал и ненавидел. Как-то он подумал: а что если в мире ничего другого и нет? – как же жить, испытывая жгучую брезгливость к рукам, которые единственно и могут тебя прокормить, о чем эта жизнь и чего она стоит, и жизнь ли это вообще, и разве не честнее ее просто оборвать. Подумал и содрогнулся холодом. Теперь же он словно излечился, вытравил из своего тела липкую заразу и был чист. Спасибо, Господи, что ведешь меня.

Отец отыскал сына уже через несколько месяцев. Снова и снова его отыскивал. Как волна накатывает на пирс, а затем отступает, он при-

носил с собой невыразимую просьбу вернуться, но уходил, так и не высказав ее, словно и сам понимал, что ничего исправить или изменить нельзя. Его старший сын Михаил, посланный фамильным представителем в Москву, оставшись наконец без родительской опеки, но с родительским благословением, приобрел привычку к кутежу и пустому бахвальству. Вернулся потасканным бонвиваном с целой кипой шелковых жилетов и без надежных связей. Блестящие женщины и офицеры, с первых же дней обступившие молодого купчика, легко его отпустили, как только ему пришлось съехать из квартиры в Китай-городе. Ни одного контракта он не заключил, ни в один приличный дом не попал.

Матушка, тяжело переживая исход младшего сына, привычно приняла всю вину за разрушение семьи на себя – часто ходила в церковь, как могла сдерживала и умиротворяла вспыльчивость супруга. Может быть, тогда что-то в ней безвозвратно повредилось и пришла та болезнь, которая в конце концов высосала ее жизнь.

В последний год обучения Андрея в гимназии отцу Палеева вновь изменила удача. Старые его расшивы постепенно приходили в негодность, и вот две из них затонули со всем грузом на Ветлуге. Новые корабли строить не хватало капитала – того и гляди его могли исключить из второй купеческой гильдии. Василий Матвеевич как мог удерживал хозяйство на плаву, а любимчик его, «наследушка» Михаил, не способный ни к какой самостоятельности, лишь без толку мешался под ногами. Энергичный и угодливый, всячески к себе располагающий добродушной улыбкой на широком лице и приятными разговорами, старший брат Палеева постоянно оказывался словно бы не к месту. Все распоряжения отца выполнял с готовностью, но не прикладывая к ним ни малейшего усилия ума собственного, – выходило всякий раз вхолостую. Отец было собирался выделить ему собственный капитал, но поостерегся, выделил лишь небольшое содержание, на которое тот немедленно отыскал квартирку на Нижнем базаре и съехал.

Тогда отец появился вновь. Словно и не было последних лет, он, как ни в чем не бывало, сразу заговорил о возвращении сына как о решенном вопросе, понизив голос, доверительно – о делах семейной фирмы, об его грандиозных планах, а дальше беззастенчиво начал соблазнять перспективами, повторяя младшему сыну все те слова о наследовании, которые прежде говорил старшему, и охаивая теперь уже Михаила, как прежде оскорблял Андрея. «Ничего-ничего, будем вместе работать – все наладится. Слушай отца, я – мозг, центр тяжести, я построил нашу семью, я ее и спасу». «Сейчас начнет торговаться», – подумал Палеев, твердо отказав отцу, невзирая на увещевания. Но тот решил в этот раз перейти к жалостливой мизансцене, предпочтя экзальтированную трагикомедию внутренней молчаливой драме. Видимо, эта попытка, когда он заговорил и о своем здоровье, и о страданиях матушки – «Маму не трогайте!» – оборвал его Палеев, – а потом об искренней любви к сыновьям, которые оба так к нему несправедливы, попытка, старательно наполненная слезами, но, как и прочие, отвергнутая сыном – даже она! – ранила отца всего сильнее. «Ладно, что ж, добивай отца, я пред сыном своим единокровным беззащитен», – сказал он, разводя руками. Смял шапку и уж уходить собрался, но повернулся: «Бога хоть побойся».

А через неделю, вероятно, выждав эффект от последнего визита, отец поймал Палеева у гимназии, чем не на шутку напугал его. В зипуне пришел, подвязанном веревкой, что-то затараторил, хватая того, спешащего вырваться, за руки, не пускал его, удерживал, привлекая внимание

прохожих. Палеев не разбирал даже слов, так хотелось ему достичь спасительных дверей. Но отец увязался за ним и внутрь, а в холле, где и привратник гимназистский, и ученики гурьбой, и наверняка кто-нибудь из учителей, вдруг отстал, и Палеев услышал за своей спиной громкий, язвительный окрик: «Тыквы-то помнишь, не-год-ник?»

Пламя горячего стыда охватило все существо Палеева. Он остановился на лестнице на полшаге, словно внезапно оказался прикованным к той злосчастной тележке кандалами. Медленно повернулся. Отец стоял под портретом императора, словно грозил его именем и ждал. Казалось, все ждали. Казалось, все слышали этот вопрос и ждали ответа. Казалось, само время остановилось и без его ответа уже не сможет пойти вновь. Палеев, едва чувствуя себя, медленно спустился с лестницы и подошел к отцу. Ему стоило невыразимого усилия выговорить, глядя прямо в глаза: «Помню». Ему казалось, что отцовское лицо гнется и ломается, меняет цвет, утрачивает реальное воплощение. «Вам не семья нужна, батюшка, вам нужны слуги. А я – всего лишь ваш сын». Развернулся и быстро ушел наверх.

Палеев поступил в университет и переехал в Москву с ощущением, что никогда больше не вернется в Нижний. Стараниями Самохова обустроился скромно, но надежно, получив место домашнего учителя отпрысков сразу нескольких купеческих семей. Эти знакомства очень пригодились ему, когда он, окончив курс, пошел по финансовой стезе. За несколько лет, располагая доверием крупных вкладчиков и управляющего самого князя Голицына, Палеев добился места младшего партнера в банке уральских золотопромышленников. Со временем его партнеры, которые преимущественно занимались строительством, транспортом и производством, попросту выкупили банк, перерегистрировав его как Первый индустриальный, и Палеев стал председателем правления, одним из самых молодых в такой должности во всей России.

Известие о болезни матушки застало его в Париже. Когда он приехал в Нижний, впервые после отъезда в Москву, ее уже схоронили. Остановился в гостинице, нарочно подальше от родительского дома. Собирался убраться отсюда сразу же после посещения матушкиной могилы. Отец, заметно осунувшийся, но все такой же насмешливый, хоть и не разобрать было, над кем именно он теперь подтрунивал, встретил приветливо, но, кажется, не знал, как себя с ним вести, и заметно избегал сына. Михаил увязался с братом на кладбище.

Что ни будет сказано, не возымеет никакого смысла, это чувствовали оба. Лишь несколько обязательных безвкусных слов. Положив цветы в изголовье, под самый надгробный камень, Палеев молча постоял, наклонив голову, чувствуя, как старший брат обнимает его за плечи, легонько, словно готовый по любому знаку убрать свою руку. «Отец очень вас любит, Андрюша, просто он такой человек», – говорила мама. «Он вовсе не знает, что такое любовь», – отвечал он. «Ну и что…» – мирилась она.

Вспомнил и другое. «Мать-то ваша дура. Но честная. Слушайте ее…» – отец словно сам удивился своим словам, не разобрал, что значит их – ну а что здесь особенного? – порядок, и не смог продолжить. Только несколько раз потряс назидательным пальцем.

Михаил выпросил немного денег, а затем пригласил брата в трактир помянуть.

Палеев перебирал в руках омертвевшие листы письма, на мгновение растерявшись, куда бы их деть. Наконец, бросил в камин. Сел за стол,

зажег лампу и сам принялся писать. «Ваше превосходительство! – начал он медленно, формируя в уме будущий текст, затем все быстрее и тверже, по мере того как мысль оформлялась, пока не сложилась окончательно. – Рискуя злоупотребить Вашими любезностью и всегдашним расположением ко мне, обращаюсь с нижайшей просьбой….» Он не хотел давать отцу денег, ни просто так, ни в долг. Он вообще не хотел иметь к этому делу никакого отношения. Но и сбежать уже было некуда. Палеев посчитал правильным избежать отцовского сыну долга и через третьих лиц обеспечить того подрядами, ввиду которых кредиторы отзовут свои требования. Теперь он писал крупному министерскому чиновнику, с которым в последнее время обсуждал модели залогового кредитования государственных заказов.

Палеев был неплохо осведомлен о текущем положении дел отца, знал его твердые возможности и сейчас в письме ничего не просил сверх них. Достаточно было лишь обеспечить отцовской компании гарантированную двух-трехлетнюю навигацию, что было сущим пустяком для министерских оборотов.

Утром отдал письмо Тихону.

– Отправь, пожалуйста, поскорее, с курьером отправь, дело неотложное. И знаешь что… Запомни отныне и навсегда – если придет Василий Матвеевич Палеев, то не пускай его.

– Это как же, Андрей Васильевич? Батюшка же ваш…

– А вот так, не пускай. Скажи, нет меня, когда буду, не знаешь, уехал, мол, в Берлин, в Париж, да хоть в Америку. Да хоть и вовсе умер, скажи, – не пускай и все. Понял?

– Воля ваша, конечно. Не пущу.

Затея Палеева удалась. Его отец получил подряды в объеме, даже и сверх необходимого для реструктуризации долга. Палеев слышал, что тот принялся обновлять свой грузовой флот и даже прикупил пассажирский пароходик – попробовать, так сказать, новое дело. А в придачу завел и молодую содержанку, ни сном ни духом не ведая, чем его сыну придется расплачиваться за оказанную министерским чиновником услугу. Отец вернулся к деятельной жизни в полном палеевском объеме – с жирным, аж лоснящимся бахвальством и разглагольствованием о порядочности и справедливости. В Нижнем не было буквально ни одного вопроса, в котором не всплывал бы Палеев-старший с ворохом записок, требований, воззваний и апелляций. С той лишь разницей от того, молодого Василия Матвеевича Па-ле-е-ва, что среди «мерзавцев», «подлецов» и прочих «прохиндеев» все чаще попадались его сыновья, особенно младший из них, «отрезанный ломоть». «Просил ведь, как отец просил. А он что – до унижения меня довел, а потом, как пса шелудивого, вышвырнул. Пшел, говорит, прочь, ни копейкой не выручил. Ну, ничего», – Палеев представлял, как отец размашисто крестится. В эту минуту наверняка верует – доброго Бога легко любить. «Господь все видит, накажет негодяя, как пить дать накажет, а мне, горемыке брошенному, не дал пропасть. Я сам все сделал! Сам себя за волосы вытащил, как уж не раз бывало…..»

Тут уж можно и занавес давать, думал Палеев, ухмыляясь новому подтверждению своих догадок, слов на этой сцене немало припасено, водою пустою долго будут исходить. Пускай забавляется.

Павел ЛАПТЕВ

Родился в 1971 году в городе Выксе Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Работает инженером в электроэнергетике.

Прозаик, поэт. Участник Форума молодых писателей России в подмосковных Липках. Автор двух книг, ряда публикаций в российских журналах.

Член Союза писателей России. Живет в Выксе.

КОШКИ И ПРОЧИЕ АНГЕЛЫ

Клякин давно не был в старом микрорайоне, где провёл детство. Родители поменяли квартиру на другой конец города, когда ему было десять лет. Но по риелторской работе ему было нужно посетить эту часть города.

Он ходил, разглядывал знакомые места. Песочница как центр двора с оставленными детьми ведёрками и совочками; лавочки, дорожки, деревья. И запах. Всё тот же летний букет из детства: готовящейся еды, бензина, мусорных баков, сигаретного дыма. Но, что заметил Клякин, шум стал другим. Были: крики и смех ребятишек, разговоры и смех взрослых на лавочках. Стали: автомобили. Да, двор пустой, никого нет. А рядом пролегающая дорога, по которой раньше иногда проезжала машина, теперь под завязку загружена транспортом.

Ещё, подумал Клякин, кошки как будто всё те же. Вот они. И здесь, и там во дворе. И здесь, в настоящем. И там, в детстве.

И небо всё то же. Клякин посмотрел вверх на крышу пятиэтажки, вспоминая, как с ребятами забрасывали на неё жестяные крышки, а когда опустил голову, вздрогнул от неожиданности – немолодая женщина в выцветших платке и платье возле канализационного колодца, сильно сгорбившись, накладывала из пакета какую-то еду на чугунную крышку люка, призывая животных:

– Кис-кис-кис!

К этому угощению подбежали несколько кошек.

Клякин пригляделся и узнал давнюю знакомую в женщине:

– Давно не видел тебя, баба Ива. Жива и здорова? – спросил он.

Женщина повернула голову.

– Жива-здорова? – повторила. – Погодь… погодь, – прищурилась: – Клякя?

– Да, он, – подтвердил Клякин.

– Ой, батюшки мои, какой старый стал с бородой-то. Клякя-дедушка. А был-то мальцом.

– Что ж, ладно, – развёл руками Клякин.

– А модный-то, модный какой! – причитала баба Ива. – Футболка, штанцы вузкие. Чо написано-то? – показала кривым пальцем на надпись на груди Memento more.

– Момента море, – с усмешкой ответил Клякин.

– А-а, море, – махнула дряблой, как кора дерева, рукой баба Ива. – Момент и в море, знать. Чего только не придумают, черти. Добрую рубашку разукрасить. Тьфу, – сухо плюнула.

И снова повернулась к кошкам.

– Ешьте, ешьте. В ротик накладывайте, из попки выкладывайте. Не зря боженька дырочки вертел.

Клякин усмехнуся:

– Прикольно.

– Вся естественность, – сказала, не поворачиваясь, женщина. И к кошкам: – Покушаете и ступайте во своявьси, мягонько спатеньки.

– Заботливая какая, – похвалил Клякин.

Баба Ива немного распрямилась, сказала:

– Вот когда… Они же будут нас встречать там. Понял? Там, – скрестила пальцы и показала вверх, добавила: – Тара-рам.

– Где это – тарарам?

– В раю.

– В раю?

– Покажут туда дорогу… Если, конечно, достоин.

– Весёлая ты, – улыбнулся Клякин.

– Ну-у, – протянула баба Ива и медленно, переваливаясь, пошла. Остановилась, снова подошла к колодцу, спросила: – Ты, Клякя, думаешь шутка, что ли?

Клякин пожал плечами.

– Никаких шуток-от. Всё серьёзно. Поживёшь с моё, будет не до шуток. Понял?

Но Клякин не снимал улыбку с лица. Хотя чувствовал, что как бы он ни хотел шутить, не получается. И чувствовал, что как-то неспокойно внутри. Где-то внутри.

– Не доживу я, куда мне до тебя, – выдал он, сам не зная зачем.

– Ну, не доживёт он! Вон какой справный, – отрезала баба Ива. – Небось, кушаешь-то хорошо?

Клякин пожал плечами.

– Как в наше время – хорошо? – ответил. – Всё на пальмовом масле.

– Во как, пальма! Русские едят пальму. Дожили вы, блин горелый, – посетовала баба Ива.

– Дожили… Мы, – повторил Клякин.

К трапезе животных откуда-то из травы медленно и робко подкралась кошка без шерсти – сфинкс. Одна из кошек, чёрная, пшикнула на неё. Баба Ива погрозила ей пальцем:

– Я тебе! Почто обижаешь? Ну-тка!

Чёрная взглянула на старушку, потом на сфинкса и продолжила есть.

– Вот, глядь, какая, а? Счистила у других, и чисто.

Сфинкс тоже присоединилась к обеду.

– Вот как можно? А? – обратилась баба Ива к Клякину. – Выбросили котейку на волю. А у неё ни щетинки нет. А? Нехристи прямо. Возьму тебя, горемыку, к себе.

– У тебя дома ещё кошки? – удивлённо спросил Клякин.

– А что? У тебя, парень, никогда не было кошек? – спросила женщина.

– Были – два кота. Ну, это давно было, когда отсюда переехали, – ответил Клякин.

– Давно, – повторила, задумавшись, баба Ива.

– Два кота. Оба рыжих. Братья. Один за другим.

– Как?

– Ну, сначала один был, Рыжик. Два года. Потерялся, – пояснил Клякин.

– Как?

– Ушёл. Я его… Ну, тело его нашёл потом. Неподалёку в лесопосадке. Кто-то, видимо напал на него. А потом взяли от той же кошки другого, Персика.

Клякин вспомнил про сон тогда, после исчезновения кота недели через две. Будто вернулся домой Рыжик, весь в крови и привёл с собой котёнка. Клякин вспомнил, как после пробуждения уткнулся в подушку и плакал, и плакал… Это чувство потери своего, родного было у ребёнка впервые… Да, мы забываем, с кем общались, лица, имена, но помним эмоции… Из детства, юности… Мы уже не скорбим об ушедшем, об ушедших. Но память не даёт нам забыть нежный материнский голос, тепло и запах материнских рук… Мы всегда помним чувства первой любви… Наверное, эту память, эти чувства и вообще то, что мы испытывали в жизни – как злость и гнев, так и доброту и нежность, радость, и, конечно же – любовь, – всё возьмём с собой туда, о чём говорила баба Ива. И они останутся с нами навсегда. То, что было здесь временно, будут с нами навечно… Но как-то одновременно и страшно, и радостно от этого.

– А? – переспросил Клякин женщину, когда к своему удивлению, предавшись воспоминаниями, выпал на некоторое время из реальности.

Женщина как могла распрямилась, но опять сгорбилась, в сторону, куда-то вдаль, посмотрела, будто в прошлое своё.

– Поди ж ты… Глухой какой. Я говорю, что моя кошечка… Моя Муська прожила долго, – сказала. – Ох, привыкаешь к ним пуще, чем к людям… А мне сколь тогда было? Пять, может, годков-от. В деревне у своей бабушки гостила. Как-то гуляла одна… Ребята меня не привечали. Из другого села же… И тут услышала визги, котёнок кричит, пищит! Вот смотрю из-за кустов… А тама детки закапывают его. Поганцы!

– Живьём? – удивился Клякин.

– Живого. Зачем? Издевались, что ли…

– Вот гады.

– Да. А я-то… Плачу так тихо, чтобы не увидели меня.

– Почему?

– Плачу? Жалко ведь.

– Нет… Чтобы не увидели.

– А я смекнула, как уйдут, откопаю.

– И?

– И откопала… Господи… – баба Ива скривила рот, вроде как для улыбки, но всхлипнула, зевнула, рот открытый перекрестив, потом захлопала глазами, слёзы дрожащей рукой вытерла. – Гребу… Гребу… А он тоже лапками помогает мне. И пищит, и плачет. И я плачу. Вся в соплях. Вот… Ты что, Васька?

Баба Ива увидала слёзы на глазах Клякина.

– Да блин. Как же так? – всхлипнул он.

– Вот, пробрало? Значит, душевный ты парень. Значит, есть у тебя сердце то.

– И чего?

– Чего. Спасла кошечку. Домой принесла. В город потом увезла. Так и росли вместе с Муськой моей хорошей. С моей Мусечкой.

Помолчали немного. Кошки, словно понимая, о чём речь, тоже перестали трапезничать. Сидели, смотрели то друг на друга, то на бабу Иву и Клякина.

– Да, я видел тоже, – сказал Клякин.

– Чаво видел? – не поняла баба Ива.

– Видел, как один… Поганец топил котят. Ещё и приговаривал: «Плывите, водолазики».

– Перестань, перестань, Клякя! – оборвала его баба Ива. – Не могу такое слушать.

– Ладно, – махнул рукой и Клякин.

– Не спас?

Клякин покачал головой.

– Поздно было, – ответил.

– Ешьте, ешьте, не слушайте никого, – обратилась баба Ива к кошкам. И Клякину: – Знаешь, что… Одной-то благостью сыт не будешь. Есть очень высокие балясины, понял? Никакими добрыми делами их не заслужишь. Понял?

– Нет, – не понял Клякин.

– Ох, все были когда-то молодые. Но никто не избежит в этом падшем мире ни болезней, ни старости, – сказала баба Ива, помолчала и весело продолжила: – Но я буду снова красивой и молодой. Попозже!

– Конечно! – радостно, просто так сказал Клякин.

– Конечно, – нахмурившись, передразнила женщина. – Когда приидет день воскресения. Понял?

Клякин покачал головой.

– Ну и дурак, – сказала баба Ива, сухо сплюнула и обратилась к животным: – Кис-кис-кис!

Клякин пожал плечами.

– Ладно, – сказал.

– Не ладь мне! – баба Ива выпрямилась почти полностью, вытащила из-под воротника платья деревянный крестик, показала: – Вот, есть такой?

– Не-а, – сказал Клякин.

– Ну и дурак. Всё! Нечего с тобой разговаривать, – отрезала баба Ива и спрятала крестик.

– Ты спросила: такой? У меня не такой. Золотой, – весело сказал Клякин. – Показать?

– Назолотят, а в душе назола, – ответила баба Ива, нагнулась и начала гладить кошек, приговаривая:

– Ангелочки, ангелочки мои сладкие! Сла-адкие!

Внезапно, как порыв ветра, пролетела стая голубей. Один с белыми крыльями сел бабе Иве на плечо, но через мгновенье взлетел снова. Птицы покружили низко над колодцем, дразня кошек, и сели неподалёку.

– Кыш, кыш, засранцы, – отряхнула голову женщина. – Не хотят жить дружно.

– Кто?

– Кто? Кошки с птицами, – ответила баба Ива.

– Это нормально, – сказал Клякин. – Естественный отбор.

– Такого не было, – загадочно сказала баба Ива. – Не было раньше. Все жили в мире. Беседовали друг с дружкой в прохладе дня. – Руками махнула, крикнула: – Кыш! Кыш!

Птицы взлетели, прошелестев крыльями.

Клякин посмотрел вслед стае, которая сделала несколько кругов над колодцем, взлетела выше и села на карниз пятиэтажки. А когда опустил голову, то не увидел возле колодца ни женщины, ни кошек.

– Баба… Баба Ива! И-и-ва… Ты где? – искал по двору глазами Клякин.

Женщина как растворилась.

Только одна откуда-то появившаяся молодая серая кошечка обошла вокруг колодца, понюхала еду, поморщилась и села, отвернувшись от Клякина.

– Кис! К-с-с! Пойдёшь ко мне домой? – парень позвал животное. – А где ваша баба Ива?

Кошка повернула голову, посмотрела на Клякина, зевнула, мотнула хвостом и пошла себе восвояси.

Марина СОЛОВЬЕВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский медицинский институт и всю жизнь работает врачом – дерматовенерологом, онкологом, лазерным хирургом.

Автор романов «Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет», «Время неискушенных», сборника рассказов «Разные двери». Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Север», «Подъем», «Бельские просторы», «Традиции и авангард», «Русская мысль» (Париж), «Наш современник» и других. Переведена на китайский язык и опубликована в русско-китайском сборнике «Хочу в семью» (2023).

Финалист премий «Гипертекст», «Болдинская осень», им. Левитова, «Петроглиф», «ЭтноПеро», «Современный российский рассказ», форума-фестиваля «Капитан Грей»; Международного литературного конкурса «Данко», литературного конкурса им. Курбатова , лауреат 1 открытого межрегионального литературного конкурса имени Алексея Пичкова «Снежные дали», международной литературной премии им. М.В. Исаковского.

Живет в Нижнем Новгороде.

РОВЕСНИЦА ВЕКА

– Ну нет, только не это! – заголосила я, увидев распределение на сестринскую практику после третьего курса. Я так настроилась попасть в хирургию, где все чувства станут острыми, как скальпель. С травмами, разрезанными животами, реанимацией, и была убита, обнаружив напротив своей фамилии всего лишь медицинский кабинет дома престарелых…

– А чего ты так распереживалась? Там тихо, спокойно, как в склепе. – Рядом довольно улыбалась однокурсница Ленка, крепко сжимая в руке направление на практику в нейрохирургию. – Научишься инъекции делать без нервов, никто не посмеет возражать и сопротивляться.

– Так давай махнемся! – не сдержалась я.

– Если честно, никто с тобой не махнется. Смирись! И находи плюсы в любой ситуации.

Именно с этим напутствием в голове я переступила порог дома престарелых, сразу окунувшись в специфический многослойный запах хлорки, мочи и еще чего-то медицинского. Здесь всё было как в замедленной съемке: шаркающие стариковские шаги местных обитателей, глухая невнятная речь и тишина, нарушаемая иногда звяканьем посуды или цоканьем каблуков персонала. Казалось, жизнь здесь еле теплится в замершем состоянии, а обитатели осознанно экономят энергию.

Уже через десять минут, переодетая в медицинский халат и проинструктированная румяной и неспешной медсестрой Валентиной Петровной, я разносила на специальном подносе лекарства. Здесь не любили

слово «палата», откровенно отдающее больницей, у всех были свои комнаты.

Чтобы составить мнение о человеке, достаточно посмотреть, как он живет. Касается это всех без исключения, а в доме престарелых, который все почему-то называли «пансионатом», особенно. В этом обилии старых вещей, заблудившихся во времени, я пыталась запомнить местных постояльцев. Вдыхала характерные «бабушкины» запахи и уговаривала себя потерпеть.

Но вот, влетев на полных парах в очередную комнату, я буквально остолбенела от непохожести на всё, что видела раньше. Светлое свободное пространство, никакого хлама, повсюду – белоснежные ажурные салфетки ручной работы. На столе буклированная скатерть нежного молочного цвета с увесистыми длинными кистями и покрывало похожего оттенка на крепкой деревянной кровати. И самое главное – совершенно другой запах, свежий и очень приятный. Я вдохнула поглубже и покрутила головой, ища хозяйку. На комоде стояла большая черно-белая фотография в ажурной серебристой рамке.

Молодые люди, элегантно одетые по моде далеких лет. Какая-то богемная тусовка артистов или художников, а может, просто интересных и уверенных в себе людей. Лощеные мужчины, изящные женщины, красивые и вальяжные. Чувствуется непринужденность в каждом повороте головы, во взглядах и полунамеках жестов. Какие это годы?.. Двадцатые? Тридцатые? Все в белом. Нарочно или случайно? Напоминает финальную сцену исторического фильма. Темно-серая трава, черно-белое небо, светящееся яблоко солнца с четким контуром и выстреливающими лучами. Вдали старинное монументальное здание, как символ ушедшей эпохи, и легкая фигурка юной девушки на переднем плане. На секунду показалось, что я ощущаю свежесть воздуха и сочную прохладную зелень, и до меня издалека доносятся голоса и шутки усаживающихся перед камерой людей, а фотография начинает жить и играть разными цветами…

– Кто такая?.. Новенькая? – прервал моё созерцание шелестящий женский голос. – Добро пожаловать в безвременье!

Я резко обернулась, чуть не уронив поднос. Передо мной стояла изящная миниатюрная женщина в длинном строгом платье цвета темного антрацита, идеально сочетающимся с густыми седыми волосами, собранными в высокий внушительный пучок. Сколько ей лет – семьдесят, восемьдесят или больше? Морщины почти отсутствовали, но кожа была настолько бледна и истончена, что просвечивали голубые венки.

– У вас тут так хорошо пахнет! – сказала я, не найдя других слов под пристальным вниманием бледно-голубых, словно выцветших от времени глаз.

– Это мыло, я его рассовала везде. Только оно перекрывает запах старости. Неужели не знала, что у старости есть специфический, несмываемый запах? – женщина села на стул напротив меня и испытующе замолчала, сплетя перед собой руки. А я почувствовала себя маленьким глупым мышонком, случайно оказавшимся рядом с опытной кошкой, соскучившейся по новым забавам.

– И с рухлядью я рассталась без сожаления по той же причине. Здесь считают, если обставишь комнату вещами из прошлой жизни, то будешь чувствовать себя как дома. Это глупости. Привязывание к старью – признак старости! – продолжила она в ответ на мое молчание. – Сама не знаю, как долго тут пробуду. Сын постоянно просит вернуться. Оста-

юсь из собственного упрямства, не хочу мешать его жизни, – моя собеседница на секунду задумалась, а затем вдруг представилась: – Инесса Федоровна. Почти Арманд. Знаю, за глаза меня так и называют. Я тезка любовницы нашего великого вождя революции, когда-то призывавшей к «свободной любви». В Париже она основала всем известный журнал «Работница». Надеюсь, о нем-то хоть слышали?

Я торопливо покивала головой, реагируя то ли на фамилию известной революционерки, то ли на популярный журнал, и начала выкладывать на стол таблетки из нужной ячейки с номером комнаты.

– Какая интересная фотография! – уходя, я снова остановилась у комода.

– Одно из пожелтевших свидетельств моей судьбы. Как в любом парке по осени, так и в конце любой жизни: облетают последние листочки и оставляют голые беззащитные ветки. Мои все улетели, вот один остался. Рука не поднялась выбросить. Я ровесница века. Тут мне шестнадцать, и я счастлива. Еще все живы.

– А кто эти люди вокруг? – фотография меня захватила и не отпускала.

– Они из моего прошлого и ценны тем, что знали ту меня, которой, увы, давно не существует! – Инесса Федоровна подошла ближе. – Первая мировая война в разгаре. Кто-то вернулся с фронта, кому-то еще предстоит там побывать. Уже неспокойно, но они делают вид, будто все по-прежнему хорошо… Впереди революция, но в это мало кто верит.

– Вы актриса?

– Все мы немного актрисы. Заглядывай на чай, новое лицо, поболтаем! Да и устала я от бесконечных морщин и полинявших халатов.

Я быстро вошла в ритм и даже стала брать ночные дежурства. Период отпусков шёл вовсю, и рабочих рук катастрофически не хватало.

Дом престарелых располагался на окраине города и имел собственный клочок земли, именуемый садом. Здесь и правда росли изогнутые от времени яблони, пышно цвели гортензии, а вдоль дорожек буйствовали лохматые рыжие бархатцы, годами осыпавшие семена прямо в землю. В саду гуляли, сидели на лавочках или дремали в креслах бывшие колхозники, учителя и домработницы, был даже один член Академии наук. Такая сборная солянка ровесников века из разных слоев общества, оказавшихся тут в финале пути и пытающихся найти точки соприкосновения, чтобы как-то организовать свою новую жизнь. В хорошую погоду постояльцы двух нижних этажей часто бывали в саду. Третий этаж этой возможности был лишен. Там находились нетранспортабельные пациенты, требующие повышенного ухода. Большинство из них пребывали в своем собственном мире и не контактировали с окружающими. Все помещения наверху называли исключительно палатами.

– Они же не живут там, а существуют. Один плюс – ближе к Богу. Мы никогда их не вылечим, но организмы поддерживаем, это факт. Так и получается: от смерти до жизни одна инъекция. Главное, что не наоборот! – Валентина Петровна весело наполняла большие стеклянные шприцы растворами витаминов и укладывала их на подносе, называя «снарядами с жизнеобеспечением». Моё дело – эти «снаряды» доставить до цели. Я летала по этажам и втыкала иголки в дряблые ягодицы благодарных пациентов, нарабатывая опыт.

Свободное время я проводила у Инессы Федоровны. Сначала забегала исключительно по медицинским делам, потом стала задерживаться, понимая, что уходить не хочется. Она сильно отличалась от остальных

обитателей дома, и меня как магнитом тянуло в эту комнату с салфетками-паутинками и свежим запахом мыла. К концу практики я знала истории почти всех персонажей с большой фотографии, была в курсе, кто кого любил, кто куда уехал после революции и даже кто и как умер.

– Ты познаешь жизнь через мои рассказы про покидающую нас эпоху, а я подпитываюсь твоей неиссякаемой юной энергией! – любила повторять Инесса, ловко орудуя крючком.

– Почему вы никогда не рассказываете про своего мужа? – задала я давно мучавший вопрос.

– Вот он, усатый, с прожигающим насквозь взглядом, – Инесса ткнула пальцем в симпатичного мужчину, напомнившего мне Дениса Давыдова. – Ираклий, а для своих просто Ира, Ирочка. Влюбился в меня с первого взгляда, причем сделал это на пару со своим приятелем Феликсом. Он тоже тут, стоит с другой стороны от меня. Оба красавцы, из хороших семей, закружили меня так, что голову снесло. Гарцевали друг перед другом, ну и передо мной, конечно. А я, еще мало что понимавшая, чувствовала правила игры и уделяла внимание то одному, то другому, причем обязательно так, чтобы заинтересованные лица страдали. Они оба мне нравились. Ирочка – романтик, писавший стихи, утонченный ценитель прекрасного. Феликс – реалист, крепко стоял на ногах, понимал законы жизни. В итоге я предпочла Ираклия, и мы поженились. Детей долго не было, а потом родился Юрик, и с ним пришло новое ощущение счастья. Жизнь сосредоточилась вокруг сына. Всё остальное стало неважным.

– А Феликс? Он смирился?

– Он тогда пропал надолго, а потом неожиданно появился в нашей жизни в роли нового директора большого НИИ, где мой Ирочка трудился с самого открытия. Радость встречи быстро омрачилась придирками. Феликс цеплялся к мелочам, подчеркивая некомпетентность Ираклия в разных вопросах, и заваливал работой. Супруг мой чересчур переживал, истязал себя, но молчал и продолжал вкалывать с утроенной энергией. В отсутствии противодействия, Феликс всё больше распускался. Он стал оскорблять мужа во всеуслышание. Мстил за ту свою неудачу, за обиду, засевшую глубоко внутри. Несправедливость происходящего понимали все. Ира хотел поговорить с Феликсом, но ждал подходящего момента. Ничего не менялось, и жизнь становилась невыносимой.

Однажды Ираклий после очередной бессонной ночи потерял сознание прямо в кабинете Феликса. Муж умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Обширный инфаркт. Я никогда не сомневалась, что он не предаст и не оставит меня. Однако оставил. Одну, с маленьким сыном. Это случилось еще до войны. Я пыталась жаловаться, куда-то писать. Но ни один человек в институте не подтвердил, что моего мужа унижали, уничтожали каждый день, по сути – убивали. Все знали, но молчали. Такое было время, им нужно было работать и кормить свои семьи, а Ираклию было уже не помочь.

– А что Феликс?

– А Феликс возобновил свои попытки ухаживать за мной. Вел себя, словно ничего не произошло и не было у него никогда друга. Шутил, блистал красноречием, говорил, что всю жизнь любил только меня и звал замуж, напрочь забыв про свою семью. Мой мир рассыпался. Да и тот страшный день отменить было невозможно. Я поставила точку, просто собрав в один день вещи и уехав в другой город, где предложили работу. Была уверена, что больше никогда его не увижу. Через

какое-то время началась война. Голод, бомбежки, смерть близких, эвакуация. Тяжелейшее время. Я выжила потому, что рядом был Юрик. Ребенок без меня точно бы погиб.

– Не идет из головы Феликс! – я взяла в руки фотографию. На меня с ухмылочкой смотрел франт в белом кителе. Светлые волнистые волосы, открытый лоб, глаза с прищуром, пижонская трость в руке. – Вы больше не виделись?

– Он выскакивал, как черт из табакерки, в самых неожиданных ситуациях на протяжении всей жизни. Судьба-злодейка любит пошутить. Лежит сейчас голубок на третьем этаже нашей богадельни. Голова-то соображает, а руки-ноги не двигаются. Такой вот бумеранг зла. Феликс всегда работал на высоких должностях и думал, это означает легкую старость. Увы, семья посчитала, что тут ему будет лучше. А им без него... Только я иногда и навещаю. Узнает. Ненавижу его, но хожу. Спросишь, зачем? Он – последняя ниточка, связывающая меня с прошлым. Мы все здесь будто бесполые, а благодаря ему я чувствую себя женщиной.

Я стала лихорадочно перебирать в голове образы лежачих пациентов третьего этажа, и мысли настойчиво возвращались к большому дряблому телу с остатками волос и тусклым взглядом полуприкрытых глаз...

– Мы рождаемся в муках и тяжело уходим. Легкую смерть надо заслужить. Тут многие об этом мечтают. Феликс удивительно долго живет в таком состоянии. Может, отчасти благодаря мне? Я прихожу и просто смотрю ему в глаза. Выражение лица сразу становится страдальческим, будто ему больно. Оказывается, даже по ржавым проводам идет ток.

Практика заканчивалась, а уходить не хотелось. Я очень привязалась к Инессе да и с коллективом нашла общий язык. Когда в последний рабочий день поступило предложение остаться на постоянной основе и брать пару дежурств в неделю, мое положительное решение всех только обрадовало. «Арманд» по этому поводу пригласила на чай с печеньками. Мы распахнули окно в сад и запустили в комнату божественный густой воздух, наполненный сладкими нотами душистого табака вперемешку с хвоей. Инесса бросила в заварку мяту, сушеные ягоды и добавила пару ложек меда.

– В моей семье всегда была традиция чаепития. Жили мы скромнее многих, – Инесса кивнула на фотографию, – к празднику могли позволить только батистовые платья, а не шерстяные. Мама была из дворян, ее сестры воспитывались в Смольном. Отец – скромный чиновник почтово-телеграфной конторы. После замужества мама потеряла дворянский титул и стала мещанкой. Это спасло семью в революцию. Я родилась при царе, видела Ленина, чуть не погибла на похоронах Сталина, пережила Хрущева с кукурузой, а потом и Брежнева. Вроде бы пора и честь знать. Но явился Горбачев с «ускорением» и снова любопытно стало, чем вся эта гонка закончится. Главное – не терять интерес к жизни. Это оберегает от слабоумия. А мне, между прочим, скоро 88. Эта дата наступит уже 1 января.

– Она нечаянно нагрянет! – улыбнулась я. – А 88, между прочим, знак бесконечности!

– Или конечности! Думаешь, возраст приходит неожиданно? Бац, и ты на выселках времени? Нет, он отвоевывает территорию по шажочку, наступает на мягких лапах так, что долго не понимаешь происходящих изменений.

– Это как? – я поставила на стол чашку с ароматным чаем.

– Ну, по молодости лет ты уверена, что старость тебе не грозит. Действительно, до нее нужно еще добраться, а повезет, увы, далеко не всем. Я хорошо помню момент, когда, сидя на заднем сиденье автомобиля, неожиданно увидела в зеркале плотный мышечный тяж на своей шее, появившийся при повороте головы. Я вздрогнула, сделала легкое движение назад и тяж пропал. Повернула голову, он опять появился. На осмысление ушел день. Я перестала резко поворачивать голову. На какое-то время помогло. Шея – главный предатель женского возраста, при каждом взгляде в зеркало я это осознавала. Потом поймала себя на мысли, что присела на корточки не как обычно, а неуклюже, враскорячку. Так делала когда-то моя бабушка, вызывая улыбку сожаления. Я тут же вскочила, сделала двадцать активных приседаний, доказывая себе, что всё могу. А потом, через какое-то время, снова присела как бабуля, – Инесса грустно улыбнулась. – Эти изменения сразу бросаются в глаза окружающим, а самой труднее понять, что стареешь. Ты же видишь себя в зеркале каждый день. Вроде бы всё та же, но почему-то назвали не девушкой, как обычно, а женщиной и вдруг поинтересовались пенсионным удостоверением.

– Клянусь, что не буду принимать такую ерунду близко к сердцу, – резво заявила я.

– Даже когда впервые проснешься от собственного храпа? Это будет как удар под дых, уверяю! А что скажешь про новый, едва уловимый запах тлена, от которого нет спасения? А он тоже обязательно появится. Я спокойнее перенесла, когда руки стали непривычно худыми, напомнив карту местности, а может, моей жизни, с венами-реками и пятнистыми возвышенностями. Их можно скрыть под перчатками, а шею под шарфом. Так и спасалась первое время, уставая объяснять, почему в любую погоду шарф и перчатки. Странное ощущение, когда энергия еще плещет, а тело начинает подводить, напоминая дряхлое дерево – обязательно поселится какая-нибудь гадость, потихоньку превращая его в труху. Затем что-то сломалось в сознании, надоело скрывать возраст. А может быть, пришло понимание бесполезности смешных попыток закамуфлировать старость? Пропало желание непременно всем нравиться, появилась свобода, которой раньше не было. Приоритеты поменялись. Теперь для меня главное, чтоб ничего не болело и голова работала. Хотя неведение и уход в собственный мир – тоже вариант.

– Самое сложное, наверное, терять близких? – мне очень хотелось, чтобы наш разговор не заканчивался как можно дольше.

– Не только. Уходят друзья, причем не обязательно умирают. Они просто растворяются или перестают общаться, часто без причины. Думаешь, только на лице залегают морщины? В душе тоже. От каждой потери – новый след. Даже от смерти артистов и известных людей, кого лично не знала, ведь они тоже часть твоей жизни. Так уходит эпоха, и ты вместе с ней. Мне иногда кажется, что все мы, собранные под этой крышей, давно умерли, но там, наверху, запамятовали нас отсюда забрать.

– Здесь у вас нет подруг?

– Понимаешь, старость – это больше про одиночество. Да и с кем тут общаться? С соседками? Одна каждому родственнику свою квартиру обещает и ежемесячно завещание с одного на другого переписывает, чтобы не расслаблялись. Другая без конца пытается завалить меня местными сплетнями, третья в одном платье полгода ходит. У большинства настоящая коррозия головного мозга, – она взяла в руки вязание и замелькала крючком, ловко перекидывая нитку. – Запомни, пока

у тебя есть мечты и планы, ты не безнадежна. Если честно, я сама совсем недавно перестала считать, что у меня еще всё впереди. Смешно?

– Как у вас здорово получается орудовать крючком! – я и не думала смеяться.

– Считаешь, мне сильно нравится вязание этих бесконечных мещанских салфеток? Тренирую мелкую моторику, борюсь с артритом! – по голосу Инессы я поняла, что этот разговор ей надоел.

На своем посту Валентина Петровна сосредоточенно раскладывала таблетки по ячейкам.

– А кто соседки у «Арманд»? – поинтересовалась я.

– Слева – иногда разыгрывает деменцию, ей под восемьдесят. Справа – покрепче и помоложе, той семьдесят семь, напротив – с первыми признаками умственного упадка, хотя ей всего семьдесят пять.

– Какой-то здесь безымянный мир. Вот почему, говоря про стариков, называют исключительно их возраст? Никому уже не важно, кем этот человек был в прошлом: врачом, военным или научным сотрудником, хорошо хоть есть таблички с фамилией на двери.

– Много разглагольствуешь! Вперед и с песней! – Петровна вручила мне поднос с таблетками и подмигнула.

Я посмотрелась в зеркало и улыбнулась своему отражению. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем оно перестанет меня радовать?

Осень вступила в свои права, бесстыдно срывая последние листья и проливая нескончаемые дожди. Среди оголенных веток ярко сигналили ягоды рябины, обещавшие сохраниться до зимы. Я закрутилась в институте, сдавая все навалившиеся зачеты, и даже вынуждена была отдать несколько своих дежурств. Меня не было в доме недели три, не меньше.

– А я тебя ждала. Представляешь, даже забыла, как это делается! – Инесса привстала при моем появлении. Я достала вафельный тортик и баночку маминого инжирного варенья:

– Кушать подано!

– Так странно, получается, что в последнее время ты мой самый лучший собеседник!

– Да такой себе я собеседник! Сложности с учебой и с личной жизнью полный кавардак. Влюбляюсь в кого не следует, а в кого следует – совсем не влюбляюсь. Вот опять запуталась. Все понимаю, а сделать ничего не могу. Рядом со мной крутится умный и правильный, заботливый, почти идеальный. Но… не мой.

– А тебе нравится, конечно, другой? Плохой? И никто не поддерживает, все пытаются открыть глаза? Это нормально. Хорошие девочки всегда любят хулиганов. Отстранись от ситуации, не форсируй и не торопись с выбором. Ответ сам придет. Твое найдет тебя. И не важно, что об этом думают другие.

Я кивнула и решила перевести тему.

– А какой ваш сын? Вы никогда не рассказываете про него. Почему он вас совсем не навещает? – этот вопрос давно меня волновал.

– Капризничает! – Инесса подошла к окну и отвернулась. Тяжелые косматые тучи затягивали небо. Вдали раздавались первые глухие раскаты грома. – Мы всегда были вместе, просто не разлей вода, а в восемнадцать Юрик влюбился. Девочка была прелестна и чем-то напоминала меня в нежном возрасте. Они очень подходили друг другу, Юленька и Юрочка, еще совсем дети, но с непреодолимым желанием срочно пожениться. Я не стала препятствовать. Сын метался между мной

и Юлей, пытаясь разделить свою радость с нами обеими и со всеми вокруг. Он очень беспокоился обо мне: вдруг почувствую себя одинокой и покинутой? Сама не знаю зачем я, поддавшись на его уговоры, отправилась с молодыми в свадебное путешествие. Послевоенное время, август пятидесятого года. Мы все так соскучились по красоте, отдыху и легкости бытия. Ребята выбрали Ригу, а я там никогда не была. Потянуло. Советская Латвия с вечным налетом заграницы. Отпуск уже подходил к концу, когда Юрик потащил нас на популярную прогулку по реке. Свежий воздух, отличное настроение, недавно отреставрированный пароходик и забытое ощущение покоя.

Мы возвращались, когда заметили народ на набережной. Люди ждали следующего рейса. Их было очень много. Кораблик еще толком не причалил, когда толпа ринулась, не дав сойти на берег пассажирам. Люди лезли со всех сторон, штурмуя судно, прыгая прямо с набережной на вторую палубу. Капитан срывал голос, пароход раскачивался, все перебегали с одного борта на другой, только усиливая колебания. Вдруг судно стало неуправляемым и его понесло. Пароход тонул, началась паника, и пассажиры стали прыгать в воду. Кто-то сильно толкнул меня, в воде оказалась и Юленька. Мы барахтались среди безумных тонущих людей, в тридцати метрах друг от друга, между пароходом и отвесной набережной, по которой не было шансов подняться. Юрик, отвоевавший у кого-то спасательный круг, бегал по палубе, не понимая, кому же из нас его кинуть, кого спасти: жену или мать, мать или жену? Ведь круг был один, а нас двое, и мы обе тонули. Мощный бросок. Юрик выбрал Юлю и спас ее. – Инесса замолчала, а по окнам застучали звонкие капли дождя. Я тоже молчала, пытаясь переварить услышанное. – Мужчина рядом со мной крикнул: надо плыть дальше от давки. Это и спасло. Меня вытащили ребята-студенты, связавшие свои пояса в одну длинную веревку… Было много погибших. Их разложили на траву, на лавочки, везде.

Дождь ослабил свой напор и оставлял на стекле волнистые слезные дорожки. Я смотрела на маленькую фигурку у окна и понимала, что любые слова излишни.

– Мы остались живы. А внутри… будто умерли. Не смогли забыть тот бросок спасательного круга ни я, ни Юрик. Только Юленька этот эпизод сразу выкинула из головы, а через пару лет и Юрика из своей жизни, променяв на большого человека со связями и собственной квартирой в центре Москвы.

– Вы так и не простили сына? – выдохнула я.

– Давно простила. Он сам себя простить не смог. Замкнулся, долгое время учительствовал в деревне, потом пробовал писать и мотался по стране журналистом. Когда Юра все-таки вернулся домой, я перебралась сюда, чтобы не мешать.

В преддверии Нового года пансионат оживился. Появились рисунки на окнах, снежинки из цветной бумаги и елка в холле у телевизора. Дееспособная часть женского населения подкрасила свои седины в фиолетовый цвет, и это придало очарования предпраздничной суете. Все готовились к главной ночи года.

– Начинаю атаковать старость! – сообщила Инесса, примеряя перед зеркалом роскошную золотистую шаль. Ее безупречно белые волосы были подобраны и уложены, глаза и губы слегка подкрашены, праздничное платье дореволюционного фасона сидело как влитое.

– Я думала, вы тоже будете Виолеттой, как все.

– Ну уж нет, увольте! Я снежинка не серийного производства. В прошлом году у них была мода на краску Кастеллани. Такой жуткий лекарственный раствор бордового цвета со специфическим запахом. И кому только в голову пришло?! Потом полгода волосы отмыть не могли, вместе с простынями и наволочками! – Инесса Федоровна улыбалась, ее глаза сияли, словно их протерли от пыли. – Я вот что решила: поговорю сегодня с Феликсом, сделаю ему сюрприз. Устала я бороться с внутренними демонами. Научусь прощать. Столько воды утекло, а я всё… Хочу еще и с сыном связаться. Сделаю подарок себе на день рождения!

После праздника в институте начиналась сессия, и в моем рабочем графике это учли. Но неожиданно позвонила Петровна, умолявшая выйти на дежурство с ней в паре уже в ближайший день:

– Спасай, будет проверка СЭС, нужно подготовиться. Ты поработаешь с пациентами, а я – с документацией. У нас аврал!

Отказать я, конечно, не могла.

Согнутая Валентина Петровна в очках на кончике носа нависла над столом с горой журналов, по порядку открывая их и что-то сосредоточенно отмечая. Она взмахом руки указала на заждавшиеся меня капельницы и снова уткнулась в бумаги. Я достала из сумки изящную брошку с изображением белой лилии, приготовленную для Инессы, и отправилась поздравлять. Мне было чем поделиться. Личная жизнь стала налаживаться, лишь только я по ее совету отпустила ситуацию.

Дверь в комнату нараспашку. Ни вещей, ни кружевных салфеток, ни мыла. Ничего. Только зияющий черной пустотой шкаф, свернутый на кровати матрас да санитарка, машущая шваброй по полу.

– Во сне ушла, не мучилась. Такую смерть заслужить надо… – бормотала она под нос.

За окном белой стеной шел снег. В комнате было холодно от распахнутой настежь форточки и пахло хлоркой. В мусорном ведре лежала старая помятая фотография, на которой привычно улыбалась юная Инесса, ухмылялся Феликс, замер в размышлениях Ираклий. Молодые, красивые, все в белом. Я взяла ее дрожащей рукой и тихо вышла.

– Где ты болтаешься? – подала недовольный голос Петровна.

– Сыну сообщили про Инессу Федоровну? – я никак не могла прийти в себя.

– Да он же лет пять назад умер от инфаркта. Только она никак принимать не хотела. Всё. Работать! Главное – от СЭС отбиться. А старики умирали и умирать будут. Это жизнь. Все мы рано или поздно станем багульником на склонах. И то если повезет… Бери капельницы и начинай работать!

На третьем этаже в своей палате, откинувшись назад на заботливо подоткнутые подушки, сидел Феликс и неуклюже, но самостоятельно ел кашу.

– Надо же, столько времени лежал – и вдруг такое неожиданное улучшение. Не зря, значит, лечим! – рядом появилась заведующая.

– Не зря, – я грустно улыбнулась.

На тумбочке рядом с кроватью лежали белоснежные салфетки тонкой ажурной вязки и кусок лавандового мыла. Я принесла старую фотографию и поставила ее тут же рядом, а на следующий день написала заявление об уходе.

Поэзия

Фёдор СУХОВ

Фёдор Григорьевич Сухов – русский поэт-фронтовик, старший лейтенант, командир огневого взвода противотанковых орудий, награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны, лауреат Всесоюзной премии им. А. Фадеева ЦК ВЛКСМ за поэму «Былина о неизвестном солдате» как лучшее поэтическое произведение о войне к 25-летию Победы. Ф. Сухов прожил ровно столько, сколько просуществовал СССР (1922–1992). Окончив в 1954 году Литературный институт им. М. Горького с отличием, Сухов для работы выбирает разрушенный Сталинград, нуждавшийся в литературных кадрах, в 1957 году вступает в Союз писателей СССР и занимается только серьёзным литературным творчеством. «Я о войне не заикался, почти ни слова не сказал», – заявил поэт в конце 60-х годов, а ведь первое его стихотворение увидело свет в газете «Красная Армия» в 1944 году – «Нам не забыть эти места, где мы друзей похоронили…». Позднее поэт написал ставшее знаменитым стихотворение «Провожали меня на войну» (1954), вошедшее во все антологии стихов о Великой Отечественной, поэму «В подвале универмага», переработанную в «Землянику на снегу» (1958–1974), выбрав сложнейшую тему о плененном генерал-фельдмаршале Паулюсе – «Тем генералы хороши, что нет души у генералов…», в 1968–1969 годах родилась поэма «Былина о неизвестном солдате» с печальными начальными строками «Нас всё меньше и меньше, нас почти никого не осталось…» «Все творческое развитие Ф. Сухова убеждает: он не мог уйти от темы войны, она неистребимо жила в нем. “Былина о неизвестном солдате” – самобытное и богатое смыслом и самим звучанием произведение. Так еще никто не говорил о войне. Федор Сухов открывает перед нами новую правду о ней», – отметил литературный критик В. Кожинов.

Елена СУХОВА, дочь, хранительница литературного наследия поэта, кандидат филологических наук, доцент

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД МЕНЯ ТЫ ЖДЁШЬ…

В то лето

Клавдии Сусловой

Тебя запомнил я такой,
Какою ты была
В тот самый день, когда с тобой
Я вышел из села.

Мы шли по полю прямиком,
И путь мой был далёк.
Как слёзы – видел я – тайком
Ты прятала в платок.

И говорила: – Вон верста,
Дойдём до той версты.

И как задумчиво-грустна
Была – я помню – ты.

Но не заметили, как столб
Тот самый, верстовой,
Стал позади, а я всё шёл,
Ты тоже шла со мной…

Потом расстались. Не забыть
Твоих прощальных слёз:
Ведь ты одна могла любить
Меня вот так, всерьёз.

Июньский тёплый ветерок
Играл на большаке.
Как голубь, рвался твой платок
Ко мне в твоей руке…

Четвёртый год меня ты ждёшь
Туда, к себе домой,
Четвёртый год мне письма шлёшь
По почте полевой.

Но знай: чем дольше дни разлук,
Чем больше было мук.
Тем встречи радостней, мой друг,
Мой настоящий друг!

1952

* * *

Б.Е. Пильнику, фронтовику

Вещает мудрость: будь в дому печали,
Дом радости – убежище глупца.
А я все радуюсь. А я ночами
С ликующего не схожу крыльца.
Притопни ногой,
И не этой, а другой!
А другая-то нога
Без чулка, без сапога.
А другая-то нога
Убежала на луга.
На одной ноге пойду,
Упаду – не пропаду,
Вы-ытопчу всю лебеду,
Вы-ытащу свою беду...
Бабыньки, где она, моя-то беда?
Где он, муженек-то мой,
Моя лебеда?
На пол грохнулись костыли.
Опустилась убеленная сединой голова.

Тишина.
Пляши, жена! Топчись, жена! –
Тишина.
Я действительно глуп –
В доме радости
Я не заметил дома печали.
А поднятые
И поставленные в углу
Костыли –
Все стучали,

Стучали,
Стучали.

1973

* * *

Доктору С.С. Нестерову,
участнику Великой Отечественной войны

Липовым цветом июль медовел,
Сладко дышал он своей земляникой.
Дождь надвигался на заросли верб,
На суматоху грачиного крика.

Помню, как грохал раскатистый гром,
Шла из-за леса угрюмая туча,
И отдавала свой низкий поклон
Волжского берега древняя круча.

Ветер свежо набегал на мои
Знойной жарой истомленные губы,
Он у дорожной ходил колеи,
Он придорожные вербы голубил.

Перебирал вдохновенно листву,
На клеверином разгуливал поле,
Он милосердную вызвал сестру
К знойной моей, нестихающей боли.

Он милосердному брату сказал
Самое доброе-доброе слово,
И благодатно пролилась гроза,
Всё, засияв, зацвело васильково.

Утихомирилась давняя боль,
Не беспокоит былая утрата,
Только одна голубеет любовь
В светлых глазах милосердного брата.

1977

Надежда КОНДАКОВА

Родилась в Оренбурге. Окончила два курса филологического факультета Саратовского госуниверситета и Литературный институт им. А.М. Горького. Заведовала отделом поэзии журнала «Знамя» и журнала «Октябрь», была составителем «Дня поэзии» (1979, 1980, 1982).

Поэтесса, переводчица, драматург. Печатается в центральных литературных журналах. Автор многих поэтических сборников и книг переводов. Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства (2011), Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2014) и региональной премии имени С.Т. Аксакова (2014), а также премий журналов «Золотой век», «Дети Ра».

Живет в Переделкине.

ПОБЕДА – ТО, ЧТО ПОСЛЕ БЕД...

Баллада о сердце и блуждающей пуле

Посвящается
Александру Николаевичу Лищуку,
великому кардиохирургу и человеку

Привезли бойца с кровавой битвы
с пулею, блуждающей внутри.
И деревья встали на молитвы.
И замолкли птицы до зари.

А когда заря, в кроваво-алом,
госпиталю окна подожгла,
пуля-дура возле сердца встала,
тихо постояла – и вошла.

И как бы по знаку демиурга,
сердце стало тяжелей земли.
И его уже на стол хирурга
только сами ангелы внесли.

…Ах, война-война, война-войнушка,
к твоему приблизясь куражу,
я скажу тебе, война, на ушко
то, что никому не расскажу.

Это и не драма, и не проза,
а поэма Господа и рук
русича, точнее – малоросса,
гения по имени Лищук.

Вот стоит он, военврач, ученый,
победитель смерти в СВО –
двести пуль, из сердца извлеченных,
все хранятся в сердце у него.

В сердце, где с молитвою о сыне
старенькая матушка в окно
день и ночь глядит на Украине,
или в Украине – все равно.

Сердце у нее висит на льдинке.
Тает льдинка, плачь или не плачь…
Но сойдутся в новом поединке
снайпер и боец. И военврач.

…Вот он снова в операционной.
И к нему, а не на Страшный суд,
с пулею, в блуждания влюбленной,
раненого – ангелы несут.

Лица

Как я люблю довоенные лица
всех, кто родился в Империи русской,
после Империи – в русской столице,
в русской провинции с русской нагрузкой.

Как я люблю довоенные лица! –
Бабочки, пчёлки, сачок в огороде…
Все, что на фото, что длится и длится,
все, что продолжится после в народе.

Послевоенное детство, как счастье
просто родиться у папы и мамы,
моющей рамы… От духа и плоти –
бабочки, пчёлки, сачок в огороде…

Как не люблю предвоенные лица –
ужины в Probk’e, обеды в «Живаго»
тех, кто рассчитывал длиться и длиться,
словно в отсутствие Бога живаго.

Тех, кто рассчитывал вечное лето –
отпуск в Майями, викенды в Монако,
всех, кто теперь затеряется где-то,
всех, кого мы пожалеем, однако.

Как я люблю ваши лица живые,
летчики наши, сапёры, танкисты,
и рядовые – железные выи
нашей великой уже реконкисты.

Разные лица – одни позывные,
только бы вы к нам вернулись, родные! –
только б продолжились в нашем народе
бабочки, пчёлки, сачок в огороде…

Накануне

Инне Соловьевой

За алым лежбищем заката
маячит, как морская даль,
в огромных соснах синевато
небес мерцающий хрусталь.

И даже ветер не колышет
лес по обочинам густой,
где крестиками птичек вышит
песок, от солнца золотой.

И кажется, не будет сносу
всей этой смирной красоте:
траве последнего покоса,
вороне сонной на кресте.

И даль, конечно, не морская,
а в среднерусской полосе,
как жизнь, простая жизнь мирская,
но в очарованной красе.

Так жизнь твоя, в последней трети,
течет, не разбирая лет,
пока безумное столетье
к виску подносит пистолет.

И как любой самоубийца,
которому нельзя помочь,
век вряд ли различает лица
сквозь наступающую ночь...

* * *

Бла-бла и бабло,
Бабло и бла-бла.
А детки сгорают в освенциме зла,
в откате и ссудном проценте,
в его развлекательном центре.
Сгорают, сгорают…
А клубы дымят,
свиваются в змеи, спускаются в ад.
А детки – наверх улетают
и тают за облаком, тают…
И страшную книгу листают

мои соплеменницы – где вы? –
рожать не хотящие
девы…
Мои современницы – кто вы?
в бездетность упавшие
вдовы…

* * *

Февраль. Достать чернил, забытых
в двадцатом веке, не могу…
Пусть за меня про всех убитых
напишет ворон на снегу.

Следы вороньих лапок мелки,
а в марте весь растает снег. …
Потом забьют в Стамбуле стрелки.
Потом расстанутся навек.

И вновь сойдутся в поле чистом –
не с человеком человек,
не раб Господень с атеистом,
а с имяреком имярек.

И, взрывом брошены в объятья,
на полосе, где хлеб не сжат,
«небратья» мертвые – как братья,
в горсти у Господа лежат.

2022

* * *

Ты родину мою не трожь,
она сама себе не рада –
сирень, закутанная в дрожь
у голубого палисада.

Сама обманывалась и
ее обманывали эти,
то глухари, то соловьи,
обманутые ею дети.

И есть такая полынья
в ее заледенелом горе,
где плачет родина моя,
сама с собою в чёрной ссоре.

И все-таки ее не трожь,
она ведь не твоя отрада,
не ты здесь целовался в дождь
у голубого палисада.

Не для тебя ее краса,
её желтеющие нивы,
ее поэты и леса –
все для тебя несправедливы.

Унылы рощи и жнивье,
угрюмы – песни и парады.
И не понять тебе её
ни рая, ни шального ада.

…Лети по свету, дорогой,
шуми, витийствуя на воле!
Твой образ родины другой –
под ветром перекати-поле.

Бе(з)Ценная

Победа – то, что после бед.
Или одной беды огромной.
Победа оставляет след,
сравнимый с непрерывной домной.

Обогащается руда,
за ней чугун идёт по следу –
так и народы иногда
обогащает лишь Победа.

И перед нею все равны:
Живой, и мёртвый, и увечный…
И у Победы нет цены.
Нет, кроме Божьей, то есть вечной.

* * *

Памяти Б. П.

Сыграй мне, скрипач ненаглядный,
такую музы́ку сыграй,
чтоб сердце, как голубь опрятный,
рвануло за радостью в Рай.

Чтоб всплыли большие светила
на небе тревожного дня
и музыки этой хватило
не только уже для меня.

Чтоб мой ненаглядный, мой бывший,
смущенно не пряча лица,
прощенный стоял и простивший
пред музыкой Бога Отца.

Александр КЕРДАН

Родился в 1957 году в г. Коркино Челябинской области. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, военно-политическую академию имени В.И. Ленина и адъюнктуру Военного университета МО РФ имени Александра Невского. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник в отставке. Кандидат философских наук, доктор культурологии. Автор многих книг стихов и прозы, вышедших в России, США и Азербайджане. Лауреат Большой литературной премии России и других всероссийских и международных премий.

Член Союза писателей России. Координатор Ассоциации писателей Урала, руководитель регионального штаба ООД «Культурный фронт России». Живёт в Екатеринбурге.

И ТАКОГО КРАЯ НЕТ, ГДЕ БЫ НЕ БОЛЕЛО...

* * *

Как хорошо, что мы пока что живы,
И что над нами не грохочут взрывы,
Что, выходя гулять в соседний сквер,
Заложенный ещё в СССР,
Мы не наступим невзначай на мину,
И снайпер нам не всадит пулю в спину,
И не висит над нами враг незримый –
Ударный беспилотник, например...

Но есть у нашей тишины цена –
Который год сражается страна.
И, уповая, в общем-то, на Бога,
Мы, если речь вести об этом строго,
С тобой мобилизованы... Война
Живёт в нас болью всех, кто под прицелом
Или сейчас в подвале, под обстрелом,
Чья чаша горя не имеет дна...

Ведь тот, кто жизнь постиг хотя б на йоту,
С народом разделяет все заботы,
И знает, что покой у нас в тиши
Оплачен кровью, подвигом души
Тех, кто сегодня на переднем крае,
И тех, кто с грузом к ним сейчас спешит,
Кто, Крест Христов воздев как будто щит,
Небесный строй на помощь призывает.

Кто вещими и песней, и стихом,
Которые встают как в горле ком,
Слезами увлажняет Божьи вежды,
Там, в вышине, где все слова слышны,
Мелодией цветенья и весны
Их возлагает на весы войны,
Чтоб, как уже не раз бывало прежде,
Надеждой наполнять России сны...

На Казанском вокзале

Сердце у меня не из железа –
Начинает биться невпопад:
Так и тычутся в глаза протезы
У ребят и даже у девчат...

Лица перекашивают шрамы,
А во взорах злая глубина...
Видно, что для них совсем не мама
Эта, бесконечная, война.

...Адовы круги, огонь смертельный,
И друзья, лежащие в пыли...
Из госпиталей тропой метельной
Вышли, опершись на костыли.

Сможет ли когда-то позабыться,
Как круша обугленную твердь,
Дроны – Апокалипсиса птицы
Сеяли страдания и смерть?

Стынет кровь, и думы стынут тоже:
Здесь, в Москве, иная жизнь царит...
Хоть бомонд, кривясь холёной рожей,
О патриотизме говорит.

У него-то всё всегда прекрасно,
Он, бомонд, на выдумки горазд:
Ластится к народу, если страшно,
А потом безжалостно предаст.

...За деревьями не видно леса,
И всё жёстче схватка: кто – кого...
Костыли стучат, скрипят протезы –
Свой рассказ ведут про СВО.

* * *

Льётся Божий свет в окно,
И заря – полоской.
Двор наш выбелен давно
Снегом, как извёсткой.

А заря горит, горит,
Тихо догорая,
Так, как будто говорит:
«Наша хата с краю».

Там, на этом на краю,
Раздаются взрывы:
Кто – в аду, а кто – в раю.
Остальные – живы.

Им, живущим, недосуг
В боевой работе
Слушать сердца каждый звук,
Как при артналёте.

Любоваться белизной
И полоской алой...
Свистнет пуля над тобой,
Значит, не достала!

А меня достало, вот...
Это точно знаю:
Там воюет мой народ,
Льётся кровь родная,

Оставляя алый след
На извёстке белой.
И такого края нет,
Где бы не болело.

И не спрятаться в тиши
От войны, от рока...
Края нету у души,
Если верит в Бога.

Победитель

Я убит подо Ржевом…
А. Твардовский

Я убит сегодня под Славянском,
Защищая город наш родной.
Я лежу с герогиевским бантом –
Небеса сквозные надо мной.

Где-то громыхают бэтээры,
Грохают разрывы вдалеке,
И звучат команды офицеров
На чужом, шипящем языке.

Топает наёмная пехота,
Воровски косясь по сторонам…

А подмога задержалась что-то,
Не пришёл никто на помощь нам.

Будто бы в каком-то сне нелепом
Вся эпоха повернула вспять!
Чтобы жили вы под русским небом,
Должен был я здесь сегодня встать

И свой смертный час принять солдатом,
Ведь не зря же на былой войне
Дед мой на рейхстаге в сорок пятом
Вывел имя, что досталось мне.

Мамино окно

Мне вся планета по размеру,
Но понял для себя давно,
Что неразменны честь и вера,
Любовь и мамино окно,

Откуда – мал ещё росточком –
Я вглядывался в синь небес
Сквозь алые цветы в горшочках –
Мой райский сад, мой сад чудес...

Откуда – ведь такое было,
Когда из дома уходил, –
Вдогонку мать меня крестила,
Молилась, чтоб счастливым был.

И потому я – не бездомный
Какой-нибудь космополит,
Что надо мною – свод бездонный,
Откуда матушка глядит.

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

Родился в 1987 году в Горьком. Окончил Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина, юридический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал на теплоходе, заводе «Красное Сормово», в системе правоохранительных органов, юристом в частной компании.

Стихи были опубликованы в журналах «Нижний Новгород», «Урал», «Наш современник», «Север», «День поэзии», «Бельские просторы» и иных. Лауреат конкурса «Северная звезда» в номинации «Поэзия» (2013), Слёта молодых литераторов в Большом Болдине в номинациях «Поэзия», «Проза», «Авторская песня» разных лет, Международного литературного конкурса им. Гавриила Каменева «Хижицы-2020». Спецпризёр и финалист премии «Кубок издательства СТиХИ» (2021).

Член Союза писателей России. Руководитель Нижегородского регионального отделения Совета молодых литераторов. Живет в Нижнем Новгороде.

НЕМАЛЫЕ НАРОДЫ

Цикл стихотворений

КРАСНЫЙ УЗОР НА ВЕНЧАЛЬНОЙ РУБАХЕ

Цикл стихотворений – всегда немного эпос. Протяжённость пространства, незаметно и тревожаще переходящая в протяжённость Времени. Чистота и тишина воды и небес сменяется взрывом праздника, чувство древности земли горьким вкусом коры тысячелетнего дуба оседает на губах. Ты готов и к бесконечному поцелую, и к яркому, яростному крику.

Тихий, на динамике piano, с виду раздумчивый (ну точно эпический!) хоровод стихов Дмитрия Терентьева «Немалые народы НО» постепенно набирает подспудную, хтоническую силу, вспыхивает перламутром речных перловиц – Волга, Сура, Мокша, Цна глядят в тебя людскими глазами и звучат человеческим говором. Глаза-озёра, речь-река. Поэт не убирает из словесной вязи чувашские, марийские, мордовские слова, их музыкальное, архаическое звучание: напротив, он вставляет их в скань текста, уснащает ими, вербальными самоцветами, речные, летние, камышовые, рябиновые просторы, заводи, излучины, крутояры.

Слова иного языка для русского уха звучат волшебно, это обертоны музыкальных инструментов, нами забытых. А народ их сохранил. «Немалые народы» – тут тысячу раз прав Дмитрий Терентьев, когда этим нехитрым, но полным смысла определением-антонимом мгновенно расширяет границы и собственного мощного чувства, и читательского восприятия.

А чувство поэта здесь – сложносоставное: оно слеплено из живого наблюдения, которое есть один – всегда один! – миг быстротекущей жизни, из раздумий о вечных архетипах народного бытия, из колорита

традиций и обычаев, и празднично-фольклорного, и обычно-ежедневного, и сакрально-первобытного, из вечного коромысла «мужчина – женщина», олицетворяющего собою любовь, такую бессмертную и такую мимолётно-обречённую, а ещё – и это самое ценное, вернее, бесценное – из живописи под названием «Жизнь – Смерть»: на этой мифологеме, родимом пятне человечества, крепко держится и посейчас всё таинственное міровоззрение, весь видимый и невидимый Міръ чувашей, луговых мари, горных мари, мишарей, эрзя, мокша.

Малые немалые народы бережно хранят, сохраняют нам древний Космос.

Сохраняют его как безусловную, ярчайшую, насущную жизнь: они живут им и дышат, едят его и пьют, его звёзды несут в руках, обнимаются у его священного огня, набирают во флягу воды из его святого источника.

Дмитрий Терентьев сделал очень важный творческий шаг.

Он написал – для нас – из нашего настоящего, любуясь живой красотой, как красным узором на венчальной рубахе, в коем слились вечность и сиюминутность, – наше прошлое и будущее.

…Мы выдыхаем вечные слова,
исследуем пространство плавниками.
Вокруг коряжник, донная трава,
вода кругом, под нами и над нами.

Мы словно возвратились в отчий дом,
где снова нам в подводном мире рады.
И больше мы не знаем ничего.
И ничего нам больше и не надо.

Елена КРЮКОВА

Чăвашсем

По трассе проезжая Шупашкар,
язык об указатели ломаешь.
Шипит радиостанцией башка.
Лежит по сторонам земля немая.

Уюта не найдя в кафе «Уют»,
на Нижний молча валишь по Казанке.
Обочиной чуваши продают
корзинки, рушники и вышиванки.

Размыла Волга верховых булгар.
Затихарилась песенная сила.
Автобусный вдыхая перегар,
чадит листвой проклятая осина.

Забор китайский каменной стеной
размежевал орнамент огородов.
По бороздам иглою костяной
разрозненно прошита книга рода.

Çапла пултăр*: поёт камыш «вăш-вăш»,
роняет в реку ягоды рябина.

* Да будет так *(чув.)*.

Плетёт квадрат своей земли чăваш,
что по углам батырами хранима.

…И грешным делом думаешь, что жизнь,
как эта среднерусская дорога,
за горизонт извилисто бежит
по воле не твоей, по воле Бога.

Мишәрләр

Әби* тебя достала из воды,
в отцовскую рубаху завернула
и со словами: «Вырастет батыр!»
мне в руки, словно куклу, протянула.

Я сутки не смыкала над тобой
горячих глаз, просвирку нажевала,
умыла родниковою водой
и веточку рябины привязала

к руке, – пусть боли-хвори обойдут.
...Отец твой третий день не просыхает,
всё топит баню и на бэбэй туй**
со всех краёв знакомых созывает.

Наварим каши, испечём бәлеш,
на окнах и дверях сөлге*** развесим.
Чтоб ты, мой ненаглядный, не болел,
покажем небу, наречём Улмэсом,

чтоб койгорыш**** вела тебя на свет.
Расти, сынок, красивым, ловким, смелым,
на радость нам. Пусть хмурится сосед,
что снова режет гуся на келэу*****.

Однажды ты откинешь чебелдек******,
наденешь башмаки, из мишарстана
в Казань уедешь от меня навек,
Оку забудешь, цокать перестанешь.

Пока тебя качаю на плече,
волнуя слёз не выплеснутых море,
шепчу тебе баит на татарче,
тоскуя по утраченной мещёре.

---

* Повитуха, повивальная бабка (*разг. mam.*).

** Обряд по случаю рождения ребёнка и имянаречения.

*** Рушник, полотенце (*mam.*, Нижегородская обл.).

**** Птица счастья в фольклоре мишарей.

***** Буквально «моление» *(миш.)* – «гусиный праздник», который справляют, если в семье рождаются одни девочки, состоит в приготовлении специально откормленного гуся и угощении детей гусятиной.

****** Занавесь у спального места в избе мишарей.

Эрзят

Сегодня встать с рассветом м-н-е-не-лень.
Я шёл, росой умывшись, в чисто поле,
в священный лес за тридевя́ть земель,
в дороге напевая «Вирев моля́н»*.

В лугах собрал цветов и ярких трав,
берёзы на опушке срезал локон,
чтоб заплести венок, но заплутав,
к поляне вышел светлой и широкой.

Медвежьим взглядом вдруг меня обдал
мужик, из чащи вышедший навстречу.
Он подошёл, представился: «Овтай»,
и запросто, схватив меня за плечи,

поведал мне историю свою:
«В ардатовских глухих лесах однажды
я строил засеку. Мурза Баюш
меня на службу взял к себе. Отважно

под Арзамасом у хмельной реки
мы с ним ногайцев порубили вместе.
И князь Пожарский со своей руки
Баюшу подарил фамильный перстень.

Вай, славная была тогда резня!
Крепки, как прутья в венике, мы были…
Отныне мой народ, как березняк
склоняется до придорожной пыли.

Меня в селе невеста Киля** ждёт,
узорную рубаху на венчанье
из солнечных лучей и ветра шьёт.
А ты ей локоны остриг случайно.

Не трогай косы хрупкие берёз,
пойдём со мной, с любимой познакомлю.
У нас в селе сегодня велень озкс***,
напляшемся и погуляем вволю.

Семьёй пчелиной созданный штатол****
к маа́ру***** в яндове несла озава******,
на нём свечу затеплила. Потом
молитву к Солнцебогу воздавала:

---

* По́йду в лес *(эрз.)*. Песня на стихи Маризь Кемаль.
** Ки́ля - героиня эрз. предания о борьбе с внешними врагами.
*** Сельское моление *(эрз.)*.
**** Восковая свеча *(эрз.)*.
***** Курган, холм *(эрз.)*.
****** Жрица *(эрз.)*.

«Увидь нас и услышь, Инешкепаз!
Поклон тебе. К тебе вздымаем руки.
Дай нам здоровья, да избави нас
от засухи, от мора, от разрухи.

На вековечный путь твой за сохой
по ходу солнца встанем вереницей.
В благословенном небе высоко
праматерей отрада отразится».

И небеса откликнулись, когда
из дальних сёл к маару чёрный бисер
рассыпали. Медовая вода
струилась на молящихся из выси.

Меня селяне приняли легко.
Все радовались жизни неустанно,
водили вместе хоровод и хо-
ром пели «Ве́йсэнь моро Мората́но»*.

Босой вовсю отплясывал Овтай,
вокруг него красавица кружилась,
сверкал монетами её пулай**,
из-под сороки*** локоны лучились.

Я танцем всю округу веселил,
дыханьем сердца с песней эрзя слился,
в лесном краю, на краешке земли
впервые быть счастливым научился.

Мокшет

На лукояновском базаре днём
лоточников, что в Истанбуле турок.
У деда, торговавшего углём,
я глиняную выменял фигурку

мордовской де́вушки. Купил блинов,
перловки, позы****, чайного отвара,
колечки медные у кузнецов,
и ковшик в магазине «хозтовары».

Где воды безмятежные струит,
в высоком небе отражаясь, Тёша,
снял голову серебряную и
фигурку и колечки бросил в ковшик.

«Прими, Ведява*****, кашу и блины
и позы выпей, – на розетки рдеста

---

* Вместе песню споём *(эрз.)*. Песня на стихи Маризь Кемаль
** Пояс *(эрз.)*.
*** Головной убор *(эрз.)*.
**** Брага *(моки.)*.
***** Божество жен. рода, хозяйка воды, покровительница плодородия, а также любви, брака и деторождения.

дары сложил, – в тебе до глубины
любви. Сосватай, матушка, невесту!

Ты много знаешь. Твой устойчив бег.
Земля из твоего рождалась лона.
Я с хлебом-солью, кланяюсь тебе,
и ты будь к человеку благосклонна!»

Плеснул из ковшика в реку́. Она,
дары забрав, разволновалась жутко.
Из зарослей сухого тростника
плыла ко мне, покрякивая, утка.

На берег вышла, обернулась вмиг
мокшанкою в наряде подвенечном,
Спросила кротко: «Ты ли мой жених?»
и протянула медное колечко.

Я прикоснуться к па́нару* хотел,
к серьгам звенящим, кружевам чудесным,
но отступила девушка к воде,
и дивным голосом запела песню:

«Тяда юмафта од ваймянязень!**
Ой, парень, как с тобой б не стало худо,
когда моим ты станешь селезнем,
вдруг песни я мокшанские забуду.

Влюбился коли – в жёны забери,
чего ты прежде лезешь целоваться!
Адя мольхтяма минь Саров вири***
молить о разрешении венчаться!»

По травам, над верхушками дерев,
по небу растекалось её пенье.
Я был растроган и, не утерпев,
увлёк с собой красавицу в вербейник.

Мы бурно и безудержно слились,
как два потока, с горных круч гонимых,
и эхом наши крики разнеслись,
нарушив тишину речной долины,

что белой пеленой заволокло.
В траве её одежда остывала.
С волос её стекало молоко,
следы в песке прибрежном размывая.

---

* Основная часть женского костюма, рубашка с ручной вышивкой, сшитая из белого полотна *(моки.)*.

** Не погуби ты мою молодую душеньку (Мокшанские песни. М.Е. Евсевьев, 1897).

*** Пойдём-ка с тобой мы в Саровский лес (Мокшанские песни. М.Е. Евсевьев, 1897).

Потом не помню, словно бы туман
мой разум застилал. Казалось, сила
потусторонняя свела с ума, –
Ведява нас в глубины утащила.

…Мы выдыхаем вечные слова,
исследуем пространство плавниками.
Вокруг коряжник, донная трава,
вода кругом, под нами и над нами.

Мы словно возвратились в отчий дом,
где снова нам в подводном мире рады.
И больше мы не знаем ничего.
И ничего нам больше и не надо.

Кырык марынвлӓ

С рождением страстного четверга
дымами прицепились к небу печи.
Сегодня будем смерть опровергать
и всей семьёй готовиться к когечӹ*.

Из леса принесём чертополох,
украсим красный угол веткой лавра,
чтоб в горнице заулыбался Бог,
и Богородица, и Мланде-ава**.

Накрасим яйца и накроем стол.
Уж Дед Егор по зорьке на погосте
всех сродников покойных обошёл –
поздравил, пригласил на праздник в гости.

Есть пиво, мёд, блины и пироги.
В честь каждого покойничка по свечке
затеплим. Кого Йымы*** помоги,
чтоб в нижнем мире им жилось полегче.

Натопим баню, с предками бегом
влетим в парилку, веником захлещем
друг друга, что быть может дед Егор
к родне назавтра в и́збу переедет.

До ночи будем пить, и танцевать,
и доедать последние запасы,
потоки новой жизни призывать
на землю благодатную Акпарса.

---

* Буквально Великий День, пасха *(марГ.)*. Здесь описан третий, главный день праздника Кугече – четверг (день свечи, праздник мёртвых).

** Женский дух («мать») земли *(марГ.)*.

*** Верховный бог *(марГ.)*.

Олык марий-влак

Когда потомки луговых мари
меня с утра представят Кугу Юмо*,
в льняной рубахе выйду в хвост зари,
ни к западу, ни к северу, ни к югу,

а на восток, где полупьяный карт
двенадцать раз ударит в колотушку.
Задумаюсь и не замечу, как
три раза на шесте всплакнёт кукушка.

Осыплется мирская шелуха.
На нитях опущусь в иное царство.
Меня обнимут травами луга,
как обнимали на земле нечасто.

К ночи с марийской девушкой вдвоём
мы сядем у костра друг против друга,
языческую песню запоём,
навек уйдя из огненного круга.

Наутро у потухшего костра
останется лишь пепел, прах и угли.
На день сороковой в последний раз
приду проститься с близкими супруги.

И буду жить как луговой мари,
в природу дух вплетая прозорливый,
в квасу туманов, в киселе зари,
в нектаре трав, в ухе речных заливов.

2018–2025

* Верховный бог *(луговомар.)*

Проза

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член Национального Союза библиофилов.

Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных журнальных публикаций. Участник антологий «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов. XX–XXI», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: города Нижнего Новгорода в области литературы (трижды), имени Шукшина «Светлые души» (Вологда), Б. Корнилова (Нижний Новгород), финалист премии «Ясная Поляна» (2013) за книгу «Четыре с лишним года. Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой Дельвиг» (2013) за роман «Когиз», премии имени И. Бунина (2012) за сборник стихов «Утки не возвратились». Лауреат XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2023) за книгу «Свинцовая строчка». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

НА РЫНКЕ

Попадая впервые в новые для себя города, стараюсь непременно побывать в двух их знаковых точках: на кладбище и на базаре. Именно тут я для себя определяю, как живут местные. Если в Стамбуле, как и в Москве, вы на центральном базаре ничего любопытного не увидите: всё захвачено приезжими, то в Марракеше и живая рыба прыгает на лотках со льдом, и сотни бочек с солеными оливками выставлены на пробу. Хотя и тут не всё однозначно: отдыхая в Болгарии, в маленьком городке на берегу моря, я обошел все торговые ряды и местный рынок в поисках знаменитых персиков, но везде слышал один ответ: «Турецкие!» А на вопрос: «Где же ваши, болгарские?» – мне дали совет поехать на такси в горы, в любую деревню, и там этого добра не выкупишь! Мы с супругой так и сделали: пятнадцать километров, и в маленькой деревушке, в саду, пронизанном насквозь духом переспелых персиков, мы срывали эти дивные нежные плоды с деревьев, и сок стекал по нашим рукам в изобилии.

Что касается кладбищ, то зайдя на местный погост в городе Горбатове, вы поразитесь огромными старообрядческими надгробьями под чугунными многометровыми шатрами, отлитыми на Урале, а на многих мраморных и гранитных плитах одна и та же фамилия: Смолов, Смоло-

вы, Смоловы. Ну а как же: это прототипы главных героев знаменитого романа Мельникова-Печерского «На горах» Смолокуровых. Они это, они! Да и гуляя по другим кладбищам: по русскому в Париже, или по Новодевичьему, или по Ваганьковскому, или по нашему Бугровскому, невольно погружаешься в родную историю, видя знакомые имена.

Одно время, пока его не заровняли и не переселили в огромный корпус под названием «Торговые ряды», я любил захаживать на наш Средной рынок. Тут на открытых столах под навесами торговки, приехавшие из области, предлагали всё, чем богат наш край. Раз, а то и пару раз в месяц я заходил сюда, чтобы купить молодой телятины, или баранью почку, или свежей зелени. При желании, признавая в вас «своего», могли здесь предложить и астраханскую черную икру, и сурскую стерлядь; знаете, что к царскому столу возили именно сурскую стерлядь (у неё брюхо желтое в отличие от волжской), и ведь довозили живой и до Москвы, и до Питера.

В один из таких заходов на рынок, в майский погожий день, я заметил краем глаза сидящего при входе на пустом деревянном ящике неряшливо одетого человека, который дремал. Не знаю, чем он меня тогда заинтересовал, но я притормозил и внимательно пригляделся. Это был Щепа, Коля Прищепин, мой одноклассник. В школе мы с ним не были особо дружны, и помнил я лучше даже не Николая, а его маму. Вызывающей красоты была женщина: она всегда старательно следила за собой, и внешний вид был её постоянным козырем. Яркие алые губы, подведенные глаза, высокая прическа, высокие каблуки, горделивая походка, летом – небольшая соболья накидка, зимой – длинная каракулевая шуба; отец Николая был директором лесоторговой базы, и мама всем своим прикидом подчеркивала такое его высокое положение.

Класс наш был не особенно дружен, и мы после окончания школы никогда вместе не собирались, не отмечали десятилетие окончания, ни двадцатилетие – кормились сухими сплетнями, встречаясь на улице друг с другом. Откуда-то я знал, что Щепа служит в полиции в звании капитана, но сведения эти были давнишними, пятилетней давности.

Я подошел к сидящему на ящике бедолаге.

– Щепа, это ты? Что-то я тебя сразу-то и не узнал!

Щепа открыл один глаз, потом наполовину приоткрыл второй, это был его персональный номер: разговаривать с одним прищуренным глазом.

– Плохо это, плохо – я вот тебя сразу заметил. Дай на бутылку, пятихатку.

Я вынул из бумажника пятьсот рублей и протянул ему. Он сразу же засунул бумажку куда-то внутрь куртки.

– А ты чего, к нам на рынок? Прикупиться хочешь?

– Да супруга велела баранины купить, харчо сделать хочет.

– Ты всё с Милкой живёшь из параллельного класса?

– Да.

– И пацанов у вас двое: Вовка и Сашка?

– Да. Всё-то ты знаешь.

– Работа у нас такая: всё про всех знать. В мясные ряды пройдёшь, найдёшь там рубщика Артёма, скажешь, что от меня.

Он поудобнее развернулся на своём ящике и снова закрыл глаза.

В крытом павильоне я разыскал рубщика мяса Артема и сказал ему, что я от Щепы. Тот с недоверием посмотрел на меня и спросил:

– А чего тебе надо?

– Полтора килограмма баранины, – ответил я.

– На что?

– Жена харчо будет готовить.

Артем отвернулся, махнул своим огромным топором и, завернув кусок, не взвешивая, протянул его мне.

– А деньги? – спросил я.

– Отдашь Щепе, – мазнул рукой Артём.

– А сколько?

– Он знает сколько, – махнул он ещё раз.

Я погулял по рынку, купил зелени, свежих огурчиков, сухих фруктов, ещё какой-то мелочи и направился на выход. Щепа сидел на своем ящике, открыв глаза и рот, и выслушивал какую-то женщину. Когда я появился на его горизонте, он встал, похлопал её по плечу и сказал:

– Иди, Маша – если они к тебе ещё раз подойдут с этими глупостями, скажи, что Щепа их ждёт. Ну что, затарился? – это он уже обратился ко мне.

– Да, всё в порядке. Артём велел мне расплатиться с тобой.

– Ты уже расплатился! Пойдем ко мне в кабинет.

Немного разволнованный необычной встречей, я почему-то не смог сразу отказаться, и мы вместе прошли в административный корпус. Показалось мне тогда что-то интригующее и в положении Щепы, и в его поведении.

Кабинет у Щепы ненамного отличался своим видом от своего хозяина. На двери, обитой старым потрескавшимся дерматином, был масляной краской нарисован большой знак вопроса, а небольшую комнатку с одним окошком заполняли однотумбовый ученический письменный стол, старинное купеческое кресло перед ним и продавленный диван с валиками. Стояли ещё несколько деревянных ящиков вдоль стены, выполняя роль стульев для гостей, но на них сегодня лежали ватники и рабочие халаты.

Щепа уселся в свое кресло за столом, достал из ящика два стакана и большую квадратную бутылку виски «Джонни Уокер» и спросил:

– Будешь?

– Нет, нет, – отказался я, – меня дома супруга ждёт.

– Тогда я сам.

Он налил в стакан на два пальца желтой жидкости из бутылки и с наслаждением выпил, закрыв глаза. Мы с минуту помолчали, и потом я всё же спросил:

– Щепа, а поделись со мной – как ты докатился до жизни такой? Ты же вроде в органах служил? И на хорошем счету был?

– Не поверишь – анекдотическая история, будешь потом всем говорить, что я опять тебе что-то наврал. Но я всё равно расскажу.

Щепа достал сигареты, и мы оба закурили.

– С год назад наше руководство совместно с челябинскими коллегами разработали операцию по внедрению меня в одну преступную уральскую группировку. Такие операции сложно и разрабатывать, и осуществлять – очень большой риск. И знают о таких операциях два-три человека, не больше – даже генерал не знает. Было сфабриковано небольшое уголовное дело, по которому я в пьяном виде якобы избил своего коллегу, после чего был уволен из органов по компрометирующим обстоятельствам. Пока готовились на меня новые документы и легенда, в Челябинске накрыли интересовавшую всех банду, и стал я там не нужен. Так вот, на беду мою скоропостижно скончался от сер-

дца и мой подполковник, который готовил меня на внедрение. А второй мой куратор был переведен срочно в Москву в центральный аппарат. Я звонил ему пару раз – он, зараза, говорит, что не звони мне, а живи пока так, ещё, может, и пригодишься. Остался я и без погон, и без надежды на будущее. Хорошо, что у наших местных жуликов был я на добром счету – я же всех их знал и общался: называли они меня «правильный мент». Вот Ваган с Мытного рынка меня сюда и определил с месяц назад; сказал: «Сиди тут – дальше решим, что с тобой делать». Ну и пусть думают. Так вот я остался и без погон, и без работы, и без друзей, и без врагов. Нет – врагов-то полно, наверное: а у какого опера с пятнадцатилетним стажем врагов нет? Правда, есть ещё младший брат Сашка, ты его, может, и помнишь. Он в городской прокуратуре служит, его там очень даже уважают. Нужна будет помощь, квакни – я ему позвоню. Он мне никогда не откажет: знает, что я лишнего не попрошу.

Расстались мы со Щепой по-доброму, он проводил меня до ворот рынка. Половине из того, что он рассказал мне, я, конечно, не поверил: было что-то в его поведении и манере общения подозрительно навязчивое. Зачем он со мной делился своими проблемами? Дома я рассказал всю историю Щепы супруге.

– Интересные у тебя одноклассники! – только и ухмыльнулась она.

Однако продолжение у нашей встречи со Щепой было, и продолжение довольно любопытное. Через пару дней пришла моя супруга с работы вся в растрёпанных чувствах – нет, не в слезах, но и губы у неё дрожали, и руки тряслись, когда она уселась на диван. Она поделилась со мной проблемой, которая вдруг на неё свалилась.

Она была хозяйкой довольно известного в городе салона женской красоты: маникюр, педикюр, прически, массажи. Помещение небольшое – пятьсот метров, но в собственности. За последние полгода к ней трижды приходили гонцы с предложением продать помещение – она наотрез отказывалась. И вот заявилась целая бригада с комплексной проверкой: и милиция, и пожарные, и налоговая, и санинспекция. Чего они искали – непонятно, только закруглились очень быстро, выписав ей два штрафа от пожарной инспекции с предписанием закрыть салон до исполнения нарушений; а там было: и сломать какую-то стенку, и сделать дополнительный пожарный выход во двор, и расширить коридор и ещё куча мелочей. Однако, два штрафа по шестьсот тысяч рублей были выдвинуты – таких штрафов и автозаводу не выписывают. Это было предупреждением, как намекнули ей работники органов.

Салон закрыт, советов ждать не от кого, несколько дней мы ломаем головы, но ничего дельного туда не приходит. А в субботу я решил прогуляться до Средного рынка. Щепа сидел на своём ящике при входе. Я подошел к нему – он открыл глаз, приоткрыл второй и произнес свою, видимо, дежурную фразу:

– Дай пятихатку на бутылку.

Я протянул ему купюру, он встал и сунул бумажку в карман.

– Я про все ваши проблемы всё уже знаю – сорока на хвосте принесла. Ты же знаешь, что на базаре самое мощное сарафанное радио. Как же вы так вляпались? И что, даже не догадываетесь – откуда это прилетело конкретно?

– Нет, Щепа, не представляем даже. Ты сам можешь это понять: нарушений пожарной безопасности на миллион двести! Таких штрафов даже крупным компаниям не выписывают. И ликвидировать эти нарушения практически невозможно.

– Ну так это – наезд! Им помещение ваше нужно.

– А что делать, Щепа?

– Надо узнать, кто эти люди. Видимо, люди серьёзные, если смогли такую команду собрать для разовой акции. Узнаем – разрулим. Давай звонить брату моему Сашке – он про всё, что в городе происходит, знает. Может, совет дельный даст, может, и сам впишется – ему многие в этом городе должны. Давай мобильник! А вообще-то я лучше со своего.

Он вынул из-за пазухи айфон последней модели и нажал нужные кнопки.

– Саня! Не разбудил? Ты дома? Помощь мне твоя нужна. Есть на проспекте Гагарина салон красоты, хозяйка Якимова Людмила Ивановна, на неё наезд был три дня назад, комплексная бригада, выписали штрафов на миллион двести. Но на самом деле кому-то это помещение просто нужно. Выясни, кому это надо! И объясни людям, если это возможно, что это наше! Не своё они хотят взять! Так и скажи!

Щепа с минуту внимательно слушал, прищурив глаза, потом нажал кнопку «отбой» на своем аппарате.

– Ну что? – спросил я его без надежды.

– Что, что! Пусть твоя супруга идет в понедельник на работу, салон не открывает, а ждёт. Они придут к ней во вторник, а, может, в среду, а там посмотрим. Так, может, всё же теперь пойдем, выпьем?

Я не смог отказать ему на этот раз.

Пришли в среду. Пришел заместитель начальника областного отдела МЧС, один, прошел в кабинет супруги, сел за её стол, молча и старательно разорвал все документы по проверке, акты, штрафы, предписания. Потом положил на стол новое предписание на штраф в сумме пять тысяч рублей за курение в неположенном месте. Он долго и сердито смотрел на мою Милу, как она мне рассказывала уже дома, после чего всё так же молча встал и ушел.

Что теперь надо было делать мне, я даже не понимал: конечно, я обязан был пойти к Щепе, поблагодарить его, но как? Как я должен его благодарить?

Наутро вместо работы я пошел на Средной рынок. На ящике у входа Щепы не было. Я прошел в административный корпус: дверь в кабинет моего благодетеля была открыта, но хозяина там не было. Не хватало в кабинете и реликтового купеческого кресла, на котором он сидел в последний мой заход. Оставался Артем, рубщик мяса, к которому я обращался в первый раз по рекомендации Щепы.

– Нет его, и не будет, – сердито, глядя исподлобья, объявил мне Артём, – и не ищи его, если не хочешь проблем.

Когда я встречу теперь своего одноклассника в следующий раз – не знаю, а хочется.

В СТАРЫХ ДВОРАХ

1

Это случилось в середине девяностых, когда все мы ежедневно сталкивались с чем-то необычным и новым: старые законы не работали, а новые правила каждый выдумывал сам для себя и следовал им. Единственной реальной властью в городе были бандитские группировки, и стрельба на улицах не была какой-то редкостью. Миллионные состояния создавались ежедневно и также ежедневно они разваливались. Цены на рынке и в магазинах существовали только в условных единицах, а что это такое – никто не понимал. В обменниках принимались валюты десятков стран мира, и курс их менялся по нескольку раз в день.

Тёплым летним утром выходного дня Ивана Ильича Медянова разбудил телефонный звонок. Низкий женский голос с чуть заметной хрипотцой представился:

– С добрым утром, Иван Ильич! Вас беспокоит Лиля Ямпольская, я представитель регионального отделения фонда Сороса, и мне бы хотелось с вами пообщаться. Не смогли бы вы со мной встретиться и уделить с десяток минут?

– Да, конечно, смогу, – ответил Иван Ильич, – а зачем?

– О-о, это – только при встрече. Когда вам удобно?

– Давайте сегодня после обеда. Куда мне подъехать?

– Нет, нет, нет – я сама к вам подъеду, если это удобно. Я знаю, где вы живёте, я училась у вашего папы.

– Конечно, удобно – подъезжайте.

– Удобно, если через час?

– Да-да, поезжайте, я буду ждать.

Едва положив трубку, Иван Ильич сообразил, что напрасно он так быстро и опрометчиво согласился на эту встречу: и не то чтобы у него были какие-то серьёзные планы на день, и не было у него какого-то предубеждения против упомянутого фонда Сороса. Просто, сев на неубранную ещё постель, он огляделся и понял, что его огромная четырёхкомнатная квартира настолько захламлена, что он никогда не сможет в ней прибраться настолько прилично, чтобы принимать гостей, а тем более даму.

Когда-то он жил в этой квартире с папой, мамой, сестрой и бабушкой, но к сорока годам остался один; даже жена, бывшая жена, промучившись от его педантичности пару лет, уехала от него в Москву с мелким театральным деятелем и гордится теперь тем, что живёт в какой-то халупе рядом с Арбатом, и работает дежурным администратором в театре Вахтангова.

Тюлевые занавески и шторы не снимались и были не стираны уже лет десять. Тоже можно было сказать и о протёртых чехлах на креслах и стульях. Хотя эти столетние дубовые стулья и мощный дубовый

обеденный стол могли дать фору по своей надёжности современным творениям мебельных мастеров. Женщине, которая приходила к Ивану Ильичу раз в неделю убираться, подтирать пол, мыть посуду, раковину и унитаз, было строго-настрого запрещено трогать вазы, тарелочки и фотографии, висевшие на стенах, старинные бронзовые часы с фигурой Вольтера, которые давно уже не ходили, и потому зарастало всё это уверенно пылью.

Ивану Ильичу нравилась его квартира, это был его мир, его жизнь; он недавно узнал о таком новом и модном стиле жизни, как «олдмани», и присвоил его. Он и сам уже привык одеваться в магазинах секонд-хенд, в которых всегда можно было приобрести очень качественные, просто прекрасные носильные вещи, изготовленные в самых престижных домах моделей Европы. Да, и любые мужские аксессуары, которыми приходилось ежедневно пользоваться, можно было приобрести в этих магазинах: зонт фирмы «Оксфорд Блэк», авторучку «Паркер», зажигалку «Ронсон». В школе, где Иван Ильич преподавал математику, отмечали его необычную тягу к элегантности и простоте, да и сам он был всегда и со всеми предельно вежлив и предупредителен – и с учениками, и с педагогами.

Когда умерла бабушка, а потом почти сразу и мама, проблем с наследованием никаких не возникло: авторитарность папы и его надёжность были гарантией существования и Ивана Ильича и его сестры Ирины, которая к тому времени уже вышла замуж и жила отдельно. А вот после смерти папы, профессора университета Ильи Александровича, пришлось всё делить. Но решение было найдено легко: автомобиль «Волга» и все деньги на счету в сберкассе переходили к Ирине, а квартира со всем содержимым Ивану Ильичу. Ирина выпросила только портрет мамы, написанный каким-то модным московским художником много лет назад.

Функционально когда-то все комнаты в квартире использовались очень правильно и конкретно, но теперь Иван Ильич приспособил комнату бабушки и мамы под кладовку, и она была захламлена без разбору, а в комнату папы он заходил от силы раз в полгода, и то без нужды, а просто для приличия, проверить – всё ли на месте и посидеть в папином кресле. Сам он существовал в двух комнатах: в своей спальне и в гостиной, где по вечерам смотрел телевизор и пил чай, а очень редко, ну очень редко принимал гостей. Такой образ жизни создавал в сознании Ивана Ильича иллюзию, что он по-прежнему живёт в большой своей семье; просто кто-то куда-то ненадолго вышел и скоро вернётся.

2

Через час Иван Ильич встречал гостей: в дверях стояли две дамы, приблизительно его возраста, а, может, и чуть постарше. Одеты они были довольно свободно для их возраста, если даже не легкомысленно: джинсы, кроссовки, беленькие футболки. Хотя по фактуре они сильно отличались друг от друга: одна была рослая, с короткой стрижкой «под мальчика», а вторая больше напоминала плюшку с длинными русыми волосами. Обе они почти согласованно протянули руки Ивану Ильичу, представляясь:

– Я – Лиля Ямпольская, а это наша сотрудница Мина Цвайнер, – заявила та, что повыше, черненькая.

– Проходите, проходите в дом, там познакомимся, – ответил Иван Ильич, проводя гостей в зал.

Пройдя в большую комнату, дамы повели себя не то чтобы бесцеремонно, но довольно раскованно: та, что повыше, черненькая, которая представилась как Ямпольская, стала разглядывать фотографии на стенах, а маленькая, пухленькая Мина Цвайнер сразу уселась на диван.

– Вы будете пить чай? – спросил Иван Ильич.

– Да-да, будем, – откликнулась радостно Мина, – у нас даже к чаю есть сопровождение, небольшой фруктовый рулетик.

Она встала, вынула из своей сумки коробку и положила её на стол.

– А ещё вот это – ознакомительные документы для вас.

Она достала тоненькую папку и положила её рядом.

– Тогда вы тут осваивайтесь, а я пойду на кухню, поставлю чайник. У меня для вас специально сегодня есть замечательный шен пуэр – друзья из Китая привезли. Такие чаи несколько лет выдерживают под прессом в земле. Вы знаете, что настоящий аромат чай приобретает в возрасте двадцати-тридцати лет? Хотя, мы с вами таких чаёв не попьем. Это как настоящие выдержанные вина. Ну, я сейчас приготовлю, а потом проинформирую вас, как надо пить чай.

Иван Ильич быстро вернулся с кухни и стал доставать из буфета старинные бабушкины чашки, блюдечки, серебряные ложечки, которые всегда береглись для таких случаев, а через пятнадцать минут все уже сидели за столом. Что-то у него сработало в голове, и ему захотелось козырнуть своей эрудицией перед этими незнакомыми дамами, пока ещё не понимая, как это сделать.

– У вас очень необычная квартира, – заметила Мина, – наверное, ещё и ваши бабушка с дедушкой здесь жили? И вот эти чашечки-бокальчики кузнецовские тоже, наверное, бабушкины?

– Да, бабушкины. Бабушка очень требовательно относилась к процессу чаепития: она раз пять или шесть в день пила чай, и это было для неё чем-то вроде медитации или релаксации, выражаясь современным языком. При том она считала, что в чаепитии главное не горячесть, а чаевитость – так она выражалась.

– А что же вы не порезали рулетик?

– По поводу рулетика я вам тоже расскажу маленькую историю. Есть у меня хороший товарищ Миша Скульский, он хозяин «Галереи два дробь два», что на площади Минина. Так вот, год назад они там с друзьями отмечали тридцать первого декабря наступающий Новый год, а когда второго января пришли на работу, то увидели, что всё, что оставалось на столе съедобного и неубранным: сыр, хлеб, колбаса и даже солёные огурцы, – сожрали крысы. И только рулетик стоял посередине нетронутым и сиял своей свежестью. Как фарфоровое красивое украшение. Пусть и наш с вами рулетик будет украшением нашего стола. Хотя я его сейчас, конечно, порежу, и пусть он стоит, как муляж. Ведь стоят же у некоторых в вазах пластмассовые и тряпичные цветы – а я этого не признаю!

– Иван Ильич, – вставила, а точнее будет сказать: сумела вставить Мина.

– Да, да, я помню. И не подумайте, что я вас с кем-то перепутал и пытаюсь охмурить. Я помню, что вы по делу ко мне. Давайте к делу.

– Иван Ильич, – перейдя на серьёзный тон, начала Лиля, – наш фонд Сороса много занимается благотворительностью: вы знаете, что за счет фонда издаются в нашей стране учебники, учителя и ученые получают гранты на исследовательские работы, многие университеты и средние школы существуют только за счет финансирования фондом. Одной

из печальных проблем у нас в стране стало повальное пренебрежение властей к научному миру, а как следствие, и к незаконченным научным исследованиям, которые большие, известные, талантливые ученые не смогли довести до конца. Вы наверняка знаете о существовании индекса Хирша?

– Нет, первый раз слышу.

– Поясню коротко. Индекс Хирша составляется по количеству цитирований работ того или иного ученого в специальной литературе. Чем чаще его цитируют и ссылаются на него, тем важнее считаются исследования и научные изыскания автора. Двадцать лет прошло с тех пор, как ушел ваш папа, профессор Илья Александрович Медянов, а его индекс Хирша по-прежнему высок, к его научным работам по-прежнему обращаются, и они до сих пор актуальны и востребованы. Это показатель значимости работ Ильи Александровича.

– Не знаю. Я мало интересовался работами своего папы. Да и его жизнью тоже.

– А вот мы поинтересовались. Он дважды получал государственные премии, а это очень высоко! Первый раз – не знаем, за что, а вот второй – за то, что он рассчитал всю автоматику и телемеханику для атомохода «Ленин». Без его труда «Ленин» бы никуда не поплыл.

– Да, мы с сестрой догадались об этом, когда после смерти папы обнаружили наградные документы и орден Ленина. Он получал и Ленинскую премию, и Государственную. Вообще-то это было большим секретом для всех окружающих, его премии и его орден Ленина.

– Так я продолжу. В городском архиве хранятся отчеты обкома, горкома и пожарной инспекции, а вот бумаги, документы, письма, исследования всех наших провинциальных писателей, художников, ученых идут в помойку и в макулатуру. Я вам «алаверды» тоже расскажу небольшую любопытную историю в виде комментария к нашей встрече. Несколько лет назад наследники профессора Балики передали нашей областной библиотеке в дар его уникальное собрание книг, около трёх тысяч томов. Там были книги с автографами Некрасова, Тургенева, Ремизова, Пастернака. Думаете, им кто-нибудь сказал спасибо? Нет! Их ругали все сотрудники библиотеки: они задали им дополнительную работу, а зарплату никто не прибавил за обработку всего этого огромного материала. Так вот, половину этих книг изгрызли крысы в подвале, пока искали для них специальное помещение. Сейчас в Серпухове, под Москвой, фондом Сороса создается специальный архив, в котором будут храниться документы и бумаги наших великих ученых и деятелей культуры. Мы хотели просить вас по возможность просмотреть архивы вашего папы, если они ещё целы. Может, что-то вам не нужно. Конечно, на личные бумаги, фотографии и альбомы – на всё, что имеет семейную ценность, мы не претендуем, но незаконченные работы, черновики статей, письма и любые другие бумаги… Ваш папа был одним из любимых учеников академика Горелика. Это важный момент в его жизни. На прошлой неделе мы купили архив профессора Николая Николаевича Кабачинского. Эти шесть папок с черновиками его разработок лежали в саду, в будке, где хранились ведра с лопатами. И ведь не промокли, не сгнили. Иван Ильич, вот тут в пакете, который принесла Мина, есть несколько буклетов о работе нашего фонда, и небольшой конверт с нашими визитками и стодолларовой купюрой, это – аванс. Не отказывайтесь, даже если вы ничего для нас не сделаете. Мы же отняли ваше внимание. А теперь мы раскланяемся. Спасибо за чай и уделённое время.

3

Иван Ильич, проводив неожиданных и незваных гостей, ещё минут пятнадцать сидел за столом, допивая холодный чай, а потом решил позвонить сестре.

– Ирка, привет! У меня сейчас были посланцы из фонда Сороса. Две дамы. Они просят, чтобы я покопался в папкиных старых бумагах и продал им все его бумаги, письма и черновики работ. Как ты думаешь: надо это делать или нет?

– Ты что, дурак, что ли? Продать! Или тебе денег не хватает? У тебя там, в бабушкиной шкатулке, золотых царских червонцев столько, что хватит тебе на всю жизнь, даже если ты жить собираешься до двухсот лет. Ты что, не знаешь, что такое фонд Сороса? Это же разрушители: их цель развалить всё, что можно. Они во всех странах мира, куда залезают, уничтожают и образование, и культуру, и науку, и память народную. Кстати, это они проплачивают и переманивают работать за границу всех наших талантливых математиков и физиков. А скажи мне на милость – кто у тебя был? Как фамилии этих двух дам, что заходили к тебе?

– Лиля Ямпольская и Мина Цвайнер.

– Вот-вот! Тебе ни о чем не говорят их фамилии?

– Нет. А что они должны говорить?

– Дурак ты, братец! Вот что я тебе скажу! Ты спросил моего мнения – я ответила, а поступай как знаешь и больше мне по этому поводу не звони. Просто запомни, что наш папка – гений, и торговать его бумагами – грех. Когда-нибудь они, его бумаги, сами найдут своё место в этом мире, а мы не вправе решать их судьбу. То, что папка совершил одну ошибку в своей жизни, это – его грех. То, что от этого пострадала вся наша семья, это – наша семейная беда. А то, что собираешься сделать ты, ни в какие рамки не лезет.

– Что ты кричишь на меня? Я же советуюсь. Спасибо за совет.

Иван Ильич положил трубку и пошел в папину комнату. Разговор с сестрой, пусть и на повышенных томах, порадовал его и поднял настроение, укрепив в выбранном решении.

В комнате папы были задёрнуты шторы на окнах, и было сумрачно, несмотря на яркий солнечный день. Иван Ильич включил верхний свет и обе настольные лампы, стоявшие на двух рабочих письменных столах. Почему-то в комнате было всё аккуратно прибрано, не видно было пыли и не было какой-то той захламлённости, которая раньше резала ему глаза. Видимо, эта женщина Лена, которую ему сосватала сестра Ирка как уборщицу, всё же заглядывала и в папину комнату – иначе как же объяснить эту чистоту и порядок.

Один небольшой письменный стол с печатной машинкой и стопкой чистых листов уже пожелтевшей бумаги стоял у окна, перед ним – удобное высокое кресло, а второй, огромный, размещался вдоль стены и служил как верстак для технического рукоделия; на нём не было ничего, кроме лампы, небольшой чертёжной доски и зачехлённой готовальни. Вдоль другой стены стоял диван и небольшой шкаф для одежды. Был ещё открытый стеллаж – небольшой, узкий, но до самого потолка; он был полностью забит книгами, папками и альбомами с фотографиями.

Вот эти пять альбомов с фотографиями, в которых было запечатлено всё его сладкое детство, и заманили сегодня Ивана Ильича в комнату

отца. Всё, что умел делать профессор Медянов, он делал отлично, а потому и фотографировал он прекрасно.

В двадцатые и начале тридцатых годов в городе шло повальное кооперативное жилищное строительство. Целые участки пустырей на окраинах отдавались под застройку. И вырастали кварталы, которые на многие годы сохраняли за собой имена собственные: «Красный просвещенец», «Дома трестов», «Речники», «Дома политкаторжан». Каждый такой застроенный квартал сохранял за собой некоторую индивидуальность, связанную с профессиональной деятельностью застройщиков. Но ещё существовала и некоторая (если можно так выразиться) усредненная повышенная элитарность того сообщества, которое нельзя было назвать коллективом, но которое всё же образовывалось внутри этих жилых кварталов. Минуло три полноценных человеческих поколения, и мало осталось в этих домах потомков первых их жителей и строителей, а память о полноценном радостном детстве Ивана Ильича сохранилась благодаря этим папкиным альбомам с фотографиями.

Когда-то посреди двора, заросшего сиренью, жасминами и вишнями, была хорошая волейбольная площадка, и детский уголок с песочницей и барабаном был, и разметка для игры в городки была, и беседка, в которой можно было укрыться от дождя.

Интересный момент: во дворе у четырех человек были собственные автомобили. У Бубанова – «Москвич», он был лауреатом Сталинской премии, у дяди Саши Мальцева – тоже «Москвич», он был главным инженером крупного завода и лауреатом Ленинской премии, у Соколова – «Победа», он был в годы войны летчиком, и у профессора Медянова – сначала «Москвич», потом «Волга».

В альбомах было огромное количество фото, связанных с различными спортивными успехами и забавами, проводившимися во дворе: вот дядя Лёля крутит солнышко на турнике, а вот Толик Мальцев делает стойку на одной руке, тетя Тася и тётя Лена играют в бадминтон, а площадка размечена и сетка натянута по всем правилам. Иван Ильич хорошо помнил, как папа из очередной командировки привёз большую коробку с этой игрой – там были и ракетки, и сетка, и воланы, настоящие воланы с перьями, а не пластмассовые пробки. Переводя инструкцию, написанную на английском языке, он процитировал, подняв палец: «Разрешается ракеткой защищать лицо от летящего волана».

А сколько знакомых лиц в этих альбомах, знакомых, но уже позабытых и ушедших навсегда. Вот академик Григорий Григорьевич Девятых, а бабушка звала его Гришкой; когда он защитил докторскую диссертацию, бабушка подарила ему дедову энциклопедию Брокгауза и Эфрона в 86-ти томах со словами: «Гришка самый умный из вас, ему пригодится!»

Вообще портретных фотографий в альбомах довольно много, но все они выполнены не формально, а с изюминкой, изобретательно. Дядя Шура из соседнего дома, заведующий кафедрой на биофаке университета, запечатлён в майке и с курицей в обнимку, он хохочет. А дома в кабинете у него (а когда-то это был и кабинет его отца) висит огромная картина в золоченой потемневшей раме, на которой изображен океанский пароход «Ниагара», попавший в девятибалльный шторм. Эта картина – память о его отце, который в самом начале двадцатого века участвовал в прокладке трансатлантического телеграфного кабеля из Англии в Канаду. А ещё интересный момент из его жизни: в шестнадцатом году он поехал по заказу пароходства братьев Каменских заку-

пать двигатели в США для Сормовского завода, а вернулся с двигателями уже в советскую Россию в восемнадцатом.

Ростислав Евгеньевич Алексеев в тельняшке, капитанской фуражке и с мячом в руках. Он учился в институте вместе с мамой, и звали они друг друга в глаза очень нежно Тома и Славик, а за глаза – Томка и Славка. А вот папа никогда не доходил до амикошонства: Ростислав, и всё! Ростислав Евгеньевич часто в те годы бывал в их доме да и коллективных мероприятий не чурался. Мог и сам он организовать поездку на своем катере на волжские пески покупаться. На похоронах Ильи Александровича, куда Алексеев приехал на своей «Чайке», он сказал, что корабли на подводных крыльях ещё долго бы не взлетели, если бы не профессор Медянов. Иван Ильич потом уже узнал, что первые модели Алексеева не выходили на крыло, потому что профиль крыла выполнялся как для самолёта. И только Илья Александрович указал на это Алексееву, на то, что законы аэродинамики отличаются от законов гидродинамики, и рассчитал ему профиль подводного крыла.

Дядя Лёля один из первых в стране получил орден Октябрьской Революции, попал в первый приказ о награждении, и номер у него на ордене двузначный. А вот на фото он совсем несерьёзный: и рот открыт, и глаза скошены к носу – артистом Филипповым из «Карнавальной ночи» прикидывается.

Поездки за грибами в Осинки и в Тарасиху, походы на лыжах на Щелоковский хутор большими компаниями, охота, рыбалка, танцы под патефон во дворе – всё было зафиксировано в пяти папиных альбомах. А сколько было домашних праздников: вот пятилетний Илья в костюме Пьеро читает стихи под ёлкой. Ёлки тогда организовывались семьями, в которых были дети пяти-семи лет, приглашались их друзья, приходил Дед Мороз, дарил всем подарки: в пакетах были обязательные мандарины, яблоки, шоколадки, конфеты, печенье, а дети читали стихи, стоя под ёлкой на стуле.

Новый год тоже отмечали большими компаниями, и тоже все эти застолья были отмечены в папиных альбомах: и столы, и танцы, и объятья друзей.

А вот и последний альбом, и последняя фотография: на ней красивая женщина вполоборота, кокетливо улыбаясь, смотрит в объектив. Галина Полянская – Иван Ильич помнит её, к тому моменту Полянские только-только появились в компании родителей, её муж тоже был профессором университета. Иван Ильич помнит и их сыновей: Сашка был его ровесником, а Максим лет на пять помладше. Иван Ильич почему-то помнит и тот праздник, ту встречу Нового года: папа танцует с Галиной, что-то ей шепчет, а она хохочет, закидывая голову. Хотя Ивану Ильичу и было-то всего пятнадцать, но он уже мог оценить женскую красоту и женское кокетство. Может, это потому, что он уже в тот момент подсознательно ревновал.

Беда случилась через полгода: на ночной загородной трассе Илью Александровича и Галину сбил грузовик, они стояли на проезжей части, рядом с «Волгой». Галину Полянскую прямиком отвезли в морг, а Илья Александрович на два месяца отправился в больницу. И был суд, и были следственные действия, и водителя грузовика посадили, но всё открылось, и прошелестело противное и презрительное для той поры слово – любовники!

Все подруги, бабушка, сестра Ирка требовали, чтобы мама развелась, но у той открылась невероятная стойкость и жёсткость, и она всем

отрезала: «Отстаньте все от меня, я сама разберусь! А детям нужен отец!» Сестра Ирина в тот момент просто ушла из дома жить к своему ухажеру, с которым почти сразу они и зарегистрировались без всяких застолий и свадьбы. Бабушка, правда, сделала им свой персональный подарок, купив обручальные кольца.

За два месяца, что Илья Александрович пробыл в больнице, мама самостоятельно сумела сделать генеральную перестановку в доме. Мама перебралась к бабушке, родительская спальня превратилась в комнату Ивана Ильича, а четвертую комнату приготовили для папы, поставив туда его рабочий стол и диван.

Илью Александровича собирали по частям: переломанные лицевые кости плохо срослись, теперь он с трудом говорил, и постоянно у него текли слюни, и ходить он теперь мог только с клюшкой. Дети, и Иван Ильич, и Ирина, через день ходили к отцу – так потребовала мама: «Если вы любите меня, то сделайте это ради меня. Если вам будет так легче, то ходите как к чужому, без общения, но ходите».

Когда Илью Александровича привезли из больницы домой, мама пришла к нему в его комнату, села на стул, помолчала и сказала:

– Живи тут. Это твой дом. Надеюсь, баб тебе больше не надо будет, а прокормить я тебя прокормлю.

Илья Александрович восстанавливался в физическом плане очень хорошо: через месяц он уже выходил на улицу, а в сентябре начал читать лекции в университете. Но что-то другое поломалось и восстановиться уже не могло. Кардинально изменилось отношение к Илье Александровичу сотрудников и коллег по работе: они прекрасно знали его Тамару, она также работала в университете; во дворе многие перестали с ним здороваться, а не то что общаться. То же произошло и с детьми. Он быстро понял, что причина не в его проступке, и не в том, что этим проступком он оскорбил Тамару, а причина в том, что Тамара Медянова важнее для людей, чем он, профессор Медянов без Тамары.

Бабушка умерла под Новый год. Похоронили.

А через полгода умерла мама – не проснулась.

Иван Ильич ещё долго сидел в большой комнате за обеденным столом, разложив на нём фотографии из большого пакета, не вошедшие в альбомы. Вот он в деревянной коляске с деревянными колесиками – ему год! Вот он с мамой сидит в траве, а рядом две корзинки полные рыжиков. А на последней: он со спиннингом в руке, а в другой – щука; на фото ему четырнадцать, а дальше детство кончилось.

Он взял телефонную трубку:

– Ирка, а как мне вернуть этим агентессам их сто долларов? Научи меня, придумай.

– А чего тут придумывать – тоже мне проблема! У папки в столе, в нижнем ящике, лежат отдельные оттиски разных статей из журнала «Радиофизика», которые ему давали на отзыв или на корректуру. Возьми любую эту брошюру, в которой он стоит, как соавтор, засунь туда купюру, позвони им и отдай. Скажи, что больше ничего не нашел, и только не пускай их в дом и не пои их чаем, не кокетничай – они же как цыганки.

ПОСЛЕ СЛУЖБЫ

Иван Алексеевич был человеком невоцерковленным, но православным и крещеным, да ещё крещёным дважды; а так получилось, что в детстве, ещё в советские времена, его тайно крестила бабка, а которая – неизвестно. Одна из них, баба Вера, была старообрядкой, а вторая, баба Анюта, хотя и была поповной, то есть дочерью священника, но с двадцать третьего года она ещё и членом ВКП (б) была, дружила с Надеждой Крупской; ну, дружила не дружила, а в переписке точно долгое время состояла. Так что папа Ивана Алексеевича как-то раз говорил ему, что он крещёный, но не уточнял, как это случилось, потому что был сам он партийным чиновником достаточно высокого градуса, а такие мероприятия там не одобрялись, мягко говоря. Вот и пришлось Ивану Алексеевичу в начале девяностых креститься сознательным образом ещё раз: батюшка в храме сказал, что это разумное решение.

А невоцерковленным он был, потому что ни одной молитвы на память не помнил, и правил церковных не знал, и в храме появлялся три-четыре раза в год, не чаще: на Троицу, на Пасху да на отпевание чьё-нибудь. Хотя, проезжая на своей машине по трассе и видя какой-нибудь незнакомый сельский храм, лоб он всегда крестил.

В начале девяностых возрождение православной церкви шло бурно и активно, Иван Алексеевич даже принял посильное участие в строительстве небольшой часовни на территории кладбища Марьина Роща, которая после освящения превратилась в храм Всех Святых.

Случилось это после страшной трагедии: десять ребят из Нижегородского СОБРа были расстреляны на площади Минутка в Грозном.

Среди погибших оказался и сосед Ивана Алексеевича по дому Сашка. Иван Алексеевич хорошо его знал – красивый парень, рослый, вежливый, отзывчивый. И маму его, Веру Александровну, он тоже хорошо знал – что-то аристократичное было в её внешности, но и приветливое в то же время: всегда, когда встретится во дворе, остановится, поинтересуется здоровьем, пожелает удачи. Только вот после беды, превратилась она моментально в старушку да ещё и обабилась как-то, неухоженность в ней какая-то появилась. Но вот стержень внутренний, металлический, который держит всех русских женщин в трудную минуту, сохранился.

Если мемориал в память погибших ребят и был очень скоро установлен по инициативе городских властей прямо при входе на кладбище, и выглядел он очень достойно, то церковки или хотя бы маленькой часовенки, где можно было бы лоб перекрестить и свечку поставить, не хватало. Вот тут Вера Александровна проявила недюжинные способности и энергию: обила она пороги и городских и областных вла-

стей, чуть ли не с шапкой обошла всех банкиров и директоров заводов, добилась разрешения у митрополита, договорилась с архитектором о проекте храма. Иван Алексеевич по мелочам помогал ей: готовил какие-то письма, договаривался с художниками. И храм Всех Святых прямо вырос из под земли напротив мемориала. На открытии, после освящения, Иван Алексеевич презентовал в храм образ «Невесты Неневестной» «Умиление»; выклянчил он икону ту у одного известного городского коллекционера для такого дела.

А потом и самого его включили в приходской совет храма; совет образовался мощный и работоспособный – все его члены оказались людьми деятельными и авторитетными; вопросы, касающиеся обустройства храма, и проблемы других членов создавшейся общины решались быстро и положительно. Только очень скоро перевел митрополит настоятеля храма, отца Сергия, служить в другой приход, и развалился сам по себе совет. Неправильно это – тасовать священников, как колоду карт, и перебрасывать их с прихода на приход: община только-только сформируется, а батюшки уже нет! А православная церковная община – структура важная и сильная, это почти как семья; и глава этой семьи – батюшка.

Очень расстроился тогда Иван Алексеевич. Отец Сергий по привычке продолжал присылать ему на работу поздравительные открытки со Светлой Пасхой, с Рождеством, с другими праздниками. Иван Алексеевич пару раз съездил в тот храм, где теперь служил его батюшка, но что-то не срослось у него – так он и отвалился от церкви. Видимо, у каждого свой путь.

Правда, остался в памяти Ивана Алексеевича один эпизод, связанный с этой недолгой дружбой с храмом, волновавший его некоторое время, но всё же почти позабытый с годами. Клирос в храме был небольшой: человек на пять или шесть. Хор церковный был подобран удачно, стройный был хор. И пела в том церковном хоре девушка лет шестнадцати-семнадцати, звали её Таней. Интересная была девушка: рослая, стройная, с толстой русой косой, кожа белая, сама вся изнутри светится, словно молоком налита, ресницы и брови черные. Взгляд всегда опущен, и только, когда она замечала Ивана Алексеевича, откровенно и широко улыбнется ему и снова глаза долу.

Пару, а может, тройку раз, уже после службы, Таня как бы случайно, ненароком, оказывалась рядом с Иваном Алексеевичем; то плечом его заденет, а то рукой руки коснется.

– Что, Таня? Что-то спросить хотела?

– Нет, Иван Алексеевич, ничего, – улыбнётся и отойдет.

Как-то раз на Троицу после утренней литургии Таня сама подошла к Ивану Алексеевичу и, чуть смущаясь, предложила:

– Иван Алексеевич, какая чудесная погода сегодня, давайте прогуляемся немного – я хочу поделиться с вами.

– Давай прогуляемся, – ответил Иван Алексеевич.

Таня смело взяла его под руку, и они пошли по главной кладбищенской аллее. Уже в тот момент, когда Таня брала его под руку, Ивана Алексеевича словно обожгло: он вдруг понял, что не всё тут так просто, но было поздно. А когда они прошли метров пятьдесят, Таня остановилась, обняла Ивана Алексеевича за шею и стала его целовать страстно, взахлеб и в то же время неумело. Пахнуло на него подсыхающим свежескошенным сеном. Иван Алексеевич от неожиданности отстранился:

– Таня, что ты?

А та неожиданно оттолкнула его со словами:

– Люблю я вас!

А ещё ударила его по груди обоими кулачками, слёзы ручьём, и побежала по аллее в глубину кладбища.

Прошло много лет.

Иван Алексеевич не был фанатичным и азартным охотником, который спит и видит, как бы ему поехать и пострелять во что ни попадя, но отказать себе в радости пару раз в год съездить в лес и пообщаться с природой он не мог. Обычно это случалось в конце апреля на вальдшнепиную тягу и в конце августа, когда утиные выводки поднимались на крыло. Был у него хороший товарищ Саша, главный врач центральной районной больницы в одном из северных районов области, который вот уже лет двадцать ждал его на такие мероприятия регулярно.

В тот год весна выдалась ранняя: черёмуха зацвела в конце апреля. На первой же вечерней зо́ре Иван Алексеевич за полчаса стрелял больше десяти раз – вальдшнеп тянул словно с ума сошел. Вечером сидели за столом, вели беседы:

– А ты, Иван, не забыл, что завтра Пасха?

– Да, конечно, помню.

– Пойдешь с нами в храм?

– Пойду, конечно.

– А хочешь, давай съездим во Владимирское? Там служит отец Василий – интересная личность. Наши женщины из всех соседних деревень к нему очень серьёзно прислушиваются, по любой мелочи советуются с ним. А он очень уж строг: увидит, что какая-нибудь на службу в домашнем идёт, обязательно замечание сделает: «Ты что как в огород? В храм идти – как на праздник нарядиться надо!» Суровый он, как старообрядец, что ли.

– В смысле? А чего в нём любопытного?

– В том смысле, что в советское время преподавал он в строительном институте и занимался карате – у него черный пояс был, и чуть ли не чемпионом страны он когда-то был. А потом вот ушел в священники и служить стал. Сначала он в Староярмарочном соборе служил: восстановил его и служил. Но митрополит перебросил его восстанавливать Строгановскую церковь, что на Рождественской. Восстановил он и её. Так после этого он ещё и церковь Жён-Мироносиц, что на Добролюбова, восстанавливал. После чего упал на колени перед митрополитом и взмолился: «Владыко, я служить хочу, молиться хочу, надоело мне кирпичи таскать да цемент месить – отправь меня хоть в Якутию, только чтобы служить!» Вот и направили его к нам во Владимирское – уже лет десять как.

До Владимирского двадцать пять километров, домчались за полчаса по ночной трассе. Погода стояла тёплая, ни ветеринки, звезды с кулак – так они ещё спустились как-то уж больно низко. Успели к концу службы, крестный ход вместе со всеми прошли, и свечки даже не затухли. Батюшка приветствовал прихожан многажды: «Христос Воскресе!» Народ отвечал.

Иван Алексеевич обошел храм и встал в темноте, чтобы полюбоваться на звёздное небо, звёзды перемигивались. Вдруг он почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. Он пригляделся: рядом с ним стояла и улыбалась ему незнакомая женщина лет тридцати пяти. Она сделала

шаг к нему навстречу и взяла за руку. Пахнуло свежескошенным сеном и летом.

– Что, Иван Алексеевич, неожиданная встреча? Не узнали?

– Да, неожиданная, Танечка! Узнал. А что ты тут делаешь? Живёшь рядом?

– Да, тут, во Владимирском, и живу.

Иван Алексеевич пожал ей руку и даже обнял её за талию – и словно обожгло его, жаром весь наполнился. Он почувствовал, как податлива была и талия Тани, и её спина. И вдруг она вся напряглась.

– Да, что-то передумала я, – промолвила Таня, отстраняясь, – сначала захотелось, а потом перехотелось. Хотела вас на пасху и на кулич в дом пригласить, да только ничего у нас с вами не получится, Иван Алексеевич. Обижена по-прежнему я на вас. Тогда ведь я очень сильно болела после нашей встречи: мамка меня неделю горячим молоком отпаивала. Не простила я вас и не смогу простить. Прощайте.

Таня развернулась и буквально растворилась в темноте апрельской ночи.

Николай АЛЕКСАНДРОВ

Родился в 1955 году в г. Болотное Новосибирской области. Окончил Литинститут им. А.М. Горького. Работал распорядителем праздничного зала, официантом, тренером, завучем школы олимпийского резерва, председателем горспорткомитета, помощником машиниста электровоза и тепловоза, токарем, оператором станков с ЧПУ, директором коммерческой фирмы, директором рыбоводческого хозяйства, заместителем главного редактора журнала «Сибирская горница». С 2003 года возглавляет издательский дом «Историческое наследие Сибири».

Автор ряда книг прозы и публицистики, печатался в литературных журналах и коллективных сборниках. Член Союза писателей России.

Живет в рабочем поселке Колывань Новосибирской области.

КЛОУН

Кто в стремительной и бесшабашной юности своей не задавался вопросом: а что это за чудо такое – любовь? Ровесницы-девчонки строчили в дневниках: «Любовь – это роза, красивая, но колючая». Лично я искал ответ у поэтов и находил совсем не то, что искал: «Я вас любил, любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не совсем…» Но шокировала меня в этом произведении концовка, мол, «дай вам Бог любимой быть другим». Сознание зависало, мой быстрый на расправу процессор скрипел и отказывался давать вразумительный ответ на вопрос: «Зачем своей любимой желать любви другого пацана?!» Были и иные авторы, более конкретные и по-хозяйски деловитые, которые писали: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне…», но далее опять пугали, мол, «всё будет – слякоть и пороша…», и несли прочую муть, наподобие девчачьей болтовни о розах и шипах. И что? И где ответ? По прочтении этих и иных не менее туманных сентенций вопрос оставался открытым, ответ блуждал в потёмках неразберихи вечно запутанных отношений между мужчиной и женщиной.

В студенчестве я раз пять был влюблён, то есть отточил свой характер до ловеласного. А в руки стали попадаться книги, в которых анатомия любви представлялась или в заоблачных просторах романтических грёз и фантазий, или в грешных коридорах пошлости и цинизма. Ответа, который мог бы утолить мой пылко пытливый и въедливо дотошный ум, категорически не было.

Легче дело обстояло с понятием любви к маме, папе, бабушке и другим ещё живым родственникам. С Родиной и патриотическими чувствами тоже всё обстояло более или менее определённо и достаточно аккуратно было уложено в моей, тогда ещё вихрастой голове. Но вот я ознакомился с Новым Заветом, в котором чёрным по белому было написано: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Понять эту заповедь мой здравомыслящий

мозг отказался сразу. По улице ходили, спешили, бродили люди, высокие и низкие, худые и толстые, но причём здесь я?! – рационально думал я. И с чего их всех вдруг необходимо любить?! Я этого понять не мог.

Потом я прожил много лет и, как все люди на этой грешной земле, страдал и радовался, терял и находил, предавал и был предан, лгал и был оболган, влюблялся и даже счастливо женился, но и после всех этих передряг я так и не смог разъяснить, даже самому себе, что же это такое – любовь.

Но вот недавно я вдруг и совершенно беспричинно, после звонка мамы, вспомнил случай, который никогда не обсуждался и потому, наверное, и не вспоминался. И тот мамин звонок не был связан ни с моими мыслями о любви, ни с тем далёким случаем из детства. Но вот отчего-то слова, интонации, настроение и непогода за окном отправили меня в ассоциативный путь, который увёл в чащу давно позабытых дней.

Мне исполнилось тринадцать, когда младшую сестру Нелю положили в больницу на операцию. Я, кажется, всегда знал, что она больна, но вот так ясно и вдруг предельно отчётливо подступившую опасность понял только теперь. Я понял, нет, я её почувствовал всем телом, всею душою, всей интуицией и сознанием, что есть смерть, реальная и жестокая, что она – смерть – то самое явление, которое не подвластно никому на земле. И я понял, что смерть сильнее жизни.

Учился я с тем рачительным расчётом, чтобы не доводить отношения с мамой до грубых разборок, чтобы моё прилежание и поведение не нарушали спокойствие завуча школы, готового в любой момент назначить свидание в кабинете директора. Кроме обязательной программы, которой потчевала наша средняя общеобразовательная школа за номером двадцать два, была любимая, но произвольная программа – я четыре раза в неделю посещал акробатическую секцию на стадионе «Спартак». В шестом классе я лихо прыгал и был изрядно ловок, и однажды в школе на спор спустился по лестничному пролёту на руках со второго этажа под восторженные аплодисменты сотни школьников, которые чуть позже сделались честными свидетелями этого события в кабинете у завуча по воспитательной работе. Я был унижен и прославлен одновременно.

К Нельке в больницу в Академгородок я ездил в свободные от тренировок дни. В кардиологическое детское отделение передачки не принимались, свидания были запрещены, видимо, как я теперь понимаю, с профилактической целью – не допустить в отделение заразу типа гриппа или какую другую гадость. Я выходил на остановке «Строитель» и через десять минут путешествия по вековому бору оказывался возле клиники, обегал двухэтажное здание с тыльной стороны, на которую выходили окна больничных палат с приклеенными к стеклу листочками, на которых взволнованным почерком были нарисованы номера. Я лепил снежок, запускал его в цифру пятнадцать, и в окне возникала чья-нибудь голова, а потом появлялась медлительная Нелька. Она, как и все жители этого отделения, синела остриженной наголо круглой головой и смотрела на меня, сидя на подоконнике. Я топтался под соснами, взмахивал руками, пытаясь что-то рассказать, – кричать было бесполезно, нас наглухо разъединяли двойные рамы окон. Потом мне изрядно надоело топтаться без толку на заячьей тропе, проторённой редкими прохожими, и я начал вытаптывать на снегу гигантские буквы её имени. Я вяз в сугробах, падал, а Нелька сидела на подоконнике и смеялась. И я вдруг понял, что надо делать. Нужно веселить сестрёнку! И тут же принялся изображать неловкого художника, который рисовал её имя на снегу. Я неуклюже падал в снег, выскакивал на тропинку, рассматривая своё произведе-

ние, а в самом конце забрался на толстую разлапистую сосну и прыгнул в снег, выдавив своим щуплым телом восклицательный знак в конце уже завершённого произведения. Когда я поднял голову, то увидел, что около Нельки сидят ещё девчонки, такие же стриженые и весёлые. Они беззвучно хлопали в ладоши, и была среди них одна, почти моя ровесница, её круглую голову также украшали маленькие ушки и большие глаза. Но вот эти глаза и ушки мне показались самыми красивыми в мире. Я никогда и предположить не мог, что стриженная наголо девочка может быть такой обворожительной. Не надо даже сомневаться! Я влюбился в неё мгновенно, когда ещё валялся в позе восклицательного знака.

Уже в следующий свой приезд, когда рядом с Нелькой в окне появились все девчонки, я смело подошёл к вытоптанному на снегу имени сестры, сначала показал на него пальцем, а потом на красивую девочку и спросил: «Как тебя зовут?» Она поняла сразу, подышала на оконное стекло, которое тут же густо запотело, и написала своё имя. Я прочитал: Яна – и принялся вытаптывать его на снегу. Но дети застучали в окно, и девочка начала писать буквы отдельно, одну за другой, и получилось: Аня. Я понял, что мне надо было читать не слева направо, как мы привыкли, а наоборот, справа налево, как в зеркальном отражении. Имя Аня мне очень понравилось, оно звучало в моём сердце хором небесных птиц, пока я вытаптывал на снегу её имя с особой тщательностью и клоунской сноровкой, кривляясь и падая.

Прошло несколько дней, и я вдруг заметил, что стоит мне ступить на тропинку, в окнах второго этажа, как по команде, появляются стриженые головы детей. Только в одном окне всегда было пусто, а когда там включался свет, мне было видно, что на потолке светилась огромная космическая тарелка.

Медсёстры и врачи не ругали меня и не гнали, хотя я приезжал после школьных уроков и мой приезд почти всегда приходился на тихий час в больнице. Это был важный знак признания моего скоморошества полезным и нужным делом. Я совсем осмелел, хотя и сам догадывался, что детям и до операции, и после было скучно и, наверное, страшно. Я освоил сосны, с которых умело и смело падал в глубокий снег, вновь забирался на них по-кошачьи ловко, разыгрывая очередной сюжет, который придумывал, пока ехал в Академгородок.

А потом вдруг в окне не появилась Аня. Я подошёл к её имени на снегу, показал на него пальцем и спросил Нельку: «Где?» Неля отстранилась от окна и провела рукой поперёк груди, и я понял, что Ане сделали операцию. Собственно, я знал, что это когда-нибудь случится, в клинике всем делали сложные и опасные операции, но я почему-то решил, что мой влюблённый рай продлится вечно.

В тот день я отрабатывал новую репризу, но мне было грустно. Нет, я не ленился, я честно работал, мотаясь по разлапистым ветвям сосен, но разыграл роль не влюблённой обезьяны, как смело задумал ранее, а обезьяны, потерявшей свою возлюбленную. И когда я сел на высокий сосновый сук, чтобы передохнуть, и увидел вытоптанные имена на снегу, мне почему-то подумалось, что вот придёт весна и эти самые любимые имена растают и утекут. Я разместился на ветке сосны, как мне казалось, по-обезьяньи, почёсывая бока и вытянув губы трубочкой, завыл. Дети смеялись, а я почему-то завыл по-настоящему, по-человечьи, по-обезьяньи не получилось.

Прошла неделя, а Аня всё не появлялась в окне, а я ждал. Я ждал встречи с нею, и даже стыдился, что сестра, наверное, уже догадывается

о моей влюблённости. Но Аня всё не появлялась, и тогда я опять подошёл к её имени на снегу и спросил Нельку: «Где»? А Нелька неожиданно отстранилась от окна и скрестила руки на груди, потом, как приставучую муху, нечто смахнула с лица и смущённо улыбнулась. А я понял, что Анны больше нет, что она умерла.

Я забрался на дерево, сел на сук и смотрел то в небо, то в окна, где синели стриженые головы детей, больше похожие на диковинные растения, тянущиеся к уличному свету, смотрел на вытоптанные в снегу имена, на витиеватую каллиграфию имени Аня и назойливо и тоскливо думал, что вот имя человека есть, а человека уже нет! И в этом не было справедливости и смысла и не было элементарной и понятной честности, которую от нас требовали взрослые. Я понимал ложь происходящего, потому что жизнь, так получалось, есть то самое место, где требуют одно, а на самом деле происходит другое. И тогда, в тот самый момент, когда я, как всклокоченный и мокрый от растаявшего снега серый воробей, сидел на суку, совсем неожиданно выдохнулось из какого-то дремучего прошлого, со слезою и болью, и почему-то с жалостью к самому себе: «Господи! Как трудно жить!» И я уже точно знал, что веселить я не смогу, пусть дети не обижаются, пусть я плохой артист, но я не мог, потому что умерла Аня, самая красивая девочка в моей жизни, и изображать даже обезьянью тоску я не мог и не стал.

Я спрыгнул с сосны, помахал Нельке рукой, весь этаж махал мне, провожая грустно и удивлённо, но почему-то сдержанно и с каким-то пониманием. Я тогда ещё не знал, что дети, пережившие горе и боль, становятся мудрыми и понятливыми, как старики.

А я пошёл по заячьей тропе в бор, чтобы потом – на остановку, в автобус и домой, чтобы жить дальше, но без Ани, которая меня больше не ждала. И уже далеко в бору я сел в снег и дал волю слезам, и опять вырвалось, как стон, как проклятье: «Господи! Го-осподи-и! Почему же так трудно жить!»

Я очнулся, к моему плечу прикоснулись. Я поднял голову и увидел красивую стройную женщину.

– Зачем плачешь? – спросила она.

А мне показалось, что это сама смерть устыдилась своих дел, преобразилась и пожалела меня. Я вскочил и побежал прочь.

«Зачем плачешь?» – слышалось мне. Она спросила зачем, будто можно зачем-то плакать. Она не спросила почему, а сказала «зачем», будто плакать – это никчёмное, пустое и неважное дело...

А потом в окне не появилась Нелька. Я знал, что в этот день ей будут делать операцию. Мы приехали вместе с мамой. Мама осталась в больнице, а я побежал к больничному окну, надеясь, что Нельку ещё не увезли в операционную и я увижу её, махну ей рукой, сморщу нос и скорчу смешную рожицу. Но Нельки не было в окне, зато были дети, дети всего второго этажа, которые смотрели на меня, улыбались и ждали представления…

Я хотел уйти, но в Нелькиной палате я увидел маленькую девочку, послеоперационку, её посадила на подоконник и придерживала, наверное, нянечка или, может быть, её мама. Опухшие глаза девочки смотрели на меня с какой-то глубочайшей мудростью и ожиданием, и я понял, что мне просто уйти и обмануть эти глаза, этого маленького человека нельзя, не имею права, это хуже предательства. Сегодня я – её радость, её любимый клоун, которого она ждала. И она, верно, съела те ненавистные семь ложек каши, которые её заставляла есть нянечка, и… мне почему-то так придумалось, что пару ложек, самых последних и самых противных, она съела за меня – за дядю клоуна.

Я отработал свою программу, летал, как птица, по веткам сосен, потешно падал и опять взлетал с каким-то остервенением, особой лихостью и злобой, рисковал, совершая неимоверные трюки. Мне аплодировали все: и врачи, и медсёстры, и, конечно, дети. А девочка улыбалась, положив ладошку на стекло. А я пошёл к маме в приёмный покой, где мама ждала окончания операции. Я уходил от детей, уже точно зная, что через день приеду обязательно, я точно знал, что для них было важно, чтобы я приехал. И я приехал.

Уже вечером к нам с мамой вышел хирург. Он сел на стул в пустом, холодном и гулком холле первого этажа, руки безвольно лежали на коленях. Было видно, что он сильно устал. На мамины вопросы он отвечал односложно. Он говорил, что операция прошла удачно, что всё, что задумывалось, сделали. Что есть надежда на хороший результат. А я смотрел на его руки и думал, что вот эти руки только что держали сердце моей сестры, и я зачем-то пытался увидеть на них хоть капельку крови, но они были чистыми, и манжеты белого халата тоже были ослепительно чистыми. Потом мама задала неожиданный вопрос, наверно, оттого я запомнил его. Она спросила:

– Скажите, как долго проживёт моя дочь?

Хирург ответил сразу, будто и сам думал об этом, он сказал:

– До сорока лет... – замер на секунду и решительно кивнул, – до сорока доживёт.

Мама положила на его руку свою, как-то чуть сбоку, не для рукопожатия, а для чего-то иного, необычайно доверительного и благодарного, и слегка сжала её:

– Спасибо, – сказала она. – Большое спасибо.

Моя сестра жива и теперь, ей уже пятьдесят два года. Вы понимаете, о чём я? Я о том мальчишке, не о себе, а о том мальчишке, который прыгал по веткам, веселил детишек, чья жизнь висела на волоске и многие из которых не вернулись из операционной, потому что спасти их было практически невозможно, потому что в тот момент смерть была сильнее жизни. Я о том клоуне, который и сам-то был ребёнком, но каким-то чутьём понимал важность детских улыбок и дарил радость от всего своего пылкого и чуткого сердца. Он не знал и даже не думал о том, что он любит людей, он просто старался для них, как мог, как умел, как понимал и чувствовал в тот миг. И уставший хирург всякий раз, оперируя маленькое существо, которое ещё толком-то и не понимало, что такое жизнь, отдавал толику своей жизни. И не ради зарплаты он это делал, а потому что любил людей. Знал ли он об этом, думал ли – не знаю, навряд ли. Любовь – это чувство не от ума, а от сердца, из самой глубины человеческой души, это жертва, бескорыстная и счастливая, за-ради другого человека! И именно потому, что это жертва за-ради кого-то, она и названа таким красивым словом – любовь!

Значительно позже хирург стал знаменитым, и клиника благодарными людьми была названа его именем. А я вообще забыл про этот случай из моего далёкого детства. Но ведь я должен же был когда-нибудь понять, а что же это за чудо такое – любовь. Я понял и самое важное: да, смерть сильнее жизни, но любовь сильнее смерти! Понимаете это?! Понимаете? Любовь сильнее! Ведь когда я звоню сестре, то слышу в ответ: «Колечка, это ты, здравствуй, родной».

В ЗАЛИВЕ ТЕРПЕНИЯ

Мутное заходящее солнце. Зелёно-стальное море усеяно безбрежным стадом бурунов. Наше судёнышко то, задирая нос, взбирается на волну, то беспомощно падает в водяную бездну, и тогда исчезает размытый горизонт, туманный берег и равнодушное солнце. Сердце замирает от окружающей стихии, неумолимой и истинной.

Я заметил её ещё на пристани. С ней была девочка-первоклассница. Несколько настырных пассажиров, не внимающих предупреждениям о штормовом море, гонимых своими заботами, загружались на болтающийся у пристани мотобот. Я радовался её присутствию, морскому простору и предстоящему путешествию. Мы столпились за рубкой, где не так трепал ветер. Она чуть поодаль, и я мог наблюдать за ней украдкой, как мальчишка, с волнением и наслаждением. Она из тех красивых, недосягаемых и непонятных женщин, в которых влюбляются, как в мечту. Странно было видеть её в этих краях – на грязной пристани, среди простого матершинного люда, или теперь, на этом ржавом ботике с помятыми от частой и неумелой швартовки бортами, с рыжим косматым рулевым, у которого красное от водки и ветра лицо и заскорузлые грязные ногти. Её должна окружать иная, очень красивая жизнь.

Девочка рядом со мною; так получилось, что, приняв на борту, я укрыл её за уступом рубки, и невольно забота о ней легла на меня. Ребёнок раскован, любопытен и только в момент особенно сильных ударов волн пугливо прижимается ко мне, уцепившись за куртку. Женщина лишь взглянула на нас, спросила у дочери, хорошо ли ей, и отвернулась навстречу ветру. Девочка говорила со мной как с давним знакомым, сыпала вопросами, слушала и опять говорила. Я завидую: она естественна и свободна – я был другим, я так и остался в прошлом. Знаю наперёд, что не подойду, не заговорю, не познакомлюсь, а потом буду злиться на себя за свою уже пожизненную застенчивость.

Мы давно в дороге, ветер крепнет, волна усиливается, мы заложники своей безрассудности. А ведь нас предупреждал жадный хозяин ботика, что переход может стать опасным. Море обдаёт нас горько-солёными брызгами, но ни волна, ни ухающее в качке сердце, ни вцепившийся в мою куртку ребёнок не могут усмирить сладостного волнения от присутствия этой женщины, от желания ещё большего шторма и опасности. Я тоже смотрю встречь ветру, и мне смешно видеть бесплодную ярость моря, его солёные плевки не оскорбляют, а вселяют ещё большую уверенность, до презрения и надменности.

А где-то далеко от этого клокочущего простора, в сибирском берёзовом покое другая женщина и другой ребёнок живут в крепком кирпичном доме и ждут меня. Тепло и радостно, и грешно, и я ещё крепче держу чью-то дочку, спасаю как свою, родную.

Долог путь, но как ни долог, вот он, берег. Швартуемся. Матросская суета на корме. Я помогаю девочке, женщина принимает её на причале; она, немного бледная и рассеянная от пережитой качки и страха, внимательно, показалось, недоверчиво посмотрела на меня, взяла ребёнка за руку, и они, такие разные, но стройные и уверенные, прошли под единственным фонарём на причале. Девочка обернулась, махнула рукой, я поднял руку в ответ.

Вот и всё, грустно отдалось в груди. Что это было? Стихия, волны, размытый горизонт, огни далёких судов, её стройные ноги в прозрачном капроне, тревожный взгляд, тёплый бок ребёнка, страх, желание беды и порока. Какая всё это чехарда, странность и истинная правда. Её появление, будто из прошлого, с запахом прелого осеннего листа, как наваждение, из-за которого забываешь, куда спешил, к чему стремился.

Я сижу на холодном кнехте, слушаю визгливое трение опустевшего ботика о кранцы. Пытаюсь понять себя, понять желание опасности, подвига, её руки, благодарности, и почему всё так смешалось с тоской по дому.

Меня тронули за плечо, я поднял голову и вдруг увидел её. Она поблагодарила меня за помощь и заботу о девочке, на этом изнурительном переходе ей было «так непросто и страшно». Растроганный её чудесным появлением, я вдруг взял её руку, поцеловал, извинился и, подхватив сумку, зашагал прочь.

Запыхавшись, уже на самом верху берега обернулся: пустая пристань, густая темнота ночного моря, плотный, как подушка, ветер и далёкие огни кораблей. Впереди меня ждал ещё долгий путь. Путь к дому.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ДЯДЯ КОЛЯ

80-летию Великой Победы посвящается

– А ну, сняли шапки!

Голос дяди Коли гулко раздавался под высоким потолком Дома культуры. Везде его было слышно – и за сценой, над которой висел белый экран, и на галерке, где прятались безбилетники, пробравшиеся сюда, чудом миновав сурового стража тетю Руфу, проверявшую на входе в зал билеты.

– Сняли шапки, кому говорю! – добавил громкости дядя Коля, и костыль его грозно застучал по дощатому полу.

Дядя Коля – безногий инвалид, высокий, худой с обожженным на солнце лицом рыбака; он напоминал мне Джона Сильвера из «Острова сокровищ». Таким я представлял одноногого пирата – вот стоит он на палубе «Моржа», опираясь на костыль, и не в кургузом пиджачке из сельмага, а в синем камзоле с золотыми галунами, с абордажной саблей на широкой кожаной перевязи, отдает команды: «Свистать всех наверх! На абордаж!» А волны за бортом пенятся, и соленый ветер треплет на мачте черное полотнище «Веселого Роджера».

Дядя Коля не носил протез, ходил, опираясь на костыль и клюшку, и потому немного горбился, но и при этом рост его вполне подходил для Долговязого Джона. От левой ноги у него мало что осталось, и он заправлял пустую брючину под ремень. И это еще больше делало его похожим на Сильвера, каким тот был изображен в книжке серии «Библиотека приключений».

Все знали, перед сеансом, когда зал уже был полон зрителями, большую часть которых составляли мы, ребятня, появится дядя Коля и загрохочет его костыль по деревянному полу, и раскатится сорванный голос капитана:

– А ну, сняли шапки!

В штате Дома культуры он не состоял и зачем взял на себя такую обязанность, никто на это не сумел бы ответить, даже баянист Пал Палыч, который знал про всех все.

Прошло много лет, давно нет в живых дяди Коли, но как сейчас слышу:

– А ну, сняли шапки!

И ведь снимали! Все снимали – и стар и млад. Редко кто из пацанов ослушается. Дядя Коля, стуча костылем особенно громко, подходил к такому, собственноручно стаскивал с непослушной головы шапку и вручал ее хозяину со словами:

– Не шали, а то киношку не увидишь!

Тем инцидент и исчерпывался.

Я подружился с дядей Колей, когда подрос. Мне было лет четырнадцать, и я крепко увлекся рыбалкой. Оказался отпетым рыбаком и дядя Коля. У него имелась лодка и подвесной мотор «Стрела». Имелся-то он имелся, а как его из дома до лодки доставить? Безногому на костыле – никак. Нужен помощник. Тут я и пригодился. Моих силенок хватало донести мотор до залива, где стояла лодка, а после рыбалки унести домой.

Утром чуть свет приходил я к дому дяди Коли. Обычно он уже поджидал меня, сидел у калитки на скамейке, дымил самокруткой. Я поднимал на плечо мотор, брал в левую руку связку удилищ, а дядя Коля привязывал спереди к брючному ремню корзинку с наживкой да запасными снастями, и мы отправлялись к лодке.

Тихо-тихо. Ни души. Горластые грачи спят в своих гнездах. И только листья старых лип в парке едва слышно перешептываются. Небо еще не просветлело, бледная луна освещает тропинку, ведущую к заливу. Я иду впереди, дяди Колин костыль постукивает сзади.

Вот и залив. Над темной водой туман висит клочьями. Зябко.

Дядя Коля устанавливает мотор на корме, а я отвязываю лодку от толстенной березы на берегу. Цепь мокрая от росы и холодная, аж пальцы деревенеют. Из залива выходим на веслах, а потом дядя Коля заводит мотор, и мы мчимся к заветному месту, чтобы не прозевать утренний клев.

И так почти каждый день, за исключением дождливых и ветреных, когда на Волге высокая волна, мы рыбачили с дядей Колей, все больше привыкая друг ко другу. Варили уху на берегу, в жаркие дни купались, плавали наперегонки. Плавал одноногий дядя Коля не хуже двуногих мужиков, меня обгонял легко.

– Ты, дядя Коля, не на флоте, случаем, служил? – спрашивал я его.

– Нет, в разведке.

На правой руке у дяди Коли синела татуировка крупными буквами: «Королев Ваня друг жизни». Мне было интересно, кто этот Ваня Королев? И я спросил у дяди Коли.

Он махал рукой, нахмурился.

– Так, друг мой. Воевали вместе.

Потом все же рассказал. Воевал дядя Коля на Третьем Белорусском. Под Бобруйском его ранило, потерял ногу, а друг его, тот самый Ваня Королев, был убит, когда тащил на себе дядю Колю в санбат.

Про войну дядя Коля рассказывал немного, он даже в школу, как другие фронтовики, на День Победы не приходил.

– Не знаю я, что детям про войну сказать, не умею, – отвечал он на мой вопрос. – Пускай другие говорят, кто может.

Я знал, что у него медаль «За отвагу» и орден Красной звезды.

Пролетели, как стрижи над водой, летние дни. Я пошел в школу, а дядя Коля заболел. Говорили, что у него рак. В октябре его увезли в госпиталь для инвалидов войны, но через пару недель вернули домой, как оказалось, умирать.

Помню, мать напекла лепешек, собрала в узелок, и я пошел навестить своего старого приятеля. Узнать дядю Колю было трудно, так он похудел. Всегда загорелое его лицо стало белым, как экран в клубе. И волосы тоже были белые. Он лежал на кровати перед окном, за которым чернели голые ветки яблонь. Среди лекарств на столе я заметил маленькую иконку в золотистом окладе.

– Вот и ты, дружище! – сказал дядя Коля, и я видел, что он рад моему приходу. Детей у него не было, и он искренне ко мне привязался. – Я тебя ждал.

– Да, – сказал я, не зная, что дальше говорить и брякнул зачем-то: – Скоро лед на реке станет.

– А как же! На рыбалку пойдешь?

– Конечно, первый лед!

– Все окуней переловишь в Волге!

– Постараюсь.

Дядя Коля приподнялся на локте.

– А я вот, видишь, приболел малость. Не сумею на первый-то лед выбраться. А ни разу еще не пропускал. Да. – Он достал с подоконника круглую баночку из-под ландрина, протянул мне. – Тут вот я тебе мормышки приготовил. Хорошие мормышки.

Банка дрожала в его руке, и мормышки в ней тихо позванивали.

У меня подкатил к горлу комок.

– Спасибо, дядь Коль! Оставь себе, у меня есть.

– А таких нет! У тебя магазинные, а эти – под заказ, из вольфрама. Вот увидишь, как окунь их рвать будет.

Мы еще о чем-то поговорили, и уже перед тем, как уйти, я спросил:

– Дядь Коль, а вот ты всегда в кино заставлял народ шапки снимать.

– Было дело! Так что?

– А зачем?

Он усмехнулся, помолчал.

– А где вам кино-то показывали?

– Как где? В клубе.

– Угу. А что было там до клуба?

– До клуба… Церковь, говорят...

– Вот именно! А в храме шапки, дружок, снимают.

– Так уж и не храм там давно.

– Нет, – перебил меня дядя Коля, – ошибаешься. Храм всегда останется храмом, пусть в нем даже картошку хранят.

Я посмотрел на иконку, прислоненную к пузырьку.

– Ты веришь в Бога?

Дядя Коля перехватил мой взгляд.

– Это Николай Чудотворец, – он помолчал. – Я видел его.

– Кого? Святого?

– Да. Когда меня ранило, я лежал в воронке от взрыва, ко мне подполз Ванюшка Королев, стал мне ногу перевязывать. Я смотрю, а это вроде как и не дружок мой Ванька, а старик с белой бородой. И говорит этот старик, чтобы я потерпел. Сказал, что все будет хорошо, я буду жить. Потом я сознание потерял, а когда очнулся, Ванюшка меня тащил

из воронки. «Где, спрашиваю, старик?» «Какой старик? – говорит Ванюшка. – Нет тут никакого старика. Двое нас живых-то…» Подумал я тогда, что поблазнилось от боли… А после в госпитале на иконе увидел и узнал… Вот такие, брат, дела…

Я посмотрел на иконку, и мне показалось, что от неё исходит тихий свет.

Умер дядя Коля в январе.

Было холодно. Ветер гнал снег, передувая дорогу на кладбище. Мужики вшестером несли гроб, в котором лежал дядя Коля, белый и чужой. Я и не думал, что в нашем селе столько людей живет, сколько пришло проститься с дядей Колей, – даже не убрались все в молитвенный дом, где проходило отпевание, стояли на улице, ждали конца.

Старенький священник отец Михаил сказал короткую проповедь о том, что фронтовики рано умирают, но им уготовано Царство Небесное, потому что они защищали Родину. Я слушал и думал о том, что хорошо бы в Царстве Небесном была у дяди Коли речка и удочки, чтобы он мог рыбачить. Ведь Господь может так устроить по Своей любви. Говорят, Он все может. Когда отпевание закончилось, и все пошли прощаться с дядей Колей, я хотел положить в гроб банку с мормышками, но строгая псаломщица Катерина не разрешила. Отец Михаил спросил, что у меня. Я сказал, что это мормышки, которые дал мне дядя Коля, и неожиданно заплакал.

Священник посмотрел на меня и сказал:

– Ладно, положи в ноги.

Дяде Коле было пятьдесят лет. Мне он казался стариком.

В Доме культуры перед киносеансом никто уже не заставлял снимать головные уборы. Но, видимо, все привыкли это делать и по-прежнему обнажали головы, может быть, ожидая подсознательно, что вот сейчас застучит костыль и раздастся голос дяди Коли:

– А ну, сняли шапки!

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Родилась в Алма-Ате. Окончила Российский государственный гуманитарный университет (Москва). Кандидат философских наук. Прозаик, публицист, критик, переводчик, драматург.

Автор романов «Блудные дети», «Скверное происшествие. История одного человека, рассказанная им посмертно», «Исход», «В некотором царстве... Сказки Агасфера» (роман в новеллах), философской монографии «Приблизился предающий... Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX–XXI вв.», ряда сборников прозы и публицистики. Автор многочисленных публикаций в периодической печати и в интернете. Лауреат ряда литературных премий.

Член Союза писателей России. Живет в г. Сергиев Посад Московской области.

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ

Сергей Дмитриевич Сарицкий, редактор отдела поэзии одного из толстых литературных журналов Москвы, считал себя диссидентом. Основания для этого у Сергея Дмитриевича имелись самые прочные.

– Советская власть?.. – говорил Сергей Дмитриевич в кругу избранных знакомых – о таких вещах не принято было говорить со всеми подряд. – Я вас умоляю! Что это вообще такое?..

Тут лицо его принимало такое выражение, как будто бы земляная жаба запрыгнула ему в пивную кружку.

– Власть рабочих и крестьян? Пардон, но я-то здесь при чём?..

И в этом не было ни тени лукавства – Сергей Дмитриевич и в самом деле не имел никакого отношения ни к рабочим, ни к крестьянам. Он родился на следующий после войны год в семье московских врачей. В самом начале второй половины века была арестована его мать. Долгие годы Сергей Дмитриевич понятия не имел, что стало тому причиной, как сложилась судьба его матери и где, в конце концов, её могила. Отец долгое время казался убитым горем, и говорить с ним об этом было невозможно. И лишь спустя годы Сергей Дмитриевич, как и миллионы других людей, узнал в подробностях и про культ личности, и про репрессии, и про множество осуждённых и расстрелянных. И тогда он всё понял. Причины ареста и окружавшего его молчания стали очевидны: семья Сергея Дмитриевича по велению рока оказалась жертвой сталинских репрессий. К тому времени Сергей Дмитриевич обзавёлся привычкой задумываться, и раздумья, сойдясь в одной точке, сложились в единую систему. Вот тогда-то Сергей Дмитриевич и понял, что власть рабочих и крестьян не имеет к нему никакого отношения. Он стал морщиться и внутренне передёргиваться при этих словах. Каких рабочих? Каких крестьян? Он-то, понятное дело, не относил себя ни к тем ни к другим.

А если эта самая власть не желает сближаться с такими, как он, то почему отвергаемые властью должны её приветствовать, а то и защищать?..

Впрочем, так Сергей Дмитриевич думал не всегда. Потому что сначала, как это и положено, было детство. С родителями и с младшей сестрой Ленкой они прекрасно устроились в двух великолепных комнатах арбатской коммуналки окнами во двор. Всякий человек, вошедший в квартиру, сперва оказывался в маленькой тёмной прихожей, от которой тянулся коридор, освещённой единственной и весьма тусклой лампочкой. В прихожей и коридоре стоял неубиваемый запах валерьянки, лавровишневых капель и гуталина.

В одной комнате из занимаемых Сарицкими имелся буфет и обеденный стол, в другой – детской – книжные полки и маленький секретер. Напротив Сарицких жила одинокая старуха Марья Гавриловна, про которую говорили, что она «из бывших», и Сергей Дмитриевич – в те времена Серёжка – никогда не задумывался, что это означает. Марья Гавриловна была рослой худой старухой с высокой причёской на седых, но всё ещё пышных волосах. Морщинистое лицо её всегда было сосредоточенно, огромные бледно-голубые глаза смотрели настороженно. Глядя на Марью Гавриловну, можно было подумать, что этой благородной пожилой даме известна какая-то страшная тайна, рассказать о которой она не решается.

Иногда Серёжка заходил к Марье Гавриловне посмотреть фотографии, развешанные по стенам комнаты. Это были изображения красивых женщин в длинных платьях и в крупных перстнях, а заодно и мужчин с тросточками или в военной форме.

– Это белогвардейцы? – спросил как-то Серёжка.

Марья Гавриловна забормотала что-то непонятное, так что Серёжка ничего не понял, а уточнять не решился. Зато Марья Гавриловна поила его чаем, рассказывая дребезжащим голосом всевозможные небылицы про Москву, про Арбат и про их дом. Так, от Марьи Гавриловны он узнал, что в их особнячке жила когда-то семья и что именно тут, в их комнатах, случилась какая-то драма – муж убил свою жену за неверность. Серёжка опять половины не понял, однако успел испугаться, потому что Марья Гавриловна, потчуя гостя вишнёвым вареньем, заверила, что с тех самых пор в доме появляется призрак убиенной и что будто бы сама Марья Гавриловна как-то раз видела незнакомую женщину.

– Она взглянула в мою сторону, – тихо продребезжала Марья Гавриловна, приподняв правую руку и устремив глаза куда-то поверх Серёжкиной головы, – и сказала так: «Он убил меня… Он убил меня свободой…»

Серёжке эта история очень понравилась. Призрак в квартире – это не хуже, чем собственный футбольный мяч или перочинный нож. Однако с тех пор он не мог заставить себя выйти ночью из комнаты, отчего начал испытывать трудности самого неприятного толка. Когда же родителям удалось добиться от него признания и Серёжка рассказал о призраке, Марью Гавриловну обвинили в запугивании пионеров околорелигиозной ересью. И теперь уже настала очередь Марьи Гавриловны пугаться. И она действительно перепугалась не на шутку. Больше о призраках не рассказывала, а Серёжка, хоть и не прочь был бы послушать, сам уже не спрашивал.

Через стенку от Серёжкиной с Ленкой комнаты проживала учительница русского языка и литературы Инна Леонидовна – маленькая, худенькая, с широко распахнутыми чёрными глазами, похожая больше на ученицу. Инна Леонидовна так была увлечена русской литературой,

что даже дома у себя, в своей крошечной комнатке, вела литературный кружок, собирая каких-то девчонок, являвшихся по четвергам с книжками и тихонько, по-мышиному, пробиравшихся в комнату своей учительницы. А затем так же выбиравшихся наружу.

Напротив Инны Леонидовны и через стенку с Марьей Гавриловной жил другой учитель – Константин Ардалионович, преподававший историю в одной школе с Инной Леонидовной и слывший непримиримым антагонистом литераторши. Об историке было известно, что он коммунист, что дошёл до Берлина и вернулся, прихрамывая на левую ногу. Долго ещё после войны он носил исключительно военную форму. Конечно, без знаков отличия. На левой щеке у него был длинный и тонкий шрам, а на правой руке недоставало среднего и безымянного пальцев, что давало Константину повод шутить о невозможности женитьбы – не на что было надеть обручальное кольцо.

Когда впервые Серёжка понял, что Константин не просто смеётся над Инной, а, пожалуй, и презирает её, он очень удивился. В первую очередь странным показалось Серёжке, что учителя, да ещё из одной школы, могут враждовать по каким-то отвлечённым вопросам. В тот раз Серёжка собирался выйти во двор и уже приоткрыл дверь из комнаты в общий коридор. Как вдруг услышал голоса и, уступив любопытству, замер, прислушиваясь. Сначала в коридоре зашуршали девчонки, покидавшие комнату Инны. Но не успела захлопнуться входная дверь за последней посетительницей кружка, как раздался звучный, командный голос Константина:

– Давно хотел спросить у вас, Инна Леонидовна: чем занимается ваш кружок?

Даже Серёжка уловил в этом голосе насмешку и сразу отчего-то принял сторону историка, ухмыляясь у приоткрытой двери такой нелепости, как кружок на дому.

– Мы занимаемся изучением творчества Достоевского, – голос Инны прозвучал напряжённо и настороженно.

– Интересуюсь, поскольку и сам люблю Достоевского. Но не понимаю, что можно изучать с этими девчонками сверх школы.

– Что вы хотите сказать? – голос Инны дрогнул. – Что девочки не в состоянии понять?

– Да нет же! Конечно, нет… Я всего лишь сомневаюсь, что в тринадцать-четырнадцать лет человек… как бы это сказать… Ведь ваш кружок собирается раз в неделю или пятьдесят два раза в год. За такое количество времени о любом писателе можно многое сообщить. Можно по косточкам разобрать его биографию и каждое произведение. Вы не находите?

– Допустим. Но я опять же не понимаю, к чему вы клоните.

– Да всего лишь к тому, что в четырнадцать лет… Как, впрочем, в пятнадцать и даже в шестнадцать большинство людей не в состоянии понять ни прожитого, ни написанного этим человеком. Разумеется, понять так, как следовало бы. Просто потому, что в этом возрасте не хватает… м-м-м… не хватает представлений о жизни. Так стоит ли забивать им головы, когда для них вполне достаточно того, что даётся в школе?

– Мне странно, Константин Ардалионович, слышать, как это вы, и сами будучи педагогом, заявляете, что Достоевским можно «забивать головы», – с гордым возмущением начала было Инна, но Константин перебил её.

– Ни в коем случае, Инна Леонидовна! – раздался его насмешливый голос. – Я сказал не Достоевским вообще, а Достоевским в таком количестве и в таком возрасте.

– Я отказываюсь вас понимать, Константин Ардалионович! – выпалила Инна. – Вы – историк и отрицаете значение «Дневника писателя» для понимания исторических процессов?

– Я отрицаю не значение «Дневника писателя», дорогая Инна Леонидовна. Я отрицаю возможность понимания этими девочками Достоевского как он есть. Я отрицаю необходимость и пользу изучения такого непростого человека столь юными созданиями.

– Довольно! – взвизгнула Инна. – Не желаю больше слушать этот… этот ортодоксальный бред! Какие-то совиные крылья…

Дальше Серёжка услышал, как застучали Иннины каблучки и как щёлкнул ключ в её двери. Серёжка ждал, что Константин как-нибудь эдак зловеще, по-опереточному, рассмеётся ей вслед. Но вместо смеха услышал печальный вздох и твёрдые солдатские шаги. Оттого ли, что невольно Серёжка встал в этом споре на сторону мужчины, а может, причиной была самоуверенность историка, говорившего тоном, не допускающим сомнений, но Серёжка решил тогда, что правда на стороне историка. Дождавшись, когда все разойдутся, Серёжка прошмыгнул по коридору и тихонько, отправляясь во двор, прикрыл за собой дверь.

В те времена, несмотря ни на что, все были счастливы. Главное, что кончилась война, что можно было мечтать, учиться и читать в своё удовольствие. А ещё можно было гулять во дворе, куда стекались самые разные обитатели ближайших особняков и коммуналок. В любое время года, но особенно весной и летом, двор гудел как улей и звенел, как птичий базар. Стайка девчонок возле сараев занималась прыгалками. Стоя друг напротив друга, двое старательно крутили верёвку, третья подпрыгивала, выгибая спину. Ещё несколько девочек тут же громко считали прыжки в ожидании своей очереди. Другая девчачья компания переминалась возле нарисованных на асфальте квадратов, наблюдая, как одна из подружек, поджав левую ногу, старательно перепрыгивала из квадрата в квадрат на правой. Серёжка только на минутку задержался поглазеть на девчонок, после чего помчался на другой край двора, где шла ожесточённая битва в «бабки-дедки» и в «ножички», и Шурка то бросал свой нож и с запястья, и с локтя, и с плеча, то кусок за куском занимал чужие территории внутри начерченного на земле круга.

* * *

Родители Серёжки работали, Серёжка пошёл в школу, Ленка ходила в сад. Субботними летними вечерами после короткого рабочего дня всей семьёй отправлялись на дачу у станции Луговая по Савёловской дороге. Но больше всего Серёжке нравилось, когда они плыли на речном трамвае, а потом шли пешком, петляя между берёз и собирая дорогой грибы или ягоды. Серёжка обожал канал со всеми шлюзами и корабликами на постаментах, обожал водохранилища и лодочные пристани.

Зимой они брали лыжи и отправлялись кататься. На электричке можно было поехать на ту же Луговую и кататься по лесу, можно – на Перемиловские высоты. А ещё можно было выбрать какое-нибудь совершенно незнакомое место Подмосковья и, сойдя с электрички и встав на лыжи, обследовать его до наступления сумерек.

Праздники тоже были весёлые. В комнате родителей накрывали стол, приходили их сослуживцы, приглашались соседи. Серёжка

менял пластинки на патефоне, а гости танцевали, насколько позволяла комната. Пластинок было всего несколько – фокстрот «Моя красавица», «Танго соловья», Лемешев, сладкозвучно выводящий «Моя любимая», фокстрот «Неудачное свидание» и две пластинки Руслановой и Шульженко. Репертуар не отличался разнообразием, было тесно, зато шумно и весело. Гости так беззаботно и даже самозабвенно танцевали, смеялись и пели, что с пространством и в обычное-то время небольшой комнаты начинали происходить какие-то метаморфозы. Пространство это словно бы раздвигалось, меняя свою сущность, превращаясь из тыквы в карету.

Но вдруг в одночасье всё рухнуло. Началось с того, что как-то вечером в дверь очень настойчиво позвонили, после чего в квартиру ввалилась группа людей. И в коридоре запахло кожей, мокрой шерстью и табаком. Из комнат стали выглядывать и выходить жильцы. Оказавшаяся в коридоре Инна Леонидовна пробормотала что-то очень странное, что-то вроде: «Угу… именем революции… как же…»

В квартире тут и там замелькали голубые пятна околышей. Красивый загорелый офицер, обращаясь с вопросами к жильцам, жемчужно улыбался. Нарочитая вежливость его, равно как и обескураживающая улыбка, никак не вязались с перетряхиванием вещей. Серёжка не понимал, что происходит. Но мать заплакала, и Серёжка с Ленкой тоже заплакали. Их отвели к Марье Гавриловне и запретили выходить. Они так и уснули в чужой комнате, а наутро, едва проснувшись, Серёжка услышал перепалку учителей. Разговор, начало которого осталось неизвестным, зародился, по всей видимости, на кухне, откуда Инна предпочла ретироваться. Константин же настиг её в коридоре.

– Вас ли я слышу! – почти пропел он.

– Что вам от меня нужно? – огрызнулась Инна.

– Вы с вашим кружком достоевцев отвергаете пользу страданий? Может ли это быть?

– Ваш цинизм, Константин Ардалионович, не знает пределов. Вы не перестаёте меня удивлять, – гордо парировала литераторша. – Но не вижу связи между… между горем этой семьи, этих детей и творчеством великого писателя. В кружке, как вы изволите выражаться, мы изучаем творчество, литературное наследие. А тут…

– Вот то-то и странно, Инна Леонидовна, – настойчиво продолжал Константин, – идеи великого писателя проповедуете, а связи их с жизнью не видите. Стало быть, не понимаете вы своего кумира.

– А вы сами понимаете, что вы говорите и о чём? – как будто сквозь зубы процедила Инна, явно задетая историком за живое.

– Мне ли не понимать! Только я Достоевского в кружках не проповедую…

– Я, представьте, тоже ни в каких кружках ничего не проповедую, – перебила его теряющая терпение Инна.

– О страданиях толкуете, а сами страданий не приемлете. Как же это? А, Инна Леонидовна?

– Вы… вы… – взвизгнула литераторша, видимо, окончательно потерявшая терпение.

– Да вы не серчайте так, Инна Леонидовна, – невозмутимо продолжал Константин. – Будто бы и не за что было её арестовывать? Почём вы знаете? А кроме того, как быть с «все за всех виноваты»? М-м-м?.. Или уж и не виноваты вовсе? Митя-то как же?

– Это подло, Константин Ардалионович, – снова сорвалась на визг Инна. – Это подло, и смех этот подлый!

– Если я над кем и смеюсь, Инна Леонидовна, – отчеканил Константин, – так, разумеется, не над этими несчастными детьми, как вы изволили выразиться. И не над их матерью, о которой я, к слову, почти ничего не знаю. Мне смешны дамочки, рассуждающие о сложных вещах, но не понимающие самой сути этих вещей.

Инна ахнула громко, а Константин продолжал:

– Мне смешна ваша нелюбовь к большевизму на фоне вашей любви к Достоевскому. Понимай вы по-настоящему Достоевского, вы бы молились на большевиков…

– Что вы… – с истерическими нотками в голосе воскликнула Инна, – что вы говорите? Я никогда… Откуда вы взяли?

– Да не бойтесь вы, не собираюсь я никому говорить…

Но Инна, громко всхлипнув, побежала к себе, дробно стуча каблучками.

Марья Гавриловна, сидевшая у стола с картами и раскладывавшая пасьянс, внимательно прислушивалась к перебранке, буравя глазами дверь. Когда Инна убежала, Марья Гавриловна повернулась к дивану, на котором лежали Серёжка с Ленкой и, встретившись с Серёжкой глазами, продребезжала:

– Бедные деточки…

* * *

С того дня у Серёжки не стало матери, а жизнь круто переменилась. С одной стороны, вокруг всё шло своим чередом: крались по коридору девчонки с косицами и томиками Достоевского; переругивались литераторша с историком; во дворе то разбивались двенадцать палочек, то набивалась жёстка. Но с другой… С отцом творилось что-то странное – казалось, он лишился рассудка. Серёжка был уверен, что отец не видит ни его, ни Ленки. Он ни с кем не разговаривал и дома ничего не ел. Перестал бриться и за короткое время совсем обносился. Сначала Серёжку с Ленкой кормили соседи. Но потом явилась сестра матери тётя Катя и, сказав, что отец заболел, увезла Серёжку к себе.

– А Ленка? – спросил Серёжка.

Но тётя Катя объяснила, что Ленка поедет к тёте Маше в Ленинград. Так Серёжка оказался один в маленькой квартире в Сокольниках. Жизнь его протекала теперь главным образом на кухне. Здесь он спал на раскладушке, здесь глотал нехитрые завтраки-обеды, здесь же учил уроки за обеденным столом. Но кухонное житие длилось недолго, потому что через несколько месяцев тётка была вынуждена оставить столицу, сменив Сокольники на какой-то безвестный район Чердыни. Серёжка надеялся, что отца выпишут из больницы и вместе они вернутся на Арбат. Потом привезут Ленку и будут ждать возвращения матери. Но всё вышло совсем не так. Об отце не было ни слуху ни духу. И Серёжке довелось ехать не на Арбат, а в Рязань к дяде Коле – брату отца.

Новое пристанище Серёжке совершенно не понравилось. Во-первых, жить пришлось не в квартире, как он привык, а в домике-пятистенке, следовательно – терпеть удобства во дворе и мириться с новыми обязанностями. Теперь Серёжке поручали то принести воды с колонки, то натаскать дров для печки, то вымести двор. Новая семья, приютившая Серёжку, относилась к нему по-доброму, даже ласково.

Но поскольку каждодневная работа была для них делом привычным и рутинным, то не было никаких причин делать исключение для Серёжки. И Серёжка наравне со всеми таскал воду, копал грядки, собирал картошку. Теперь его домочадцами были дядя Коля с тётей Аней, мать тёти Ани – бабушка Поля и взрослые кузены – Ваня и Галя. При этом дядя Коля, Ваня и Галя напоминали Серёжке отца – такие же белокурые и кареглазые, улыбчивые и молчаливые.

Ваня учился в военном училище, а Галя готовилась поступать в училище художественное. Поселили Серёжку в комнату бабушки Поли, старушки вроде и доброй, но уж очень любившей поговорить ни о чём. И Серёжка был вынужден слушать разный вздор: что раньше были другие, настоящие зимы – не чета нынешним; что хлеб из печки вкуснее хлеба из лавки; что собака Жучка совсем распустилась и неизвестно, какие мысли у неё в голове.

Дома Серёжка спал на диване. У тёти Кати в Сокольниках – на раскладушке. Теперь же дядя притащил для него железную кровать с панцирной сеткой, звеневшей и скрипевшей, как якорная цепь. Всё стало совершенно по-другому в жизни Серёжки. Первое время после ареста матери он жил словно в тумане. Оказавшись у тётки, он затосковал и проливал ночами слёзы в подушку. Едва боль чуть поутихла, и Серёжка стал привыкать к новой обстановке, как опять оказался в одиночестве. Когда же дядя привёз его в Рязань, когда Серёжка познакомился с Ваней и Галей, когда разделил комнату с бабушкой Полей, стало казаться, что всё это он видит во сне. Очередной виток короткой его жизни закручивался невероятным, неправдоподобным образом. Временами Серёжка сам не верил в происходящее с ним и думал, что стоит лишь проснуться, как он окажется в своей комнате на Арбате, солнце будет пригревать сквозь окно, со двора будет слышна метла и нехитрая песня дворника Ахмеда, с Садового – звуки стройки, а из коридора – спор истории с литературой. За стенкой окажутся родители, на соседнем диване – Ленка, а за окном – Москва… Но ничего этого не было, и проснуться не удавалось.

Однако время, как известно, лечит глубокие раны. Серёжка учился, помогал по хозяйству, обзавёлся приятелями, а летом в компании дяди и тёти даже совершил круиз по Оке, любуясь пологими, поросшими травой берегами. Вернувшись из круиза, Серёжка записался в бассейн. И с сентября дважды в неделю отправлялся плавать. Было у него и ещё одно важное дело: он дал себе слово прочитать всего Диккенса и понемногу продвигался на этом поприще. А следующим летом Ваня предложил отправиться в Астрахань.

– Своим ходом. Понимаете?.. – объяснял Ваня. – Только мы и рюкзаки.

После всех обрушившихся на него несчастий Серёжка просто отказывался верить, что такое возможно. И лишь когда они с Ваней, двумя его однокурсниками, а ещё с Галей и её подружкой Олей забросили тяжеленные рюкзаки за плечи и вышли за калитку, Серёжка возликовал. О! Какое это было счастливое лето. Весь мир принадлежал только им, когда они оставляли отпечатки своих кедов на песке сосновых лесов Мещеры или в пыли Сталинградских степей. Мир улыбался им, одаривая теплом солнечных лучей и добротой встречавшихся людей. Они не знали голода и жажды, нужды и отчаяния. Они были счастливы, не прилагая к тому никаких усилий… «Остановись, мгновение!» – хотелось кричать Серёжке. Но – увы.

* * *

Следующее мгновение оказалось совсем иным. Отучившись, Ваня и Галя один за другим уехали. Через год после их отъезда умерла бабушка Поля. Повзрослевший Серёжка переехал в комнату Вани и стал задумываться. Когда человек взрослеет, он всегда задумывается. И независимо от того, кто и к каким выводам придёт, первая мысль у всех взрослеющих одинаковая: будущее прекрасно, и нужно предпринять какие-то шаги, чтобы стать частью этого будущего. Вторая мысль, связанная с открытием, что взрослые глупы и ничего не понимают, тоже, как правило, настигает почти всех взрослеющих. Неудивительно, что и Серёжка подумал о том же самом.

У дяди был патефон, и Серёжка, крутивший пластинки ещё в Москве, а ныне заведовавший школьным музыкальным хозяйством в виде патефона и приносимых ребятами пластинок, охотно заводил музыку и на дядином аппарате, сожалея лишь о скудости репертуара – ничего, кроме Шульженко да «Рио-Риты» дома не было. Но однажды, обживаясь в Ваниной комнате и разбирая какие-то коробки, сваленные в углу, Серёжка наткнулся на несколько пластинок с английскими и немецкими надписями. Золотые иностранные буквы выглядывали из круглых окошек бумажных конвертов и, казалось, подмигивали Серёжке, маня к себе. Поскольку дядя с тётей ещё не вернулись с работы и разрешения спрашивать было не у кого, он поспешил к патефону. На пластинках оказались записи Бернара Этте, Арти Шоу, Бенни Гудмена, Глена Миллера… Бог мой! Серёжка и подумать не мог, что рядом с ним всё это время лежало такое сокровище. Он поставил All the Things You Are – Хелен Форрест пела с оркестром Арти Шоу – и замер. Это было волшебно, у Серёжки даже слёзы навернулись. Ему нравилось всё – кларнет Арти, голос Хелен, тромбон и труба. Но больше всего пленил Серёжку саксофон, который он, разумеется, слышал и раньше. Однако на дядиной пластинке – возможно, в сочетании с английским языком – звучал саксофон совсем по-другому. Голос инструмента, дополненный чужой речью, как будто изменил тембр или заполучил дополнительный лад. Так или иначе, но музыка словно окутала Серёжку, обвила алым шёлком, и он хотел, чтобы эти чары никогда не спадали.

В школе на танцах они заводили, в основном, Утёсова или Цфасмана. Но то ли отечественный джаз поднадоел и хотелось чего-то нового, то ли родина джаза манила к себе, как всякий запретный плод, а может, дело было в «трофейных», как их называли, фильмах, только Серёжка с каких-то пор воспринимал весточки из-за океана как приглашение в сказку. Он, наверное, тысячу раз уже видел «Серенаду солнечной долины», «Сто мужчин и одну девушку», «Тарзана», «Леди Гамильтон» и даже «Девушку моей мечты», не вникая, кто из них действительно трофейный, а кто – подаренный или купленный. Главное было совсем в другом, и это другое гнездилось где-то на уровне чувств, не подвластных полноценному и всестороннему пониманию. Тут смешивалось всё: то, что пережил сам Серёжка, и пробудившаяся однажды обида на тех, кто лишил его матери с отцом и родного дома; красота незнакомой ему жизни на экране и вера в реальность этой жизни; необыкновенные девушки, совсем не похожие на знакомых, и непривычно-изысканные манеры киногероев. И дело было не в том, что, например, экранные красотки превосходили красотой живых, известных Серёжке девушек. Просто те, что на экране, принадлежали, казалось, какому-то другому

миру – миру счастья и благополучия, изящества и неги; миру, незнакомому с грубостью и печалью. Конечно, большинство фильмов, виденных Серёжкой, были не какие-то заокеанские, а самые обычные советские. И показывали в них, главным образом, местных людей, знакомых Серёжке по школе, улице, магазину. Пусть что-то было приукрашено в ту или иную сторону, но всё равно это было кино о жизни, виденной каждый день. Отсюда Серёжка делал вывод, что и *то* кино, хотя бы и приукрашивая немного, показывало всамделишную жизнь и настоящих людей. И *та* жизнь отличалась от знакомой жизни так же, как девушки в шелках отличались от девушек в ватниках.

Всё в целом создавало у Серёжки иллюзию, будто мир «трофейных» фильмов действительно существует, будто и в самом деле есть на земле такое место, где все без исключения благоденствуют. А иллюзия мало-помалу порождала желание принадлежать к этому благословенному миру.

Найдя пластинки, Серёжка вечером попытался выяснить у дяди, откуда они. Но обычно улыбчивый дядя только нахмурился и, как будто пересиливая себя, пробормотал:

– Трофейные. С войны привёз.

И тут же умоляюще заглянул Серёжке в глаза:

– Плюнь ты на них! Одни стиляги и слушают. Сам не знаю, зачем приволок. Тогда всё по-другому казалось. А сейчас… Плюнь, говорю!

Серёжка представил, как бы это выглядело, согласись он с предложением дяди, и невольно заулыбался. Дядя понял, о чём подумал племянник, и, тоже заулыбавшись, сказал примирительно:

– Ладно, слушай, если охота.

Но на всякий случай добавил:

– Только не увлекайся!

И погрозил пальцем.

Серёжка был счастлив. Стиляги его не особенно интересовали, а вот американский джаз… You are the promised kiss of springtime… – мурлыкал он себе под нос, представляя, как держит в руках саксофон. Серёжка не думал, кто он – ресторанный ли лабух или настоящий артист, выступающий на большой сцене. Ему захотелось прикоснуться, приобщиться, научиться делать то, что нравится. Для чего он учился кидать ножичек с плеча или запястья? Для чего осваивал стойку на руках или карточные фокусы? Ведь не собирался же он работать в цирке или веселить народ на ярмарке. Просто ему нравилось, как это делали другие, и самому хотелось уметь так же. Но если карточным трюкам он научился по книжкам в библиотеке, то с саксофоном всё было сложнее. В той же библиотеке можно было найти самоучитель. А вот инструмент… Достать инструмент оказалось делом нелёгким. В музыкальном магазине можно было – обладая, конечно, необходимой суммой, – купить гитару или балалайку, бубен или барабан, в конце концов, даже скрипку или валторну. Но только не саксофон. А на вопрос Серёжки «есть ли саксофоны?», молодой продавец с зализанными назад волосами ответил лениво:

– В Москву езжайте, юноша. У нас вряд ли дождётесь.

Серёжка ещё потоптался в магазине, потрогал блестящий бок валторны и поплёлся домой. Выходила интересная штука. Через год он оканчивал школу, и ему предстояло определиться с собственным будущим. Даже и дядя уже не раз заводил этот разговор. Когда несколько лет назад дядя впервые задал Серёжке вопрос, что́ тот намерен делать

после восьмого класса, Серёжка понял: дядя считает, что с племянника довольно и восьмилетки. Наверняка дядя уже напредставлял себе, как помогает Серёжке поступить в училище, а после устроиться на завод и как они вместе идут к проходной под завывания гудка. Но такая перспектива вызывала у Серёжки отторжение. С некоторых пор он хорошо усвоил, что его дом в Москве, а здесь, в Рязани, он оказался по недоразумению. Потом вдруг припомнилось, что мать когда-то мечтала, чтобы сын стал архитектором. В этом было что-то неуловимо печальное, что-то вроде последней воли, которую Серёжке надлежало исполнить. Он вовсе не грезил архитектурой, но на дядин вопрос так категорично заявил о намерении стать архитектором, во исполнение материнской воли, что у дяди отпало всякое желание продолжать разговор. Правда, спустя время к обсуждению вернулись. Но дядя и не пытался обсуждать Серёжкино решение, а всего лишь предложил племяннику поработать на заводе летом.

Серёжка не стал отказываться. Однако предложение истолковал по-своему: либо таким образом дядя всё же пытается завлечь его на завод, рассчитывая, что племяннику понравится, что появятся друзья, а может быть, и подруги, и тогда, вполне вероятно, уезжать в Москву не захочется; либо дядя намекает, что не может вечно содержать племянника и что пора бы ему и самому сделать взнос в семейный бюджет. Второе Серёжка счёл справедливым, а первое – наивным.

Когда они впервые отправились вместе на работу и дядя с увлечением рассказывал, что какой-то заводской конструктор получил за разработку двухрядной сажалки Государственную премию, Серёжке хотелось фыркнуть. Неужели дядя Коля настолько наивен, что воображает завлечь его какой-то двухрядной сажалкой? Или он думает, что Серёжка загорится изобрести трёхрядную сажалку? Но оказалось, что дядя ничего такого и не думал. Более того, когда Серёжка принёс домой свою первую зарплату, дядя с тётей отказались её забирать.

– Ты вот что, – сказал дядя Коля. – Ты деньги эти оставь – не прогуливай. Поступишь учиться – они сгодятся. На книжку бы их положить.

На другой день они отправились в ближайшую сберкассу и на имя Сергея Дмитриевича Сарицкого оформили сберкнижку. На обратном пути Серёжка, обуреваемый противоречиями, не проронил ни слова. Сама по себе сберкнижка вызвала у него неожиданный прилив гордости – он ощутил себя взрослым и самостоятельным. Отказ дяди забрать зарплату удивил и несколько даже пристыдил его. Получалось, он не знал своего дядю и думал о нём плохо. Уже около дома, положив руку на зелёную штакетину калитки, Серёжка вдруг остановился и, потупившись, сказал:

– Спасибо, дядь Коль…

Дядя усмехнулся и только молча потрепал его по плечу. Они пошли домой, на тётины расспросы дядя Коля сказал:

– Порядок!

И они сели ужинать.

С тех пор на летних каникулах Серёжка работал на заводе. Но если в бескорыстии дяди он убедился, то от подозрений в хитрости родственника долго ещё не мог отрешиться. И дал себе слово не поддаваться ни на какие посулы и блага.

Ещё в детстве – там, на Арбате – Серёжка был человеком общительным, но не очень-то открытым. Скорее – себе на уме. Знакомых у него всегда было много, друзей – единицы. И в школе, и дома у дяди с тётей,

и на заводе он легко общался, но ни с кем не сходился и никому заветных дум не поверял. Сказалось ли на его характере всё то, что довелось ему пережить, или просто таков уж он уродился – трудно установить. О том, что после 10-го класса он едет поступать в Москву, знали только дома. Да и то – дядя был уверен, что Серёжка отправится исполнить последнюю волю матери. Но Серёжка, равнодушный к архитектуре, вынашивал другие планы. Поступить любой ценой в Московский вуз и закрепиться в Москве, вернуться в Москву – такова была его цель. К 10-му классу Серёжка уже не сомневался, что в Рязани делать ему абсолютно нечего. Учёба в московском вузе была спасением. Серёжка долго перебирал в уме все знакомые вузы и остановил выбор на МГУ. Нужно было готовиться к экзаменам – сначала к выпускным, потом к вступительным. Выпускные он сдал на «отлично», только за сочинение получил 5/4 – подвёл проклятый синтаксис.

Провожая Серёжку на поезд, дядя сказал:

– Ну… Счастливо тебе! Если там что – не переживай. Мы всегда тебя ждём. Да и с учёбой определимся. Не хочешь на завод – найдём тебе другое дело.

Серёжка расцеловался с дядей Колей и тётей Аней, утиравшей слёзы, не меньше десяти раз пробормотал «спасибо», пообещал писать письма, а по прибытии – дать телеграмму и забрался в вагон. Высунувшись из окна, он долго ещё махал провожающим его родственникам, разгоняя призрак обиды на дядю, усомнившегося в его успехе, и думая о том, что, возможно, видит их в последний раз.

* * *

Сентябрь выдался тёплым, сухим и солнечным. Как-то в четверг учитель истории, а по совместительству директор школы, Константин Ардалионович Филиппов вернулся с работы раньше обычного. В коммунальной квартире, где он проживал, никого не было. А Константин Ардалионович очень любил такие часы, когда можно было побыть в одиночестве. Теперь он занимал две комнаты по правой стороне коридора. Три комнаты напротив были отданы семье инженера Пестовских, проживавшего с супругой, двумя малолетними детьми и тестем.

И вот, когда Константин Ардалионович, отобедав и устроившись на диване с «Посмертными записками Пиквикского клуба», предался раздумьям об удовольствии и пользе редкого отдыха в одиночестве, в прихожей зазвонил телефон.

– Слушаю, – устало произнёс Константин Ардалионович в трубку, где-то в глубине души желая, чтобы звонивший понял, насколько несвоевременен его звонок.

– Здравствуйте, – отозвался молодой и приятный мужской голос, – пригласите, пожалуйста, Константина Ардалионовича.

Константин Ардалионович вскинул брови, что означало недоумение и в то же время настороженность, и сухо ответил:

– Я слушаю. Говорите.

– Константин Ардалионович? – воскликнула трубка чуть ли не с восторгом. – Вы меня не узнаёте?

Филиппову показалось, что в трубке и в самом деле прозвучали какие-то знакомые нотки, но узнать говорившего не получалось.

– Извините, – растерянно проговорил он, – не узнаю…

– Это Сергей… ну, Серёжка Сарицкий – сосед ваш. Помните?

И тут внутренним зрением Константин Ардалионович увидел кареглазого, светловолосого мальчишку с застенчивой улыбкой.

– Серёжа?! Да неужели – ты? – пробормотал Филиппов.

И трубка отозвалась заливистым и, как показалось, нервным смехом. Константину Ардалионовичу захотелось немедленно задать сто вопросов кряду, но он задал только один:

– Ты в Москве?

– Да, – весело ответила трубка, – я учусь. Уже на втором курсе. Вот захотелось проведать старых знакомых. Как там Марья Гавриловна, Инна Леонидовна? Как вы?

– Хорошо… Да нет же, Серёжа! Зачем по телефону? Приезжай сюда! Дома поговорим. Сможешь сегодня? Сейчас?

– Сейчас?.. – Сергей задумался, но в следующее мгновение весело объявил:

– Конечно! Если вы дома, я приеду… через полчаса. Годится?

– Годится! – рассмеялся Константин Ардалионович. – Жду!

Забыв про отдых, следующие полчаса Константин Ардалионович предался воспоминаниям, то и дело возвращаясь к короткому разговору и вновь прислушиваясь к смутно знакомому голосу и резковатому смеху. Воспоминания взволновали Константина Ардалионовича, и стоило раздаться у входной двери звонку, он заметался бесцельно по комнате. Но, быстро собравшись, твёрдым шагом направился к двери, распахнув которую, замер. На пороге стоял высокий, щеголевато одетый парень – в твидовом пиджаке, длинном светло-сером плаще, с зачёсанной назад и изрядно напомаженной чёлкой. Правая ладонь его лежала на дверном косяке, ноги стояли крест-накрест с упором на правый носок, на лице сияла широченная улыбка, вся поза источала вальяжность и разухабистость.

В первую секунду Константин Ардалионович растерялся, но, овладев собой, развёл в стороны руки для объятий и воскликнул:

– Приветствую штатника в нашем логове!

Сергей тоже как будто растерялся, но быстро парировал:

– Айвелигового, прошу заметить, штатника.

– Ага! Так ты – поклонник «Лиги плюща»?

– Ого! – засмеялся Серёжка.

Они рассмеялись, потом обнялись, и Константин повёл гостя к себе.

Теперь они сидели vis-a-vis за столом, пили чай и осторожно разглядывали друг друга. Сергей рассказывал о Рязани, о дяде Коле и его семье, о том, как работал на заводе, где была изобретена двухрядная сажалка. Он попытался обставить изобретение сажалки как обстоятельство комическое, но Константин почему-то не только не засмеялся, но и слегка нахмурился. Потом Сергей поведал, как сдавал в университете экзамены и сдал на «отлично», как поселился в общаге и как привёз с собой трофейные пластинки, подаренные дядей. От него не ускользнуло, что пластинки тоже не вызвали у Константина одобрения. А ещё Сергей отметил, что Константин по-прежнему живёт один – не женат; что он почти не изменился, разве только седые волосы появились да гимнастёрку сменил строгий чёрный костюм. «Одинок и наверняка по-прежнему смешон в своём пропагандистском угаре», – подумал Сергей. И сказал:

– А что же Марья Гавриловна?

Константин закатил глаза, развёл руками, словно давая понять, что ничего нельзя изменить в этом мире.

– Ты же помнишь, – ответил он со вздохом, – Марья Гавриловна и тогда уже была не молода.

– Да, конечно, – вздохнул и Сергей. – А Инна Леонидовна?

Константин довольно ухмыльнулся:

– Замуж, представь, вышла наша Инна Леонидовна. Уехала от нас. Вскоре после того… после твоего отъезда через год, наверное. Сейчас её и ваши комнаты объединили. Там одна семья живёт.

– А как же кружок достоевцев? Помните?

– Ну ещё бы!

И они рассмеялись, как будто помахали прошлому.

– Да, – заметил Сергей, – вот как всё меняется.

– Расскажи лучше о себе: как, что? Как ты здесь – в Москве? Чем занят, чем увлечён.

– А что я? – Сергей вдруг заскромничал и засмущался. – Лучше скажите, откуда вы про «Лигу плюща» знаете?

– Серёжа, я ведь преподаватель – мне ли не знать! – засмеялся Константин. – А ты про неё откуда знаешь?

– Так я же студент! Мне ли не знать…

– Ну так и расскажи, как учишься, чем занимаешься!

– Да что тут рассказывать, Константин Ардалионович! Учусь в МГУ на историческом. На саксофоне играю – увлечение такое.

– Модное увлечение, – заметил Константин.

– Интересное. И любимое, – поправил Сергей.

– Ну, знаешь, нелюбимое увлечение – это было бы чересчур!

– Тоже, наверное, думаете, что родину продам? – насмешливо и заглядывая Константину в глаза, спросил Сергей после короткой паузы. – Вот уж никогда не видел связи!

– Не думаю, – спокойно отозвался Константин. – А связь прямая. А не видишь ты её, потому что не хочешь и потому что так удобнее.

– В чём же связь?

– В том, что играете вы не столько из любви к музыке, сколько из очарования родиной этой музыки. А дальше начинается политика. Вот и всё.

– Ладно, не будем об этом, – продолжал Сергей, косясь на «Записки Пиквикского клуба». – Ну-у-у, что ещё? Много знакомых. Бываю в интересных местах. Читаю…

– Что читаешь, расскажи! – перебил Константин.

– Хм… Ну, положим… в «Новом мире» много интересного.

– Согласен! Интересного много. И что же, к примеру, тебе понравилось?

– Странный вопрос, – Сергей выдержал паузу. – Солженицын, конечно.

– Так я и думал! – воскликнул Константин и чему-то обрадовался.

– Почему, интересно?

– Да как тебе сказать… Весь твой внешний вид – это сплошная фронда. Отсюда я заключаю, что фронда гарантированно покажется тебе привлекательной.

– А вы считаете, что Солженицын – это только фронда и ничего больше?

– По большому счёту – да! Хотя есть нюансы.

– Что за нюансы?

– Знаешь, объяснять долго, и не уверен, что будет интересно. – Константин поморщился. – Не в нюансах дело, они лишь придают картинке оттенки. Ну, в том смысле, что это не та фронда, как у тебя, например.

– И в чём, в чём разница?

– Ну хотя бы в том, что у тебя фронда ради фронды.

– А у него?

– А у него фронда обусловленная. Не было бы выгоды – не было бы и фронды.

– Выгоды?! Какая же выгода, если он так рисковал?

– Ничем он не рисковал, Серёжа. Вернее, он рисковал не больше, чем буржуа, вкладывающий деньги в новое предприятие.

Сергей фыркнул.

– Как вы можете это говорить? Вы что, продолжаете верить в… – он запнулся.

– Ты хочешь спросить, – улыбнулся ему Константин, – продолжаю ли я верить в революцию? Да, Серёжа, продолжаю.

– Я не то что о революции… – замялся Сергей.

– Понимаю! Ты о правильности пути и о справедливости.

– Да! Разумеется. И о том, что уродство должно быть исправлено.

– А что ты называешь уродством, Серёжа? – Константин подался вперёд, как будто ответ на этот вопрос интересовал его более всех других.

– Систему, конечно, – чуть подумав, ответил Сергей.

– Систему? Угу… А ты понимаешь, что для того, чтобы ты мог… – он запнулся, точно подбирая слово, – чтобы ты мог заниматься любимым делом в своё удовольствие, должна существовать система. Чтобы ты мог учиться, должна существовать система. При этом система, – он начал загибать пальцы, – бесклассовая и бескастовая. Чтобы даже ты, сын простых родителей, мог не вкалывать с пятнадцати, а то и с десяти лет на дядю, а выбирать: дудеть ли тебе на трубе, стоять у станка или учиться в одном из лучших университетов мира. А такая система сама по себе появиться не может, и тот самый дядя никогда не откажется богатеть за счёт других. И чтобы заставить дядю отказаться, нужны нечеловеческие усилия и – увы – большие жертвы.

Ему показалось, что в глазах у Сергея промелькнул интерес. Но спустя мгновение интерес этот угас, а глаза стали насмешливыми.

– Константин Ардалионович, ведь я знаю всё, что вы скажете, – усмехался Сергей. – Эксплуатация трудящихся, пролетарии всех стран…

– Видишь ли, Серёжа, я ведь тоже знаю всё, что ты скажешь, – перебил его Константин. – Едва ты появился на пороге, а я уже знал все твои предпочтения и все твои убеждения. Я знаю, о чём ты говоришь с приятелями и куда вы ходите вечерами. Знаю, о чём ты мечтаешь и какие слова используешь. Тебе кажется, что всё это очень сложно, что ты и сам сложный. Но на деле ты примитивен, уж извини. Ты сам выбрал эту примитивную сторону бытия.

– Всё это пропаганда, Константин Ардалионович. *Уж извините*. А в неё никто уже не верит, потому что все знают: пропаганда нужна Софье Власьевне, как ритуалы церкви – иначе никто не придёт и не поверит.

– Софье Власьевне, значит, – мрачно проговорил Константин. – А ведь за эту власть люди кровь проливали, Серёжа.

– Ага, только не всегда свою.

– Любая система должна себя защищать. Иначе она окажется нежизнеспособной. А тут, у нас, история небывалая, никогда прежде не возможная и оттого многим непонятная.

– Да как вы не можете понять!.. – воскликнул Сергей.

– Нет, – твёрдо перебил его Константин, – это как *ты* не можешь понять, что быть таким, как ты хочешь – со всеми своими причудами,

ты можешь только благодаря системе, даже если она пытается ограничить тебя! И потом. Ты не учитываешь исторический контекст, ты рассуждаешь как тёмный, дремучий мужичок. Когда насилия становится слишком много, отношение к нему меняется. Это же просто! Начиная с Ходынки, мы пережили слишком много насилия. Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, Японская война, Империалистическая, Гражданская, интервенция… И всё это за двадцать с небольшим лет. Думаешь, такое проходит даром?

И в ответ на презрительно-недоверчивую гримасу vis-a-vis историк воскликнул:

– Да! Пусть это кажется тебе парадоксом, чепухой, пропагандой, но это так!

– А как же другие страны? Штаты, например, – всё с той же миной спросил Сергей.

– А что ты знаешь о Штатах? И не делай такое лицо, пожалуйста. Ты действительно понятия не имеешь ни об Америке, ни об американцах. И подражаешь ты не американцам, ты всего лишь пытаешься выглядеть так, как в твоём представлении выглядят американцы. Но даже чёрт с ним, с подражанием, – подражай хоть зулусам. Но разве в Штатах шла война? Сначала одна мировая, потом гражданская, потом другая мировая… Разве Штаты были под оккупацией и потеряли десятки миллионов своих мирных граждан? И потом, ты уверен, что всё, восхищающее тебя в Штатах, было бы в принципе возможно, если бы не наша революция? А?..

– Всё это опять пропаганда, – засмеялся Сергей. – Всё это мы уже слышали, а потому не верим – видим-то другое.

– Во-первых, – устало сказал Константин, – если неприятный тебе человек скажет, что дважды два четыре, это не означает, что нужно бросаться его опровергать. Во-вторых, слова «пропаганда» и «советский» – это не синонимы. И может статься, это ты сейчас говоришь с чужого голоса, с голоса чужой пропаганды. И не с системой надо бороться, Серёжа. А скифа из себя изживать.

– Скифа?

– Или кипчака, если так больше нравится.

– А как же моя мама? – тихо спросил Сергей.

– Серёжа, я очень сочувствую тебе, – так же тихо ответил Константин, помолчав и как будто подыскивая слова. – Но я ничего не знаю о том, что произошло с твоей мамой.

– Вы хотите сказать, что всё… всё было правильно?

– Я не знаю. А говорить огульно я не хочу.

Они помолчали. И оба почувствовали, что устали и что говорить больше не о чем. Сергей встал.

– Спасибо, Константин Ардалионович. Мне пора.

И добавил зачем-то:

– Я позвоню.

* * *

Ещё в Рязани Сергей мечтал побывать в «своей» квартире. Он представлял, как входит в комнату, где жил когда-то, как садится на диван... Многие хотят вернуться в прошлое, хотя и не знают, для чего это нужно.

В Москве он всё никак не мог решиться появиться в квартире. Сколько раз он бывал на Арбате и даже как-то зашёл в подъезд. Но позвонить

не решался. Зато по табличкам на двери он выяснил, что из прежних жильцов в квартире остался только Константин. Через год он всё же решился. Взглянуть на Константина тоже было любопытно, однако не ради учителя истории Сергей стремился в эти комнаты.

Казалось, здесь ничего не изменилось – даже запахи были те же, что и десять лет назад. В прихожей та же вешалка, тот же потемневший паркет, а на дверном наличнике в их бывшую комнату Сергей разглядел короткие полоски, сделанные синим и красным карандашом, – так они с Ленкой отмечали свой рост. В комнате Марьи Гавриловны стоял всё тот же стол, на котором прежде старушка раскладывала пасьянсы. Именно на этом диване они с Ленкой лежали, когда шёл обыск и когда Марья Гавриловна назвала их «бедными деточками». Даже фотографии на стенах были ему знакомы – все эти барышни в белых передниках, с бантами в косах, эти дамы в перстнях висели здесь ещё при Марье Гавриловне.

Ему стало тоскливо. Хотелось что-то сделать, куда-то пойти, но он не понимал – что, куда… Вдобавок к этой сумятице Константин вызвал его на бессмысленный спор, надеясь, очевидно, в чём-то переубедить. Полемический запал взял верх над педагогическим опытом, и Константин не учёл, что навеянные квартирой страшные воспоминания, особенно после долгой отлучки, не позволят собеседнику не то что принять иное мнение, но хотя бы его услышать.

Впрочем, затея учителя была пустой и по другой причине. Есть, как известно, время любить и время ненавидеть, время собирать камни и время, когда эти самые камни разбрасывают. И вот – наступило время разбрасывания камней на застеклённой веранде. Чтобы осколки разлетались во все стороны, вспыхивали на солнце, резали босые ноги и окрашивались кровью. Те, кто разбрасывал в ту пору камни, считали себя особенными. Все остальные так не считали, но особенным это было неинтересно. Они знали, что они лучшие. И вообще знали всё про «лучшее» – где лучшее место на планете, где делают лучшие штаны и ботинки, где лучший харч и лучшие забавы. Они стремились туда, в эти палестины, и посмеивались над неосведомлёнными простецами. Они надевали на себя особенные вещи и слушали особенную музыку – это были пароли, а тот, кто не понимал их предпочтений, был простецом и чужаком. Они могли узнавать друг друга по ботинкам и даже по подошвам ботинок, они отличали своих от чужих по подкладке пиджака и по строчке на отворотах штанов. Они были молоды и, как все молодые, романтичны и мечтательны. Но романтизм их был особого рода и отзывался на имена городов. Достаточно было сказать «Будапешт», а чуть позднее ещё и «Прага», как в их глазах появлялся тревожный блеск, а кулаки негодующе сжимались. И этот блеск, эти кулаки тоже служили опознавательным знаком в мире простецов.

Они знали, что их отцы были на баррикадах, и тоже грезили баррикадами. Но, по странному расположению звёзд, они видели себя по *ту* сторону баррикад и смотрели на отцов в прицел.

Они носили кресты и верили в переселение душ, они осуждали войну, но только в одном-единственном случае. Они воображали, что борются за свободу, но не могли объяснить, что это значит. К тому же их свобода оказалась патентованным товаром.

«Молодые штурманы будущей бури» – так или вроде того думали они о себе. Но не было ни штурманов, ни бури. Что же было? Кто-то назвал это восстанием лавочников, грезивших о том, чтобы отпирать

свои лавки, когда им вздумается. Но всё это слишком отвлечённо и не слишком красиво. Дайте нам другое объяснение, воззовём мы. Чтобы всё стало понятным раз и навсегда, и чтобы человек не был унижен.

Но никто так и не сказал до сих пор, что означало это разбрасывание камней на застеклённой веранде. Чем было оно вызвано. Скольжением далёкой звезды? Смещением земной оси? Пробуждением лунного дракона? Никто в целом свете так и не дал исчерпывающего объяснения.

Сами того не ведая, они возродили древние чаяния грядущего будто бы Царствия Божия на земле. И, не утруждая себя долгой думкой, потянулись туда, где, по их представлениям, это Царствие уже наступило.

Ничто не могло бы поколебать Сергея Дмитриевича в его вере и упованиях. Перед ним всегда был образ его матери – арестованной и навсегда пропавшей по воле неизвестных ему людей. А рядом был образ учителя истории – пусть принципиального и последовательного, но всё же – наивного резонёра, грезившего миражами и доверявшего убийцам матери. И когда стали падать старые кумиры, возликовал Сергей Дмитриевич.

Учась, он нашёл сестру, жившую в Ленинграде. С тех пор они поддерживали отношения – обменивались открытками к праздникам, иногда писали друг другу письма, бывало, и перезванивались. Елена Дмитриевна присылала в посылках варенье собственного приготовления, а Сергей Дмитриевич в ответ отправлял московские конфеты. С рязанскими родственниками отношения прервались. Поначалу они писали друг другу, но однажды Галя исподволь и осторожно намекнула, что Ваня побывал в Праге. И с тех пор Сергей Дмитриевич стал стесняться этого родства. «Не мне, сыну невинно репрессированной, – говорил он, – водить дружбу с *такими* людьми». С ним соглашались.

Насмешливый, презирающий, он вступил в жизнь с сознанием своего превосходства над большинством соотечественников. Но, не успев оглянуться, однажды обнаружил себя лысеющим, обрюзгшим, ссутулившимся, забросившим свой саксофон и влачащим дни в пыльной редакции, заваленной рукописями и разномастными книгами с дарственными надписями. Сергей Дмитриевич отпустил усы, похожие на платяную щётку, приобрёл привычку громко откашливаться и выпустил два сборника стихов собственного сочинения с небольшой книжкой рассказов в придачу. К этому времени взрослая дочь Сергея Дмитриевича жила в Ленинграде, а сам Сергей Дмитриевич занимал двухкомнатную квартиру в районе Киевского вокзала. Он был женат на известной в Москве критикессе, дочке партийного чиновника, критиковавшей с удовольствием и не столько в силу профессиональной необходимости, сколько по природной склонности. Читая написанные женой критические разборы, Сергей Дмитриевич думал порой, что не будь у неё специального образования и номенклатурного отца, призванием её стала бы скамейка у подъезда, где добродетельные старухи выявляют общественные язвы и личные пороки окружающих.

Ещё у Сергея Дмитриевича были друзья среди известных писателей, с которыми он охотно проводил время в Центральном доме литераторов, потягивая коньячок и обмениваясь глубокомысленными замечаниями на эзоповом языке. Замечания, само собой, касались мрачной действительности, а заодно и исчезнувшей в недрах веков (подобно граду Китежу), скрывшейся в волнах времени былой России. Надо сказать, что окружали Сергея Дмитриевича люди с непреклонными убеждениями и жёсткими представлениями обо всём на свете – о прошлом и настоящем,

о низменном и благородном, о прекрасном и безобразном. И как раз идеалом благородства и красоты в этих представлениях выступала ушедшая в пену дней Россия. С колокольным звоном, пирогами-расстегаями, птицами-тройками и всенепременной чёрной икрой. В этой чудесной России все были сыты и счастливы, жили одной дружной семьёй и буквально во всём опережали остальной мир. Один знакомый писатель в ознаменование своих убеждений даже носил перстень с изображением последнего императора. Сергей Дмитриевич хотел было заказать такой же, но рассудил, что на подражании далеко не уедешь, и оставил затею.

В кругу Сергея Дмитриевича, тоже вполне сытом и не имевшем выраженных оснований горевать, отчего-то было принято испытывать тоску по временам, в которые никто и никогда не жил и о которых судили исключительно по русской литературе. А поскольку литературу здесь знали неплохо, то создавалась иллюзия знания описанной жизни, в ностальгии по которой коротали дни усатые и обрюзгшие приятели Сергея Дмитриевича.

Впрочем, их грёзы не ограничивались прошлым – идеал настоящего тоже был хорошо известен и произрастал всё из тех же трофейных фильмов, так любимых Сергеем Дмитриевичем. И не только им. Будущее, как водится, было туманным. От будущего ждали перемен и своеобразного слияния настоящего с прошлым. «Да, – говорили они, – пока жива Софья Власьевна, добра не жди». И лукаво переглядывались, довольные, как ловко обводят они вокруг пальца обсуждаемую. Всё было загадочно, таинственно, неопределённо и не особенно понятно. Но в этом хаосе идей, в неразберихе понятий бился нерв, стучал пульс, придававший жизни остроту, наполнявший каждый день невыразимым смыслом. Сергей Дмитриевич, как в юности, снова попал в замкнутый мирок со своим языком, мировоззрением и даже со своей культурой и образом жизни.

Гомон прокуренных ресторанов, коньяк, захламлённая редакция, набитая книгами квартира, санаторий в Ялте или в Паланге, снова коньяк. И разговоры, разговоры, разговоры… Жизнь, как ручей среди камней, протекала среди удовольствий, незаметных и несознаваемых, принимаемых как данность. Словно это была не жизнь, а смена времён года.

А потом случилось невиданное, но горячо ожидаемое: газеты запестрели новыми словами. Отовсюду только и слышалось: «гласность», «ускорение», «свобода». Чёрт его знает, что означали эти слова! Но все были уверены: наверняка что-нибудь хорошее. В кругу Сергея Дмитриевича началось оживление и даже брожение. Перемен не просто ждали, их алкали и вожделели, чая при этом наступления каких-то небывалых новых времён – с православным царём и кока-колой. Новые времена не торопились. Хотя перемены действительно стали происходить, напоминая ледоход, когда лёд вдруг начинает трещать, вздыбливается, и вот уже льдины одна за другой уплывают, чтобы навсегда исчезнуть и высвободить воду.

Мимо Сергея Дмитриевича проплывали разные льдины. Но так уж сложилось, что внимание его было приковано к двум: возможности перебраться в цивилизованную страну – так это тогда называлось – и к разрешению ознакомиться с делами репрессированных родственников. Об отъезде Сергей Дмитриевич задумывался не раз. Да и жена уговаривала его ехать в Германию. Способов было несколько. Во-первых, жена имела этническое право на переезд. А во-вторых, и сам Сергей Дмитриевич получил интересное предложение. Однажды в рабочем

кабинете у него раздался звонок. Сергей Дмитриевич, ненавидевший телефонные разговоры на работе, поднял трубку и недовольно буркнул в неё:

– Редакция. Отдел поэзии.

Неприязнь Сергея Дмитриевича к телефонным звонкам связана была, прежде всего, с тем, что звонили ему преимущественно авторы и требовали ответов на два вопроса: когда будет опубликована подборка, и если в публикации отказано, то каковы причины отказа. Приходится признать, что Сергей Дмитриевич любил отказывать. Более того, он получал удовольствие, объявляя настырному автору, что стихи его не могут быть напечатаны по причине полнейшей бездарности. В такие мгновения Сергей Дмитриевич напоминал маньяка, приковавшего жертву к батарее и объявившего, что живой она отсюда не выйдет. А далее оставалось лишь сладострастно и похотливо наблюдать, как жертва, начиная с угроз и возмущений, постепенно переходит к слезам и мольбам, признавая неизбежность и неумолимость происходящего, а равно и безвыходность своего положения.

Но вопреки ожиданиям Сергея Дмитриевича, в тот раз позвонил не автор. Звонивший, как показалось Сергею Дмитриевичу, говорил с лёгким акцентом. Он поздоровался, справился, с Сергеем ли Дмитриевичем говорит, и, удостоверившись, что искомый абонент на проводе, представился.

– Дирк Ратценбергер. – И пояснил, что работает в западногерманском издательстве и предлагает Сергею Дмитриевичу – да, да, лично ему, писателю Сарицкому, – интересное сотрудничество.

– Сейчас такое время, – пояснил герр Ратценбергер, – когда люди хотят знать правду. Больше правды! Нужно говорить о том, о чём раньше нельзя было говорить.

– Вы имеете в виду тоталитаризм? – уточнил Сергей Дмитриевич.

– О! – засмеялся его собеседник. – В общем – да. Но всё же тут нужна… э-э-э… некоторая тонкость. Не так прямолинейно! Никому не нужны новые лозунги – их время прошло. Ну, вы знаете Катынь. Или как большевики использовали детей для диверсий. Такие темы. Это интересно!

– Но, кажется… всё это совсем наоборот… – неуверенно проговорил Сергей Дмитриевич. – То есть… это с другой стороны…

Он хотел как-то поделикатнее выразить свою мысль, чтобы не обидеть нового собеседника. Но тот лишь усмехнулся в ответ на его деликатность.

– Ну вы же взрослый человек, – снисходительно заговорил он, – и вы должны отличать сталинскую пропаганду от истинного положения дел. Вот и донесите эту правду до соотечественников. И ваших друзей за рубежом. Тем более в этом есть потребность.

– Да, да, конечно, – вынужден был согласиться Сергей Дмитриевич, задавшийся тем временем вопросом, а не прослушивается ли его телефон и не заинтересуется ли, по старой памяти, власть его контактами с иностранцами.

Но собеседник словно услышал эти мысли и почти сочувственно проговорил:

– Мы понимаем – это непросто. Но теперь всё изменилось, и президент вашей страны – большой друг Германии. В любом случае мы будем помогать вам работать. И документами, и гонораром, и… э-э-э… убежищем. Вы можете вместе с вашей супругой переехать куда-то

в Германию. Там у вас будут условия для работы – маленький домик, хорошее питание, отдых… Всё, что надо писателю.

Сергею Дмитриевичу захотелось спросить, почему предлагаемый домик должен быть непременно маленьким. Но он передумал, решив не привередничать. И сказал только, что нужно время всё обмозговать.

– О! – сердечно воскликнул Дирк Ратценбергер. – Конечно! Я вас не тороплю. Мозгуйте, сколько будет нужно.

Они условились, что Сергей Дмитриевич взвесит все за и против, осмыслит ситуацию и сообщит господину Ратценбергеру о своём решении по телефону, номер которого немецкий издатель продиктовал тут же.

Всё было просто и буднично, без тайн и выраженных опасений, без оглядок и шепотков, без надвинутых на глаза шляп и поднятых воротников. А потому Сергей Дмитриевич, в общем и целом, не воспринял это предложение как нечто, с чем порядочному человеку не стоит иметь дела. Вернее, одинокие мысли забредали ему в голову, но Сергей Дмитриевич только пожимал плечами и говорил сам себе: «Да ну! Ничего похожего!.. Просто есть сейчас интерес – время такое!..» И на этом успокаивался. А между тем…

* * *

Между тем декабрь ещё только начинался, а Москва уже вовсю прихорашивалась, напоминая спешащим горожанам, что Новый год не за горами и пора бы уже начинать готовиться к празднику – запасаться шампанским и крабами, икрой и сервелатом, подарками и ёлочными игрушками. И ещё пару лет назад всё так и было бы – рядовые москвичи рыскали бы по городу в поисках сервелата, а Сергей Дмитриевич отправился бы на улицу Грановского, где от имени тестя приобрёл бы всё, что нужно к новогоднему столу. Но теперь многое изменилось. Сервелат можно было купить в коммерческом магазине или в палатке у метро. Но в магазине ароматная палка подкопчённого рубленого мяса стоила целое состояние, а в ларьке покупать было страшно, потому что рассказы о найденных в спелёнатом фарше когтях и мелких зубах обошли уже всю Москву. Но в любом случае внимание Сергея Дмитриевича было занято не приближающимися праздниками. Путь его пролегал на Кузнецкий мост, где в тесном помещении собирались желающие узнать правду о своих родственниках, которые, подобно матушке Сергея Дмитриевича, однажды вдруг исчезли, неизвестно куда и непонятно почему.

В начале декабря подошла очередь Сергея Дмитриевича ознакомиться с делом Сарицкой Нины Борисовны, подарившей когда-то ему жизнь, а впоследствии бесследно пропавшей. По пути на Кузнецкий мост Сергей Дмитриевич поймал себя на мысли, что волнуется так сильно, будто готовится к всамделишной встрече. Впрочем, решил он, узнать хоть что-нибудь значило бы обрести родительницу вновь.

Добравшись до Кузнецкого, он сбавил шаг, оттягивая долгожданное свидание. Он был воодушевлён. Вот сейчас… Ещё немного, и он наконец-то узнает правду. Он остановился, поднял глаза на низкое серое небо, посмотрел, как мелкие снежинки появляются перед лицом и тихо соскальзывают под ноги. Вообще-то, он и так знает правду. Но сейчас получит неопровержимые доказательства, увидит документы, ознакомится с показаниями… А что потом? Потом он будет просто обязан рассказать

о полученном знании. Рассказать и, конечно, написать. Воспоминаний, исследований появляется сейчас немало. Это неудивительно – люди изголодались по правде и буквально кидаются на доступные им крохи. А правда пока не открыта полностью. Те, кто всё это время скрывал её, лишь отщипывают кусочки и рассыпают крошками, словно ломоть хлеба перед курами. Но ведь и Сергей Дмитриевич сможет добавить своих крошек. Тем более как сотрудник журнала он имеет недурную возможность напечатать собственные воспоминания. Конечно, лавры Солженицына ему уже не снискать, но всё же история может получиться оригинальной – ведь он напишет о матери. И Сергей Дмитриевич уже видел, как в нескольких книжках журнала выходит его будущий труд, посвящённый невинно пострадавшей матери и срывающий личины с её палачей.

Его встретили жёлтые застеклённые шкафы, пепельницы на письменных столах, протёртые стулья и кресла и яркий белый свет из потолочных стеклянных трубок.

Он оказался за одним из столов. Перед ним легла распухшая картонная папка с тесёмками на боку. Дрожащей рукой он потянул за тесьму, папка с тихим шелестом раскрылась, и Сергей Дмитриевич прочитал:

Постановление. ...Установлено, что с 1942 по 1944 гг. работала в тюрьме посёлка N, где приводила в исполнение массовые смертные приговоры. Сарицкой (в то время Будашевой) расстреляны партизаны, члены их семей, включая детей. После освобождения Белоруссии Советскими войсками уехала вместе с немцами, после чего попала в лагерь в Кёнигсберге. После освобождения Советскими войсками лагеря, выдала себя за медсестру, попавшую в плен в 1941 г. во время битвы за Москву. Вскоре после освобождения из лагеря вышла замуж за советского военного врача Дмитрия Ивановича Сарицкого и переехала с ним в Москву. До 1954 г. находилась в розыске. Опознана свидетелями её преступлений...

Сергей Дмитриевич не мог поверить своим глазам. Нет, это какая-то ошибка – ему дали чужое дело. Хотя на фотографии была действительно его мать, да и отца – военного врача – действительно звали Дмитрием Ивановичем. А вот девичью фамилию матери он не помнил. Он всегда относил это к аресту и винил во всём власть: чужой преступной волей распалась связь времён, развалилась семья, и он не узнал своих корней… Тут Сергей Дмитриевич сообразил: он так торопился раскрыть заветную папку, что не посмотрел ни название, ни номер дела. Он резким движением закрыл папку и прочитал на обложке: «Уголовное дело № 54. По обвинению Сарицкой Нины Борисовны в преступлении, предусмотренном пунктом “а” статьи 64 УК РСФСР».

Сергей Дмитриевич знал, что это за статья такая – в советской литературе любили на неё ссылаться. Шпионские романы всегда вызывали у Сергея Дмитриевича презрение, хотя читать их доводилось. Шестьдесят четвёртая статья подразумевала измену Родине. То есть деяние, как гласил закон, «умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти». «Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью…» –

мелькнуло у него в голове. Но он всё ещё не верил, что это имеет отношение к его матери. Он стал перебирать листы… Описи, квитанции, рапорты, расписки… Наконец дошёл до протоколов допроса. Вопросы о родителях, о семье… как призывалась… как попала в плен… Вот!

Вопрос: Расскажите о том, как вы оказались в Белоруссии.

Ответ: В плен попала под Москвой. Но потом меня отправили в Штатлаг № 337, недалеко от Барановичей. Это Белоруссия.

Вопрос: А как вы оказались в тюрьме посёлка N?

Ответ: В лагере предложили работать. Я согласилась. Обещали питание, проживание, даже заработную плату.

Вопрос: Вы знали, что за работа?

Ответ: Знала, что в тюрьме. И всё. Сначала мне не объясняли обязанностей. Потом, когда согласилась, научили стрелять и брали на облавы партизан.

Вопрос: Вы стреляли на облавах в партизан?

Ответ: Я не знаю, в кого стреляла. Мне говорили, я делала.

Вопрос: А когда вы стали расстреливать пленных?

Ответ: Впервые – летом 1942 г. Начальник тюрьмы приказал мне, я не могла отказаться – тогда бы меня расстреляли.

Вопрос: Скольких человек вы тогда расстреляли и как именно?

Ответ: Тогда пятерых. Пулемёт привезли на подводе, потом сняли, поставили напротив пленных – метрах в пятнадцати. Я присела на корточки, навела пулемёт и, когда дали команду “Огонь!”, застрочила. Они падали в яму – там уже была яма выкопана...

* * *

Короткий зимний день уже умер, когда Сергей Дмитриевич вышел на улицу и остановился в оцепенении. Ему казалось, что внутри у него всё перевернулось да так и застыло вверх тормашками. В голове гудело. Он словно слышал то реплики и вопросы следователя, то ответы матери. Он распадался, раздваивался и начинал спорить с самим собой. «Что же это? – думал первый Сергей Дмитриевич. – Всё справедливо?» «Ничего не справедливо, – угрюмо отвечал второй. – Ведь ясно же – её вынудили так поступить. Не начни тиран войну, ничего бы этого не было. Люди не были бы поставлены в условия, когда приходилось делать страшный выбор и нести неподъёмную ношу». «Если даже и так, – робко продолжал первый Сергей Дмитриевич, – всё равно получается, что с точки зрения закона она получила по заслугам». «Чушь! – кричал второй. – Закон тут ни при чём. Закон можно любой написать». «Ни в одной стране мира!..» – восклицал он чуть погодя, не вполне понимая, что именно вкладывает в это восклицание и чего именно нет ни в одной стране мира. Ведь как ни крути, но получалось, что буквально всё, о чём бы он ни думал, есть, так или иначе, повсюду. Да ещё и в превосходящих количествах. И это было ужасно.

Он постоял немного и побрёл по Кузнецкому мосту вниз к Неглинной и Петровке, бессмысленно разглядывая сновавших вокруг прохожих. Мимо него мелькали серые пальто, коричневые дублёнки, пёстрые пуховики, красные мохеровые шарфы, пыжиковые шапки… Всё казалось ему ещё более нелепым, чем обычно. Большие стеклянные витрины Кузнецкого, окна ЦУМа и окружавшие его палатки с дурацкими гирляндами лампочек – всё это ярко светилось, как будто ничего не произошло, как будто мир не перевернулся.

Сергей Дмитриевич чувствовал себя обманутым. Но в том, кто именно его обманул, он не хотел себе признаваться. Выходило, что те, кого он давно уже ненавидел, были не то чтобы правы – этого Сергей Дмитриевич ни за что бы не признал! – но, во всяком случае, не так уж и виноваты. А виноваты были как раз другие – те, кого Сергей Дмитриевич ни за что бы не стал обвинять. Но главная странность всей этой путаницы заключалась в том, что несправедливо, как выяснилось, ненавидимые Сергеем Дмитриевичем стали ему ненавистны вдвойне.

Переходя через Петровку, Сергей Дмитриевич обернулся на просигналившую машину и вдруг задался вопросом: а чего ему всегда не хватало? Чего он хотел? Но ответ был готов и мешал думать. Ответ висел в воздухе и передавался из уст в уста. И раздумывать над ним было бы так же нелепо, как подыскивать пионеру ответ на призыв всегда быть готовым. Конечно свободы! Ему не хватало свободы. Но тут из глубин памяти поднялся образ Марьи Гавриловны с её теургией и каббалистикой. «Что есть свобода»? – вопросил Сергей Дмитриевич у призрака, виденного Марьей Гавриловной. Но ответить было некому. И Сергей Дмитриевич поспешил прочь от проклятых вопросов.

В метро он уселся рядом с гражданином его лет, увлечённо читавшим газету. Скосив глаза, Сергей Дмитриевич увидел большой портрет Берты Бородкиной и выхватил пару строк из текста статьи. Писали, будто знаменитая взяточница жива, а приговор суда так и не был приведён в исполнение. Хозяин газеты перехватил взгляд Сергея Дмитриевича и, желая, очевидно, обсудить прочитанное незамедлительно, обратился к нему:

– И что вы думаете об этой воровке?

– Да, право, не знаю, – неохотно проговорил Сергей Дмитриевич, дёрнув плечом. – Козу отпущения сделали из тётки.

– И ведь до сих пор не расстреляли. Каково?

– А вам надо, чтобы непременно расстреливали? Неужели мало вам крови? – неожиданно для самого себя, громко, торопясь и волнуясь, заговорил Сергей Дмитриевич. – Откуда эта азиатская жестокость у целого народа? Как же вы все любите «высшую меру»! – последние слова он произнёс, скривившись, давая понять, что думает об этой самой «мере».

Сосед, однако, встретил его гневную тираду на удивление спокойно.

– Крови? – повернулся он к Сергею Дмитриевичу.

И тот увидел совсем рядом чужое удивлённое лицо.

– «Крови», вы говорите? – сосед так удивлялся, будто Сергей Дмитриевич предлагал ему наполнить кровью стакан. – Ну уж нет! Кровь тут совершенно ни при чём! И высшая мера – не сама по себе, молодой человек, – строго и покровительственно проговорил он. – Так любимое некоторыми товарищами «гражданское общество» тоже должно себя защищать. Как и любое другое общество. Да! В том числе и при помощи высшей меры. Вы понимаете? Высшей меры социальной защиты!

Сергей Дмитриевич ощутил горячее желание плюнуть в это близкое чужое лицо. Слушая резонёрствующего перед ним пассажира, он вдруг преисполнился такой ненавистью, что предпочёл встать и выйти на первой же станции.

Спустя примерно полчаса он уже поднимался по лестнице своего подъезда в доме на Брянской улице. Машинально, не глядя, поздоровался с соседской девочкой, сбегавшей по лестнице и раскачивавшей в руке нотную папку. Зайдя в квартиру и щёлкнув выключателем, он

сбросил с себя дублёнку прямо на пол. Жена была в командировке, и Сергей Дмитриевич даже обрадовался, вспомнив, что сможет побыть один. На дублёнку упала пыжиковая шапка и перчатки. Не снимая ботинок и шарфа, он прошёл в большую комнату и опустился в кресло возле журнального столика, на котором памятником досугу возвышался красный телефонный аппарат.

По пути домой Сергей Дмитриевич всё обдумал. Сейчас он снял трубку и вздрогнул от звука вырвавшегося гудка. Потом извлёк из внутреннего кармана бумажник, из бумажника – сложенный вдвое листок из блокнота и навертел на аппарате записанный на листке номер. Ждать не пришлось. На другом конце провода сразу ответили, как будто ждали звонка.

– Алло… – устало проговорил Сергей Дмитриевич. – Алло… Господин Ратценбергер?

– Слушаю, – ответил знакомый голос с лёгким акцентом.

– Это Сарицкий, писатель. Пару месяцев назад вы звонили в редакцию...

– Рад слышать вас, господин Сарицкий, – раздалось из трубки. – Добрый вечер! Ну как? Вы уже обмозговали?

– Да, – выдохнул Сергей Дмитриевич. – Добрый вечер. Если ваше предложение остаётся в силе, я его принимаю.

– Я знал, что вы умный человек, – спокойно и, как показалось Сергею Дмитриевичу, безразлично произнёс Дирк Ратценбергер. – Давайте сделаем так...

Тут он умолк, и Сергей Дмитриевич даже забеспокоился.

– Алло! – воскликнул он.

– Да, да, – ответила трубка. – Я здесь. Давайте сделаем так. Вы знаете казино «Москва»?

– Это в гостинице «Ленинградская»? На площади трёх вокзалов? – уточнил Сергей Дмитриевич, хотя отлично знал это казино и даже бывал там.

– Да, так. Приезжайте завтра к двадцати трём часам. Вы скажите хосту, что я вас жду. Меня знают и проведут вас.

– Хорошо, – Сергей Дмитриевич хотел ещё что-то сказать, но в трубке стукнуло, и телефон нетерпеливо запищал в ухо Сергею Дмитриевичу.

Спал он плохо и тревожно. Во-первых, он уснул, не раздеваясь, на диване. А во-вторых, невозможно было представить, чтобы впечатления прошедшего дня так легко отпустили его. Сны проходили перед ним подобно каравану. И образы сменяли один другой, как миражи в пустыне. Приснилась ему арбатская квартира в двухэтажном кремовом особняке. Будто стоял он в тёмном коридоре, вдыхая знакомые и привычные запахи валерьянки, лавровишневых капель и гуталина. Не замечая Сергея Дмитриевича и не касаясь ногами пола, проплыла по коридору Марья Гавриловна, бормотавшая неясные слова и державшая под руку незнакомую Сергею Дмитриевичу и совершенно прозрачную даму. Процокала каблучками Инна Леонидовна, бросившая на ходу: «За слезинку ребёнка и расстрелять не грех». С гулким стуком прогремели где-то в недрах квартиры сапоги Константина Ардалионовича. И сам он, вдруг появившись, сказал: «Скифу степь милее завода с университетом. И костёр в степи светит ярче тысячи электрических ламп. Мы хотели изменить скифа. Но он убежал и теперь на свободе. Скиф победил, Серёжа». От этих слов Сергею Дмитриевичу стало страшно. Он понял, что должен зайти в свои комнаты, подошёл и открыл дверь. В первой же комнате он увидел, что за столом сидит мать.

– Мама! – слабо позвал он, желая, чтобы она обернулась, и в то же время боясь этого.

Но она не оборачивалась и только ниже склонила голову. Он медленно подошёл и снова позвал, совсем тихо:

– Мама…

Она склонилась ещё ниже. Тогда он, зная, что не следует этого делать, протянул руку, коснулся её плеча и попытался развернуть её к себе. Она легко поддалась, повернулась, и… Сергей Дмитриевич увидел, что у неё нет лица, закричал и проснулся…

В тот день ему не нужно было в редакцию, и он остался дома. Вечером он принял душ, неспеша собрался, надев лучший костюм. И ровно в десять часов вечера вышел из дома. В опустевшем переулке, не доходя вокзала, он остановился у киоска, чтобы купить сигарет. Но тут услышал шум двигателя за спиной и обернулся. Подъехал длинный чёрный автомобиль с затонированными стёклами. Сверкнула на капоте трёхконечная звезда в хромированном круге, и автомобиль остановился. Вышли пятеро одинаковых парней и направились к тому же киоску. Все были коротко стрижены, одеты в трикотажные штаны с лампасами и чёрные кожаные куртки. Подойдя к киоску, компания тотчас оттёрла Сергея Дмитриевича от окошка.

– Господа, позвольте!.. – возмутился Сергей Дмитриевич, отступая к бетонной урне в торце палатки.

Тут только его заметили. Вся компания повернулась к нему и посмотрела, как на диковинное недоразумение.

– Мы не покупатели, – буркнул один из парней.

– Да, дядя, а ты шёл бы мимо, – сказал кто-то ещё.

– Почему, собственно, я не могу купить сигарет? – взбунтовался Сергей Дмитриевич.

– Потому, – ответил ему третий голос.

Косоглазое лицо глянуло на Сергея Дмитриевича, непонятно, каким глазом, сплюнуло и изрекло с косой ухмылкой:

– Ты что, не понял?

А в следующее мгновение чья-то вытянутая рука внезапно мелькнула перед носом Сергея Дмитриевича, и пыжик съехал ему на глаза.

– Милиция! – пискнул Сергей Дмитриевич, хватая руками воздух.

Но ответом ему стал неистовый гогот, словно мимо пронёсся табун диких мустангов.

– Не дозовёшься! – гаркнул кто-то.

Сергей Дмитриевич попятился и, споткнувшись об урну, осел на неё, как чайная баба на чайник. И снова раздался гогот. И Сергею Дмитриевичу привиделось что-то из Майна Рида – прерии, одержимые жеребцы, бизоны... Но всё это было слишком ужасно, чтобы спокойно любоваться, и Сергею Дмитриевичу стало вдруг страшно, нестерпимо страшно. Голова закружилась, а сердце заколотилось в горле. Он схватился было за горло, но тут его словно сдавило со всех сторон, и рука безвольно опустилась.

– Э, дядя, ты чего? – услышал он откуда-то издалека.

И тут ему полегчало. Вспомнился Арбат, Марья Гавриловна, пахнуло откуда-то лавровишней… «Как хорошо…», – подумал Сергей Дмитриевич, скатываясь с урны на асфальт. Свет померк перед ним, и Сергей Дмитриевич стал наконец-то свободен…

Виктор КУСТОВ

Родился в 1951 году в Смоленской области. Окончил Иркутский политехнический институт, геологоразведочный факультет. Работал в газетах Иркутска, Саяногорска, Красноярска, Черкесска, Ставрополя. Главный редактор литературного журнала «Южная звезда».

Автор более десяти книг прозы, публицистики, пьес. Член Союза писателей России. Живёт в Ставрополе.

МИЛАЯ ОСОБЕННОСТЬ

В зимнем сумраке – солнышко. Это Машенька. У Машеньки – своя жизнь и милая особенность. Из-за этой особенности всё и случается. Вот и вчера Машенька опоздала на самолёт. Вроде и торопилась, но в машине было уютно, тепло, а за стёклами – слякоть и ветер, а лысоватый хозяин машины журчал и не спешил. Надеялся. Но у него так ничего и не вышло, кто-то из них потерялся: то ли он – в Елисеевском, то ли она – в ожидании.

Машенька от этого совсем не огорчилась и вот теперь летела в будущее и не знала, как себя вести. А рядом в кресле сидел седоватый и симпатичный, и богатенький. И, наверное, умный, потому что говорил непонятно, как гадалка. А она то слушала, то не слушала и не хотела прилетать...

Вокруг неё вообще было много непонятного. Понятность закончилась, когда она должна была вступать в комсомол, но комсомола вдруг не стало. Как не стало и ещё многого, более серьёзного, если судить по их жизни и верить папе. Но она не вникала в их с мамой споры. И даже когда та ушла к Ермолину «по политическим соображениям», особо не переживала, потому что Ермолин становился всё богаче и дарил модные вещи. Папа тоже ушёл по «политическим соображениям» к какой-то Розе, и от него Машенька получила квартиру и балдела по вечерам, включая на всю мощь магнитофон и прыгая на большой семейной кровати.

Жить одной оказалось даже интереснее: она любила гостей, у неё всегда кто-нибудь ночевал, и ей не было скучно. Целоваться она научилась быстро и здорово и могла сколько угодно крутиться перед зеркалом, изучая своё тело и трогая разные места. Но никому другому не разрешала этого. Мальчиков тоже не оставляла на ночь, даже если просили подружки, поэтому скоро к ней перестали приходить старые знакомые, но почти каждый день находились новые, в основном мужчины. Они напрашивались в гости, и она приводила их домой. С аппетитом ела всякую вкуснятину, которую они покупали, а после звала Ивана Степановича, соседа. Тот входил в дверь, пригибая голову, басил о позднем времени, о том, что девочке пора спать, и, скрестив руки, ждал, пока уйдёт очередной гость. А потом допивал вино, доедал ужин и шёл к себе, неизменно грозя пальцем: «Ой, девка, дошутишься...»

Когда было туго с деньгами, выручал Ермолин: он тоже был как-то у неё в гостях, тоже ужинал и пил водку, но ни на что не намекал, только предлагал обменять квартиру и ушёл безо всякого Ивана Степановича,

хотя Машенька хотела, чтобы он остался. И даже готова была претерпеть ужасное, мысленно привыкая к его тяжёлому телу, потому что... Потому что ей с детства говорили, что она вся в мать, и ей нравилось всё, что нравилось матери.

Мать звонила довольно часто.

Отец давал знать о себе реже, извинялся, что мало чем может помочь, проклинал время, демократов, агентов ЦРУ, русский народ, намекал, что может исчезнуть, и, вероятно, надолго.

Так и случилось пару месяцев назад. Ермолин сказал, что Роза увезла его в Израиль. «Крысы, – сказал Ермолин. – Я тоже еврей. Может быть, больше, чем он, но не бегу. Нищий здесь – нищий там. Голова есть – везде прожить можно. А в России – лучше».

Тогда Машенька и поинтересовалась, чем её молодой отчим занимается. Но Ермолин мягко шлёпнул её по попке и сказал, что она слишком худа и угловата, но если судить по маме, то со временем мужика себе подцепит стоящего, ибо есть в бабьей породе нечто дьявольское, – имея в виду Машенькину маму и, конечно, секс. Об этом Машенька догадалась. И, когда Ермолин ушёл, стала вспоминать ночные звуки из родительской спальни, мамины стоны и папино шиканье, а потом выключила свет и, раскинув ноги, поджимая живот, тоже постаралась постонать. Но получилось больше как в видиках, по-киношному, непохоже на мамины стоны.

И согласилась с Ермолиным.

Насчёт мамы.

Вот с этой ночи основные неприятности и начались.

По ночам она училась стонать, а днём бродила по Москве, знакомилась, приводила гостей, но в последний миг всегда вспоминала об Иване Степановиче. А потом опять стонала, поглядывая на себя в зеркало.

Ей нравилось всё в себе: стройные ноги, налитая грудь, маленький живот, узкая талия. Немножко были худоваты руки, но это не очень огорчало. Огорчало другое, доставшееся от папы. Поняла, что от него, вспомнив, как он не торопился идти в спальню и часто шептал матери: «Устал я, сама же видишь...» – и вздыхал.

И Машенька вздыхала, а наутро опять выходила знакомиться.

И наконец познакомилась с молодым и симпатичным. С Игорем, который не был москвичом, но делал в Москве какие-то дела. Он подцепил Машу на Арбате, накормил мороженым, напоил кофе, набрал шампанского, шоколада, вообще был хорош. И дома у Маши всё продолжал сидеть в костюме. А потом сказал, что не хочет знать, что и как у неё было, и сейчас не останется, но ждёт её в гости, потому что если она понравится родителям, он женится на ней.

Машенька поцеловала его на прощанье, легко и тонко, с язычком, и он чуть не прилип, но пока приходил в себя, она выпроводила его, захлопнула дверь.

И засмеялась.

И подумала, что, если получится, слетает к Игорю.

Правда, скорее всего не полетела бы, но на следующий день Игорь привёз ей билет и деньги. Он был человеком слова и, торопливо прощаясь у такси, уже сам попробовал язычком. Но Машенька сжала зубы, и поцелуй получился невкусный. К тому же от Игоря пахло молоком.

Билет был на две недели вперёд: «чтобы родителей подготовить», и денег Игоря ей хватило на две недели, без новых знакомых, отчего Иван Степанович растерянно заволновался – «не заболела ли?» Машенька купила ему бутылку водки, успокоила.

Но через две недели она так и не полетела, билет сдала; как раз осталась без денег, познакомилась с одним стареньким, пузатеньким, называвшим её «дочкой» и страшно понравившимся Ивану Степановичу. Первый раз они разошлись под утро, довольные друг другом. Во вторую встречу, когда старенький дядя Митя снова пришёл, Иван Степанович сказал ей: «Не бойсь, не тронет», – и попросил дядю Митю приютить.

По вечерам они теперь выпивали и беседовали.

Дядя Митя спал на диване в большой комнате, а Машенька – в спальне, и единственное, что ей не нравилось, что когда она стонала, дядя Митя скрёбся в дверь и спрашивал: «Приболела, дочка?»

Но теперь у них были всегда ужин и чистота.

Потом пришла телеграмма «ЖДУ ЖДУ ЖДУ» и перевод от Игоря. И ей стало стыдно.

Она рассказала всё дяде Мите, тот поцокал языком, сказал, что последит за квартирой, и сам купил тот первый билет, по которому она не улетела. А потом и второй, сегодня, во Внуково. И проводил на посадку, помахав ручкой. И Машенька махнула, представив на миг, что это дедушка (она не помнила ни одного), а теперь, сидя в кресле самолёта, слушала умненького, который почти всё про неё знал. И мило улыбалась, как улыбалась всем, не понимая, что в пасмурное время это очень опасно.

«Машенька, вы – солнышко», – сказал умненький и назвался Сергеем.

И она улыбнулась так, что он даже прищурился:

«А вы, Машенька, – омут».

И ей опять стало интересно.

Вообще, он странное рассказывал о ней.

О том, какая она феерическая и какая трусиха.

О том, что в её простодушии – поразительная хитрость.

Что её коварство безгранично.

И что она породит множество драм и комедий.

«А вы где участвовать будете?» – улыбнулась она.

«В драме, – сказал он. – В последней».

И тут самолёт пошёл на посадку, Сергей замолчал. И Машенька вдруг почувствовала, что сейчас застонет и, уткнувшись ему в плечо, прошептала: «Возьми меня». И коснулась губами его шеи, теряя сознание от грубого запаха одеколона.

Но Сергей лишь положил свою ладонь на её руку:

«В последней, – улыбнулся, – найдёшь меня».

«Я нашла», – прошептала она.

Пассажиры торопливо поднимались, толпились у выходов, а Машенька всё цеплялась за ускользающую жилистую руку.

И смеялась...

На южный горячий ветерок они вышли молча и шли рядом до оградки, за которой ожидали встречающие.

Сергей кому-то улыбнулся и замахал рукой.

И Машенька услышала голос Игоря. Он подпрыгивал там же, за решёткой: «Маша, я здесь! Я здесь!»

Она всё замедляла шаг и уже довольно далеко отстала.

Но всё-таки услышала, как Сергей, обернувшись к ней, сказал: «До встречи. В последней драме...»

«Ненавижу», – хотела ответить Машенька и вдруг, догадавшись, прошептала: «И люблю...»

...Через два часа началось действие первой в её жизни драмы.

Ангелина СЫЧЕВА

Родилась в 2001 году в Нижнем Новгороде. Студентка Литературного института им. Горького, мастерская прозы Л.А. Юзефович. Пишет рассказы, публиковалась в сетевых журналах «Дегуста», «Формаслов».

БЕЛЫЙ НАЛИВ

Нам не разрешают говорить с такими детьми, поэтому смотрим в окно, пока они сидят на лавочке и смеются. Чтобы дети не поняли, что нам нельзя, а думали, что мы с сестрой не хотим сами, садимся в щель между комодом и рыжим диваном, чтобы с улицы были видны только наши макушки. В углу мы пытаемся сохранить достоинство, но дети все равно видят нас и все понимают. С ними нельзя, потому что это наглые дети. Дети местных алкоголиков. Они научат нас словам типа «секс» или еще хуже, они пришли не для того, чтобы дружить, им нужны только наши яблоки. Папа выходит на улицу и матом кричит на воров, дети еще немного сидят на лавочках, а потом уходят. Больше всего мы с сестрой хотим гулять с ними, но они не будут дружить без яблок. В саду растет старая яблоня белый налив. Яблоки с нее вкусные, пока не становятся спелыми. Мы любим их маленькими и кислыми, но в таком состоянии есть их нельзя. Нужно дождаться, пока яблоко станет особо крупных размеров. Вместе со спелостью к нему придет рыхлость и ватность, вместе с тяжестью – падение и большое коричневое пятно. Это умирающее состояние кажется родителям наиболее подходящим для удовольствия. Папа легко проходит через высокую и жесткую траву, в которую нас отправляют играть. Он собирает утреннюю влагу на одежду и тянется, срывая самое крупное. Папа крутит его в руках и делает укус белыми и крепкими зубами. Он приносит яблоко в комнату, где все пока спят, запуская свежий уже августовский день, который снова будет длиться бесконечно, потому что ничего, кроме детства, не будет происходить. Папа делает только один укус, потому что белый налив – это псиоп, муляж удовольствия. Яблоко становится коричневым на месте укуса, а потом засыхает и выбрасывается.

Эти яблоки чужим детям нельзя, потому что нам и самим не хватает. Белый налив нужны, чтобы испечь шарлотку, но мы снова поссорились с кокой. Нужны, чтобы в день перед отъездом дотянуться до самых маленьких и заполнить два холщовых мешка, а потом переработать в яблочный сок или положить на балконе. Если яблочный сок получится, его не будут пить, потому что праздников меньше, чем банок. Оставшиеся яблоки лежат до зимы, а потом выбрасываются, мы с сестрой немного пьянеем от забродившего сока. Если после нас в деревне останутся яблоки, туда придут

коровы. Они не заметят забора, а он не удержит их, потому что совсем старый. Коровы будут смотреть в окна и затопчут деревья, они начнут расти в другую сторону. Забор нет смысла чинить, его сломает родственница тетя Лена. Она приходит к нам воровать яблоки осенью, но не пользуется калиткой, а отламывает доски в заборе, потому что не любит нашу семью.

Дерево плодоносит через год, на следующий нам в деревне нечего делать. Дети больше не приходят, поэтому мы смотрим на яблоню и говорим, что нет яблок, наверное, будут на следующий год. В месяцы, лишенные яблок, мы просим папу повесить нам качели. У двух огромных тополей такие удобные ветки. Они высокие и крепкие, а толстые тополиные корни вылезают из под земли вдоль дороги. Под тополями хоронили куриц или замерзших кошек, я представляю связь их тел и изгибов корней, нежно переплетенных. На тополях нельзя вешать качели, потому что они старые и могут упасть. Когда я звоню подруге в город, от скуки смотрю наверх, где меньше неба, чем этих огромных веток. Слежу за тем, сколько из них сухих, могут ли они упасть на собаку Жулю, на машину или крышу. Под ними прабабушка ждала мужа, чтобы рожать бабушку. Под ними, забившись в угол у забора, строила кукольный дом моя мама. Они пережили много лет, но уже не выдержат двух худых девчонок. По тополям я всегда узнавала, где дом. Для качелей нужны веревка и две столбушки. В один год у нас появляется веревка, но за столбушками нужно ехать на пилораму, и в этом году уже не получится. Веревка лежит два года, потом становится нужна для подстраховки, чтобы кто-то лез на крышу и чинил рубероид. Потом веревка теряется или рвется. У нас, наконец, появляются столбушки, но без веревки не получится, нужно ехать за ней в город. Столбушки лежат под дождем, а потом становятся забором или такими старыми, что их приходится распиливать на дрова, топить нашу маленькую печку.

В печке шуршат бумажки от конфет и листочки. К нам стучат алкоголики. Их никогда не ждут. Они начинают стучать в окно в семь утра, либо приходят затемно, но всегда не вовремя. Никто не рад алкоголикам, но от них зависят наши планы. Если они приходят, то у всех появляются заботы и мы уже не можем ехать на озеро. Мама готовит яичницу с колбасой или макароны, папа наливает самогонки, надеясь, что после очередной стопки алкоголик уйдет, но он становится только ближе к неизбежному засыпанию на нашем полу. Мы с Машей сидим на диване, потому что на улице нас едят комары, и смотрим на алкоголиков. В гостях Иван Гонтарь, наш последний сосед в Волкове, в деревне больше никто не живет, поэтому дом обворовывают каждое лето, как только последнее одеяло вылезает из «Соболя». Мы с сестрой пишем ворам записки и вешаем на дверь. «Не ходите сюда, здесь ничего нет», «мы сами все увезли», но что-то оставили, поэтому уносят ковер и старый матрас и разбирают холодильник, чтобы достать металл, и уносят фляги, веники и столетнюю кочергу, и уносят все, чтобы мы понимали, что этим людям еще хуже, чем нам, и каждый год кража все смешнее, ворам, которых мы знаем по именам, понадобились вставные зубы прадеда, это рыжий мальчик Женя, который приносил нам летом ежа, его отец и дядя. Сестра Настя пообещала заплатить мальчику сто рублей, а потом уехала в город, и еж оказался у нас внезапно и ни к чему, его кормили собачьим кормом, а через неделю попросили Женю отнести на то место, где он его взял, чтобы еж не заметил, что что-то случилось и дальше пошел по делам.

Алкоголики почти все приходятся дальними родственниками моей бабушке, поэтому так бесцеремонно стучат в окно. Дядя Коля –

двоюродный бабушкин брат. Он высокий мужчина с пропитым лицом, который всегда улыбается и не говорит связно. В его речи есть только слово «охота», в котором он выражает все бесконечное тоскливое желание водки, самогонки, разбавленного водой спирта. Нам не разрешили играть с настоящими детьми, поэтому мы играем в классики с дядей Колей, пока он ждет хоть стопки. В 90-х у дяди Коли был сын. В Пасху с женой Галей и сыном они поехали кататься на лодке по озеру Летячье, куда мы тоже приезжаем купаться летом. Это был конец апреля, как я узнала потом по надписи на фотографии, но на жене Коли еще была тяжелая натуральная шуба. Дядя Коля как-то не справился с управлением лодкой, он, наверное, был пьяным в тот день, а в Пасху нельзя на воду, поэтому все оказались в ледяной воде. Дядя Коля доплыл с сыном Мишей до берега, но почему-то не вытащил его, а оставил держаться за кустики и вернулся за женой. За это время Миша спустился вниз по кустикам, у него замерзли руки. Дядя Коля не смог найти его сам, собрал дома друзей, они пили водку, но никто не отогрел тетю Галю, даже не снял с нее мокрую шубу, поэтому она тоже умерла в тот день. Мама рассказывала, каким умным был Миша. Я много думала о нем в детстве и на кладбище всегда просилась на его могилу. Мне хотелось, чтобы он был моим ровесником, мы бы дружили. Несколько лет назад у Миши на могиле появилась табличка, я узнала, как он выглядел. На фоне фотографии, сделанной в фотошопе, потому что совместных с матерью не было, летят облака и женщина с большой головой сидит рядом с пятилетним мальчиком. Миша – голубоглазый блондин, точно такой друг, каким я его представляла, но его нет, я дружу с дядей Колей. Когда у него стали отказывать ноги, дядю Колю отвезли в Ветлужский дом престарелых, где он нашел бабушку и вырезает на праздниках елочки и снежинки.

К нам приходит тетя Оля, мамина двоюродная сестра. Она еще молодая, но так много пьет, что выглядит гораздо старше, я удивляюсь, когда узнаю, что ей чуть больше тридцати. Тетя Оля умрет от цирроза в сорок. Ее алкоголический муж скажет, что останется верен Оле, а мы и не знали, что у них любовь, думали, что так им удобнее. Через пару лет он уйдет, но никто не заметит, куда. «ЛизаАлерт» искали его по фотографии, где ему двадцать, потому что потом не было больше фотографий и даже паспорта, но не нашли. Он похоронил жену и навсегда ушел за грибами.

Мать тети Оли к нам тоже приходит. Наша мама боится ее, поэтому мы начинаем читать «Буратино» вверх ногами, когда видим в окне старушку. Она дает нам с сестрой конфеты, а мама просит не есть их, а дождаться обеда, но мы все равно едим. После ухода тети Иры мама заставляет нас пить святую воду, потому что конфеты были с кладбища.

Наш последний сосед Иван Гонтарь вместе с женой Феней убили мужчину. Кто-то перепил и поругался, поэтому они отрезали мужчине голову и несли по снежной дороге оставшееся тело, а потом выбросили, но не сели в тюрьму, просто забыли. Потом дядя Иван сгорел заживо в доме напротив, потому что заснул с сигаретой. У нас с Машей совсем не осталось друзей.

Волково – родная деревня моей бабушки. Бабушка с сорока лет не вставала с кровати, потому что грипп дал осложнения, у нее развился полиартрит. Врачи сказали ей, что нельзя мерзнуть, но она поехала навестить племянницу в далекий тубдиспансер в капроновых колготках зимой и сильно простыла. Я пытаюсь нарисовать бабушку, потому что открыла в себе портретиста. Особенно хорошо получается мама, а бабушка не выходит. Ей всего 60, но она выглядит совсем старушкой,

у меня не получается передать ее такой, какой она была в молодости, я рисую измученную и худую женщину. Показываю маме, а она ругает меня. Тогда я сочиняю круглую румяную женщину, такую, какой бы могла быть бабушка без болезни. Маме снова не нравится. Я хорошо помню, как бабушка умирала, мне было десять. Мама просила нас встать на колени, чтобы Господь не забирал бабушку, но было неловко. Мы собрались всей семьей возле ее кровати и весь день следили за глазами, которые уже ничего не видели. Мама говорила, что перед бабушкой проносится жизнь, я думала об этой жизни, которую знала так недолго и которая казалась несчастной, а потом бабушка издала последний звук и ушла. Мама пошла сказать папе, но он играл в танчики. В коридоре проехала на музыкальном светящемся самокате моя младшая сестра. Священник, который отпевал бабушку, сказал, что она много страдала, до этого я не думала о бабушкиных страданиях. Мне казалось, что для стариков нормально не вставать с кровати, так делали обе мои бабушки, а дедушки умерли еще раньше. В молодости бабушка была очень красивой и видела белую лошадь, которых не держали ни в одном колхозе, она стояла ночью в поле одна. Дедушка умер почти на 15 лет раньше, чем бабушка. Они оба лечились смесью, для которой нужно было смешать водку, подсолнечное масло, яйцо и долго взбалтывать.

Когда дедушка умер, бабушка переехала из города в Волково. Дети уже были взрослые, ей хотелось грустить одной. В деревне нет магазина, бани и душа, нет колодца, она возила по небольшому ведру воды на детской коляске из соседней деревни и уже тогда сильно болела. Ей, наверное, было все время страшно и одиноко. Она писала плохие стихи, где жаловалась, что Гера оставил ее и сравнивала их с двумя осенними листочками. Бабушка слышала, как кто-то ходит и в один день проснулась, потому что по печной трубе что-то громко спускалось. Бабушка начала молиться, оно ушло обратно. В сериале я услышала фразу, сказанную пожилой женщине: «У тебя еще вся жизнь впереди». Мне понравился комплимент, поэтому я передала его бабушке, а она заплакала. У нее были серые руки и кривые и изуродованные болезнью пальцы.

Мы перевезли тело бабушки в деревню, чтобы она лежала рядом с Герой и другими родственниками. Мы остались в деревне до девятого дня и с Машей нашли себе парней за это время. Просыпались утром, шли на кладбище в гору, а потом за нами заезжали мальчики, Коля и Сереня. Моим был Коля, у него были огромные уши и много меда и собак. Мы катались у них на велосипедных рамах, играли в карты в гаражах и были практически счастливы.

Под бабушкиной кроватью всегда жила Жуля, главная собака в жизни. Лучше всего я помню ее темным волосатым углом с моими игрушками. В полтора года я таскала ее за хвост, Жуля не смогла простить и сгрызала все мои игрушки, случайно оставленные у серванта, в ящиках которого у нас были кукольные домики. Она была истеричной и нервной собакой и любила только маму. Я много раз пыталась наладить с Жулей отношения, каждый день ходила с ней гулять после школы, но Жуля не любила гулять, она любила в темноте сидеть под кроватью. В один день мы становились друзьями, я даже могла погладить ее или взять на руки, но на следующий Жуля делала вид, что мы не знакомы. Она любила красную калину и огурцы, ее трясло, когда чистили мандарины, а кормили «Роял Канином». Жуля кусала каждую протянутую к ней руку, каждого ребенка, который пытался с ней поиграть, она была очень злой и одновременно трусливой, защищала маму от папы, когда он гладил ее по колену,

но не издавала ни звука, когда ночью стучались. Я истерично и слезливо любила ее, свою погодку, четвертую волосатую дочку. Папа купил ее за 50 рублей в автобусе, когда женщина везла щенят к пруду. Жуля бежала рядом, пока мы ехали на немыслимой конструкции из папы, мамы и двух девочек на советской «Яве». После бабушкиной смерти Жуля стала часто болеть, а врачи не могли сказать, почему. Наверное, без бабушки под кроватью ей было одиноко. Чем старше я становилась, тем неизбежнее старела Жуля, которая уже не могла догнать нас по дороге с озера, и мы ждали ее из леса. Жуля, мне кажется, все умела, но ничего не хотела делать. Она делала вид, что съела капроновый носок, чтобы лежать на кровати, мы встречали ее сбежавшей из дома и возвращающейся ровно к нашему приезду. Когда Жуля переставала бегать, я слезала с мотоцикла на велосипед. Когда Жуля умирала, я сдавала ГИА. Для меня это было только начало жизни, а Жуля несколько месяцев медленно умирала под кухонным столом от рака груди. Мама не хотела ее усыплять, поэтому Жуля все больше молчала, а потом мы тоже отвезли ее в деревню и похоронили за оградой, напротив бабушки. На могиле самой злой собаки в мире лежит маленький камень, чтобы знать, куда принести для нее «Роял Канин», вряд ли она ему рада, но ничего другого Жуле нельзя.

Рядом с их кладбищем раньше был тетин дом, куда мы часто сбегали из Волкова, потому что в соседней деревне у нас были друзья, но после смерти бабушки тетя с мужем и сыном переехали в ее комнату в Нижнем. В эту же зиму старший брат поехал туда, чтобы справить новый год и совершеннолетие с местными друзьями. Они растопили печку, но не убрали с нее вещи, потому что были очень пьяными, и уехали праздновать в другое место. Вещи начали дымиться и плотным слоем сажа покрыла весь дом. Когда я была там последний раз, на кухне провалился пол и приходилось перепрыгивать дыру по оставшимся дощечкам. Кока часто делала поделки для сада, уже десять лет деревянное солнце, огромный медведь на диване и маленький заснеженный город из бумаги и синтепона покрыты сажей и плесенью, а в огороде, где было так много цветов, теперь только трава и борщевик, даже кока Леша умер, и запылилась его библиотека самых ужасных книг мира, которые читал только он. Брат сначала порывался все починить, но был занят, он делал вид, что не употребляет наркотики, а теперь там уже ничего не починишь, это просто самые дешевые стены, которые давались временно молодым парам, переезжающим в колхоз.

Когда я последний раз была в Волкове больше недели, кроме нас там не было ни бабушки, ни Жули, даже алкоголиков уже не было, только маленькие вещи, оставшиеся от воров. Фляга и белое ведро, зеленая тумбочка, фотография неизвестного родственника на стекле ящика для посуды. Иногда я воссоздаю в голове детали комнаты по памяти и тогда узнаю, что помню ее полностью, каждый узор на деревянном полу, каждый вбитый для портрета, но лишенный его гвоздь и наклейки на большом желтом шкафу. Мне было 15, и я грустила, потому что в городе оставались друзья, а тут не было ничего. Каждый день я надолго уезжала на велосипеде, заходила к бабушке и Жуле, исследовала надписи в полуразрушенной церкви и знала, что это последнее лето, когда меня смогли уговорить сюда поехать. Так и получилось, с тех пор я была в Волкове всего два раза и не успевала ничего, кроме как обойти каждое из местных кладбищ, где разбросаны родственники. Я помню соседей мертвых родных, потому что мама всегда очень долго полола траву, и всех похороненных местных детей по фотографиям, каждого из которых я уже так старше.

Ксения ЖУКОВА

Родилась в Москве. Окончила Литинститут им. Горького и аспирантуру Московского городского педагогического университета. Библиограф.

Член Союза писателей Москвы. Публиковалась в журналах «Юность», «Современная драматургия», «Волга XXI век» и других. Лауреат ряда литературных премий. Автор пьес, поставленных в разных театрах России, и книг для подростков.

Участник форума молодых писателей в Липках Живет в Москве.

СТУПЕНЬКИ

Ступеньки считала, как Винни-пух. Двенадцатый этаж. И лифты ходят где-то в другом измерении или, может, в другом доме. Он оказался препятствием, в черном пальто и серой шапочке с детским помпоном. Между седьмым и шестым этажом. Приготовила уже « позвольте пройти», но вдруг испугалась чего-то и пошла обратно.

– Передумала?

Оклик в спину. Серый помпон дергнулся. Придвинулся к стенке, заботливый. Проходила краешком, чтобы не задеть, не наступить на газету, ну, на которой он сидел на ступеньках. Газеты оказались рисунками, карандашными.

– Ваши? – Остановилась.

Он усмехнулся, стоял-возвышался.

– Наши.

Дальше последовало традиционное «дарю». Она к этому привыкла. Приучили. Взяла эту пачку рисунков и заспускалась в продолжение. Он еще суетился, ровнял рисунки, чтобы стопочка вышла ровной. Сдувал с них что-то невидимое. А может, и видимое, она не смотрела. Зачем. Все равно выбросит. По всем законам он должен был побежать за ней, ну, там, спрашивать, как зовут, телефон и прочие стандартные в своей глупости вопросы. Вышла из подъезда. Тихий двор. И она, с этой нелепой пачкой-стопкой. За ней никто не шел, не спускался.

Присела на край песочницы. Вот так да! Она, за которой все и всегда… Неужели стареет? Вынула маленькое зеркальце. Ущипнула себя за щеку. Нет, кожа вроде в порядке. Высунула язык – ровненький и чистенький. Поправила шапочку, бесформенную, как сейчас носят, с огроменным помпоном-гирькой. Повертела головой, волосы защекотали шею. Достала длинную сигарету с мундштуком. Тонкую, с легкой горечью. Которую обзывают женской. Вертела в пальцах.

Вышел, смущен. Ну как же иначе. На спине рюкзачок. Возраст ну, наверное, ее или чуть младше. Знала, что диапозон ее чар широк.

– Вы простите меня, я так растерялся. Ждал друга, а его не оказалось дома. Может... может, мы познакомимся?

Вот и понеслось, то самое. Уже все выученное. Ей уже было неинтересно. Хотя…

– А вот, постойте-ка, а рисунки – это ведь вы нарисовали?

Она встала, стала листать, сначала изображая интерес, потом действительно увлекшись.

Он смущенно улыбался. Пояснял. Да, это будущие иллюстрации к детским сказкам. Он как раз направлялся к другу, он писатель, его книжку для детей и собирался иллюстрировать. А это так, наброски. Друга не оказалось дома, и вот.

– А вам, вам и вправду понравилось?

Она снисходительно кивнула. Первый восторг от увиденного прошел. Пришла сытость от поклонения.

– Давайте я вам подарю все эти рисунки. – Решился, наконец-то решился. Стал копаться в рюкзаке, достал еще стопку, посолиднее.

– А хотите, я вас провожу, вам куда?

– Да, в сущности, до метро, время позднее, я тоже здесь… некоторым образом случайно.

Расстались на переходе. Она не особо слушала. Была рассеянной. Прижимала рисунки. Договорились о встрече, пообещал написать ее портрет, карандашом.

Она кивала, улыбаясь, махала рукой, пока он не скрылся. И тут же вышла на улицу. Поймала первую же машину, через пятнадцать минут была дома.

Утром в новостях передавали об ограблении квартиры известного художника. Говорили, что унесли чуть ли не целое состояние и что зря художник не хранил деньги в банке. Он жил в том доме, где она вчера была. Ее опередили всего на шаг. Зеленая фея, как ее прозвали, плакала от досады.

И от радости одновременно. От досады – за то, что тот, с кем прощалась на переходе, был первым, более удачливым. И от радости – что он не понял самого главного, что надо было брать в той квартире. И так опрометчиво дал ей то, за чем она охотилась два года.

Набирала номер неторопливо, каждая циферка твердо сидела в памяти. Говорила вежливо в трубку.

– Ваш заказ выполнен. Рисунки у меня. Да, все, да-да, я сама чуть не подумала, что все проваливается. Ну что вы, Зеленая фея еще никогда не подводила.

Рисунки, лежащие на полочке в прихожей, тянули на десять состояний.

ЗВОНОК

У нее заболело горло. Хотя она всегда тепло одевалась. Так приучили. С детства. А она всегда слушалась. Всегда. Ей говорили, держись от мужчин подальше – они такие. Какие? Коварные, в общем. Ну, ты держись подальше, мы тебе желаем только добра. А тот, кому ты действительно нужна, он сам возникнет, ты это точно поймешь. Почувствуешь.

Она никогда не пила холодной воды, всегда подогревали на блюдечке. Пить сок из холодильника опасно. Она и не пила. Слушалась. Хоть и давно уже жила одна и некому было крикнуть: «Завернись потеплее в шарф, сегодня обещают метель!»

Глотать было больно. Покраснели и без того «помидорные щеки». Немножко познабливало. Рука потянулась к записной книжке, еще маминой. Где тут телефон поликлиники? Врач будет во второй половине дня, ждите, очень много вызовов сегодня. Почему много? Так зима, грипп ходит.

У нее оказалась ангина. Так ей сказал, поведал врач. Он пришел в десять вечера. Усталый и молодой. Моложе ее, ну, совсем на немножко.

Звонок не работал. Наверное, тоже простудился. Она сглотнула. Сейчас придет врач, высокая тетенька седая такая. Главное, чтобы врач догадался постучать. Стучали тогда, когда сон лечебный уже окутал ее. Когда она думала, что никогда и никто к ней добраться не сможет.

– А где Татьяна Никитична? – сонно терла она глаза. – Вы и вправду врач?

– Вправду. Вы давно не болели? Татьяна Никитична на пенсии уже года два. Да, два года. Это вы больны? А что ж это босиком?

Она и не заметила.

Пальцы холодные, с мороза. Хоть и мыл руки, а пальцы все равно не согрелись. А ей нравилось, что такая холодность. Осмотрел горло. Стал писать на коленках. У нее не было стола.

– Да, вы знаете, устал, сейчас такой грипп ходит. Вы сегодня первая у меня с ангиной. И последняя как пациент. Ну что ж, одевайтесь потеплее, не пейте холодного. Вот тут все написал. Все ли понятно?

Ей ничего не было понятно. Его пальцы. К черту горло. Что делать? Как быть дальше? Как жить дальше?

– А у меня звонок не работает, – прошептала-просипела.

– Так вызовите мастера, – посоветовал врач, воюя с молнией на куртке. – Ну, все. Будьте здоровы. В среду ко мне.

– К вам?

– Да, я в среду с одиннадцати до трех принимаю. Второй кабинет. Это на первом этаже. Рядом с регистратурой. Очень удобно.

Дверь хлопнула. Она так и стояла босиком.

Как же так – думала, это мой принц. Ну ничего, завтра позвоню туда, где смогут исправить звонок. Вдруг я встречу свою судьбу? Звонок – это знак. Пора, пора…

Пусть не доктор, так хоть кто-то, кто-то рядом, надежный и сильный. Пусть будет он, мастер.

Утром горло прошло. Неожиданно. Она размотала шарф, причесалась и стала ждать мастера. Ей обещали, что он будет во второй половине дня. Ждите. Сегодня так много вызовов. Просто эпидемия какая-то, предупредили ее.

На стук открыла сразу же. Мощная тетка в кудряшках и сине-красной куртке держала в руке чемоданчик с инструментами.

– Я мастер.

Она сглотнула. Горло снова болело.

Нестерпимо.

КАРУСЕЛЬ

Ему стало скучно. С ней. Они катались на карусели. Ей было весело, и хотелось, чтобы так продолжалось всегда. Они случайно забрели в этот парк. И вот теперь карусель крутилась и крутилась, а он понимал, что скучно. И что такое уже не исправить. Еще утром он волновался, предвкушал встречу в ней. Боялся, вдруг не придет. И если такое случится, так ему жить дальше.

Она пришла. Шла, весело помахивая сумкой. А он вдруг ощутил на себе, что значит почерпнутое из книг «сердце забилось». И это было действительно так. Он вытер ладони, да, они тоже вспотели немного. Он причесал волосы, пропустил сквозь пальцы. Потом подергал себя за правое ухо, потом топнул правым же ботинком. И все это, пока она приближалась. Сумочка была маленькая и дамская. Но он все равно отобрал. И долго сопел рядом, слушая ее щебет и не решаясь что-то сказать. Он как собачка смотрел на нее, открыв рот, она даже не выдержала – засмеялась. И он тоже, вместе с ней. Над собой, над всем. Что так хорошо, что и погода тоже хорошая. И что она ой как хороша в своем зеленом летнем платье. Он нес на плече ее маленькую белую сумку и был, наверное, счастлив.

– В парк?

– Ну конечно в парк.

В парке он купил ей мороженое. Самое лучшее. Так он попросил у продавщицы. А у нас все самое лучшее, сонно ответствовала продавщица, подавая самый мятый и самый растаявший брикетик и прося за него втрое больше, чем если б действие происходило в обычном магазине.

А она отобрала у него сумку, сосредоточенно выискала в ней салфетку, обвернула мороженое и стала ловить тающие капли. Она морщила носик. И они оба смеялись над этим. Он водил ее по аллеям, чинно, держа за локоток. А потом они целовались в беседке из цветов. Так, что все вокруг кружилось и без карусели. До карусели они дошли позже, до нее нужно было подняться на пригорок. И они бежали, кто вперед. Он, конечно, позволил ей опередить себя.

В деревянной будке купили билеты. Сели на проржавевшие лавочки, пристегнулись и полетели. А потом она захотела еще. И он решил, что пусть еще один круг, а он ей помашет. Зеленое платье взмыло навстречу ветру. И вдруг он понял, что скучно. Он шел, а за спиной продолжала работать карусель. Он пришел домой. Сразу лег спать. И больше никогда ей не позвонил.

Александр КРАМЕР

Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. По профессии инженер, участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Союз писателей», «Веси», «Дарьял» и других.

Живет в Любеке, Германия.

ЖДУЩИЙ

Памяти художника Валентина Подпомогова

Сначала море ушло; потом ушли люди, потому что болеть начали да и еда вместе с морем исчезла; осталась одна только мертвая степь, по которой бешеный ветер гнал жесткий песок и жгучую соль.

С тех пор как люди ушли, корабль здесь и лежал, все больше и больше заносимый песками. Только ящерицы прибегали в жару понежиться на теплых, уже едва видных палубных досках изветшавшего парусника да чайки садились изредка на реи единственной уцелевшей мачты.

1

Человек появился внезапно. Первые звезды еще только зажигались, когда он вдруг вынырнул из безбрежных степных пространств. Высоченный, мосластый, какой-то весь взбудораженный, будто наэлектризованный, порыскал при полной луне по окрестности, выкурил самокрутку, устало спиной привалившись к борту, впихнулся, срамословя, в спальный мешок, повертелся юлой, будто блохи его донимали, и уснул наконец.

Назавтра поднялся чуть свет, вместе с птицами, подымил, глядя угрюмо сбоку на утлый, обреченный на смерть от песков ковчег, и снова взялся мотаться между брошенным рыбацким поселком и изувеченным временем и песками двухмачтовиком: таскал разный скарб, бурчал ерунду всякую, башкой крутил бешено и сквернословил. Набегавшись до упаду, устроился возле кормы, костерок разложил, похлебал наспех какое-то варево, скрутил здоровенную козью ножку и стал небо коптить и песни дурные орать. После опять в поселок подался.

Ближе к вечеру прикатил на обшарпанном драндулете (как завел – аллах знает), привез инструмент шанцевый, палатку линялую, парусины прездоровенный кусок да еще ерунду всякую, что вроде как могла бы понадобиться. Потом до утра вино хлебал из горлà, самокрутки смолил и песни свои чудны́е горланил – неизвестно о чем; а перед светом уснул и проспал-прохрапел до полудня – аж живность вся поразбежалась на милю вокруг.

2

Пекло стояло невыносимое, дикое просто; кроме подозрительной забегаловки в полуподвале, ничего поблизости не наблюдалось, вот и зашел. Когда жажда мучит, до формы кувшина нет дела.

Внутри пивнушки сброд местный, будто и не жарынь, под блатную музычку водку трескал, пивом полировал и какой-то дрянью закусывал; стакан воды спросить под косыми взглядами гопоты всякой гонор не позволял; спросил пива, хоть то и выглядело… ну ладно. Взял щербатую кружку с шапкой пены высотой с поварской колпак, порыскал глазами, нашел столик с папашей лысым в замызганном тельнике, уселся напротив и стал не спеша ледяную бурду цедить, в стенку глядючи.

– Шеф, а шеф, поставь пинту, – лысый, мордатый дядька выразительно повозил по столу пустой кружкой, – побазарим… Да не зырься, не зырься ты. Не лежала б моя скорлупа в песках, может, я б тебе сам поставил, не пожлобился бы.

– Во-во, до корабля в песках назюзюкался? У меня таких пуль, морячок, целый склад, мне без надобности.

– Взаправду в песках. Так на стапеле и остался, когда море ушло. Посейчас, видать, там, коли не изгнил. Рыбарей тогда всех будто тайфун уволок, за буграми поприбивало. Я здесь вот ошвартовался.

– И чего, так больше к посудине своей и не ворочáлся?

– А на кой мне туда, я ж не девку кинул. Хрен с ним. Нет там больше морских делов никаких, оттого и корыто старое теперь тоже без надобности…

3

Он с какой-то дури решил, что бойко управится. Потому поначалу вламывал, как одержимый, без сна и без отдыха. Опомнился тогда только, когда руки стер в кровь, спину сорвал и из сил выбился совершенно. Тогда в палатку залег и валялся там пару-тройку деньков как бревно; курил только да воду вонючую пил, даже есть не хотелось. Пока пролеживался, дошло, что нахрапом такую работу брать – дикий абсурд. От всяких своих фантазий бредовых очнулся и с этого времени стал работать нормально – монотонно и неутомимо, как и положено.

Сначала очистил весь трюм – от кормы и до носа, все доски гнилые сменил, все щели законопатил; после внутрь корабля всё свое барахло перенес и сам туда перебрался. Теперь никакие ненастья достать бы его не сумели, да и уютней ночами, привычней – крыша над головой все ж таки. Когда обустроился, стал корпус двухмачтовика очищать, а песок отвозить подальше, в сторону моря, чтоб сразу снова не наносило. Так и работал без устали, пока не откопал оба борта до стапеля. За все это время один раз только безнадега в душу к нему закралась и верх взяла. Один раз только!

4

Так-то он со змием не сильно дружбу водил, но в тот день, до вечера не дотерпев, надрался до зеленых чертей, на ночь даже в берлогу свою не залез – не осилил, завалился храпеть прямо так, возле борта, а под утро от холодрыги едва не подох. Только на том черта не подвелась, чернуха не отпустила. Собрал тогда он свои манатки и в путь

обратный наладился. Далеко за сутки ушел. Так далеко, что мачту не видать уже стало и в голой степи пришлось заночевать. А утром глянул по сторонам, очнулся, матюгнулся, аж туча страхолюдная на горизонте образовалась, и назад повернул. Назад летел так, будто кто скипидаром по пяткам мазнул. А под вечер, уже когда в трюме пластом валялся, налетел из степи черный смерч, выл, как полчище бесов, тряс утлый челн, да не вытряс – выстоял старый боец, песчаным щитом прикрытый, выдержал и его собою прикрыл. Не схорони корабль его в прочном своем нутре, сгинул бы – и костей не сыскали б. После даже и мысли не появлялось, чтоб бросить спасителя своего в проклятой степи. И с того дня уперся он, как стадо волов, и все рыл, рыл и рыл (за провиантом только и отлучался), пока не осилил до точки рытье это чертово.

5

Рыдван вражий, что только не вытворял он с ним, заартачился и больше так и не запустился. Потому бушприт, матерясь, из поселка на себе приволок и, пролив тыщу потов, установил крепко-накрепко. Потом из парусины – на бушприт и последнюю мачту – два паруса выкроил и корабль оснастил, будто впрямь на нем в море выходить собирался.

Бушприт – это что! Вот когда он после всех этих дел бочку с краской катил по пескам!.. Все жилы бочка та вытянула, но доставил-таки! Потом долго ждал, когда выпадут штилевые дни, чтобы ветра ни малейшего не было, чтоб песок, как мертвый, лежал. Вот в эти несколько дней, с утра до ночи чертоломя, он и выкрасил парусник, чтобы был белей пены морской, а потом огромными красными буквами написал на обоих бортах его новое имя – «Ждущий».

Все! Свершилось!

6

Он и шагу ступить не успел, когда ветер снова стал выть, трепать, в клочья рвать паруса, швырять жгучую соль, гнать жесткий песок, засыпáть, заметать из песчаных лап вырванный «Ждущий». Но ему наплевать уже было. Он даже не обернулся. Знал: что бы ни было, снова откопает и выдраит. До полной, до абсолютной безукоризненности. А ветер… Что ветер? Теперь его час, его право! Пускай себе воет, метет и швыряет. Сколько влезет. Плевать. Он вернется. Корабль обязан ждать воду, а не смерть, и быть всегда наготове. Остальное все – ерунда.

Поэзия

Юрий ГЕРАСИМОВ

Родился в 1948 году в г. Кулебаки Горьковской области. Окончил Ленинградский госуниверситет по специальности «геоморфолог». 25 лет проработал в Киргизии, в горах Тянь-Шаня и Памира, занимаясь изучением древних оледенений. Автор четырех поэтических сборников.

Живет в Кулебаках Нижегородской области.

И ВОТ ОНА – В ГОРУ ДОРОГА...

* * *

Нет, не мечтами я живу.
Мне по душе реальный ветер,
Люблю реальную траву,
Как любят лошади и дети.

И облик Родины моей
При мне расхваливать не надо:
И без того я верен ей
И женщине идущей рядом.

У этой женщины судьба
С моей судьбою воедино…
И мне без Родины – труба,
Как и без женщины любимой.

* * *

Вспоминаю берег узкий,
Скалы, море при луне.
Тот пейзаж совсем не русский
И таинственный вполне.

Был я молод, был беспечен,
Ни одной души вокруг…
И, войдя в залив по плечи,
Я услышал сердца стук.

Передать минуту эту
У меня не хватит сил.
Я не землю, а Планету
Под ногами ощутил.

И плыла моя Планета
Вместе с морем и со мной –
Мне казалось – в центре где-то
Всей Галактики самой.

В тишине луна светила,
Ни моторки, ни весла…
И неведомая сила
Нас по Космосу несла…

Старик

После оттепели снова
Наступают холода.
Это, в сущности, не ново,
Этак, в сущности, всегда.

Но в природе сущность эта
До апреля, до весны.
В крайнем случае – до лета,
До цветения сосны.

А за ней цветет и липа,
Знойный полдень настает.
И старик от недосыпа
В холодочек спать идет.

Не брюзжит и не стенает,
Ко всему давно привык.
Полушубок расстилает
Замечательный старик.

Полушубок тот не новый,
Но заштопанный женой.
Так что наш старик не вдовый,
И, как видите, живой.

Полушубочек расстелет
И старухе подмигнет:
«Помирать – так не в постели».
И спокойненько заснет.

И к нему с его березы
Молодые сны слетят:
Будто он пришел с обозом,
А жена и дети спят.

Полушубок он снимает,
И на цыпочках идет.
Всех детей пересчитает,
И приляжет, и заснет.

А в избе – пером Жар-Птицы –
На всей площади стола
Так и светятся гостинцы,
Что Лиса ему дала.

* * *

Когда бы предложили сделать выбор
И после смерти воскресить меня
Во что я назову, вот, скажем, в рыбу,
Во что угодно… Я б назвал коня.

И выбрал масть. Мне нравятся гнедые.
И в бричке бы ходил, и под седлом.
А отмахавши годы беговые,
Дремал бы на лужайке за селом.

И вспоминал, что был я человеком,
Тянул свой воз, надежды не терял,
И хоть в своей не очень-то кумекал,
Но душу лошади прекрасно понимал.

* * *

Мальчики играют в легкой мгле.
Сотни тысяч лет они играют:
Умирали царства на земле –
Детство никогда не умирает.

В. Луговской

В ручейках вытаивают щепки,
Петухи расхаживают смело.
Бельевая крупная прищепка
Перелетной ласточкой присела.

Я, рубаху скинув, загораю.
Солнышко покалывает веки.
На пригорке высохшем играют
Будущие чудо-человеки.

Двое плотных и кузнечик-грация,
С гибким силуэтиком спины…
Тыщи лет…
играть – не отыграться
Детям мира за сирот войны.

Надпись в горах на камне

Если жито посеешь –
Быть к зиме с калачом.
Если жить не робеешь –
То и смерть нипочем.

Если друга не выдал –
Есть кому помянуть.
Если жил не для выгод –
Ты, брат, дольше побудь.

* * *

Я б мог орла поймать – три дня назад.
Орел объелся и не смог взлететь.
Вот так стояли мы: глаза в глаза,
Пока мои не стали стекленеть.

И я ушёл – по перышкам улара,
Которого он только что сожрал.
Орел был стар – во мне же кровь играла,
И я легко взошёл на перевал.

Взгляд не забыть. В нем не было мольбы.
Была тоска, не скрытая угрозой.
Не дай мне, боже, этакой судьбы:
Чтоб не подняться в старости над прозой.

* * *

В который раз надежда не сбылась.
И не смешно ли? Новая явилась.
И где же ты такая родилась,
И кем ты той надежде доводилась.

А сам, конечно, рад ей от души.
И ниоткуда силы прибывают.
Надежды потому и хороши,
Что в человека веру не теряют.

* * *

Раскатится гром!.. И нахлынет
Священный восторг бытия!
Как будто не слышал доныне,
Не видел, не чувствовал я.

Опустишься травы потрогать,
поднимешься небо обнять,
И вот она – в гору дорога,
Которую поздно менять.

Владимир ВАСИЛИНЕНКО

Родился в 1942 году в Иркутске. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР в Москве, работал режиссёром на Дальневосточной студии кинохроники, на студии телевидения в Горьком. Снял по своим сценариям более восьмидесяти фильмов.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Дальний Восток», «Сибирь» и других журналах, коллективных сборниках. Автор ряда романов, повестей, пьес, книги стихов. Лауреат Международного литературного конкурса им. А. Платонова «Умное сердце».

Член Союза писателей России. Живёт в Хабаровске.

ПРИДИ КО МНЕ НЕ ОТ НУЖДЫ…

* * *

Веру чудом не пресытишь,
А скорей – наоборот.
Кто не знает город Китеж,
Посреди озёрных вод?

Город славный. Город чудный.
Спят давно его творцы.
Не стояли в нём лачуги –
Только храмы и дворцы.

Город дивный, город древний
Тайной силой обладал.
Ни одной вокруг деревни –
Только стены и вода…

Пробегал ли зверь рыскучий,
Путник страждущий бродил –
В глубине лесов дремучих
Светлый образ находил.

Незаметно и случайно,
Как награда за труды,
Открывался взору тайно
Город в зеркале воды…

Красотой дворцов блистая,
Поражал всех наповал.
Показался и… растаял.
Будто вовсе не бывал.

Кто увидит – не поверит,
Не игра ли облаков?
А волна несёт на берег
Пену лёгкую веков…

* * *

Река кипела. Шевелилась.
Играла, как живая плоть…
И в берега упрямо билась,
Пытаясь камень расколоть…

Кого в волнах упругих носит,
Слепой стихии вопреки?
К истокам движутся лососи,
Задрав крутые плавники…

Мерцая глазом воспалённым,
Ощерив вогнутую пасть,
Они спешат на отдалённый,
На ключ затерянный попасть…

Туда, где крохотной икринкой,
Однажды выбрались на свет…
И в тишине, без слёз и криков,
Хотят любить и умереть…

* * *

Я шёл тропой уединённой,
Листву опавшую топтал.
Гляжу – пятнистый оленёнок
Застыл встревожено в кустах…

Я замер тоже. Изваяньем.
Малейший шорох заглушив.
Вот так – на крохотной поляне –
Две наших встретились души.

Какой он робкий. Тонконогий.
Большие уши. Хвост торчком.
Стоит, бедняга, и не дрогнет
Черносмородинным зрачком.

Соображает, вероятно,
Уж не пора ли ускакать?
Горят оранжевые пятна
На тельце трепетном зверька…

Таком тщедушном. Исхудалом.
Былинкой робкою торчит.
Но солнце щедро раскидало
На нём весёлые лучи…

* * *

Приди ко мне не от нужды,
Унынья, скуки, праздности,
Тревоги, горя и беды –
Приди ко мне от радости.

Не умолять, не упрекать,
Не сокрушаться в тщетности…
Я буду ждать тебя века –
Приди ко мне от щедрости.

Сквозь мрак, грозу, пургу, туман,
Запреты и опасности,
Презрев соблазны и обман –
Приди ко мне от ясности…

Изведав тысячи дорог,
Уверься в неизбежности –
Они упрутся в мой порог –
Приди ко мне от нежности!

* * *

От этих строк, исповедальных,
Не отрекаюсь ни на миг –
Я ключ нашёл с водой кристальной
И, жаждой мучимый, приник….

Прозрачный. Чистый. Потаённый.
Среди расщелин и коряг…
На кромке мхов его зелёных
Росинок маковки горят…

С журчаньем робким, еле слышным,
На что он может уповать?
Но кто осмелится облыжно
Его отверженным назвать?..

И, преклонив пред ним колена,
Пытаюсь рифму разбудить.
Похож ли он на Иппокрену?
Не мне, заблудшему, судить…

Ольга ВИКТОРОВА

Родилась в 1984 году в Воркуте. Образование высшее – менеджмент в организации. Публиковалась в журналах «Арт», «Нева», «Дальний Восток», в литературных альманахах «Белый бор», «Заполярье».

Живет в Нарьян-Маре.

Я И ЖДУ, И НЕ ЖДУ.
ТЫ И ЖДЁШЬ, И НЕ ЖДЁШЬ...

Ввечеру

Затихала – пронзительно, чисто –
И разъя́снилась, и затемнела.
Обнимала прохладой росистой
Не спеша, но голу́бить не сме́ла.

Сладким мёдом разли́лась по крынкам.
Разнотравьем пахну́ла допья́на.
Торопила деви́чьи косынки
Собираться, пока до тумана.

Лес темни́ла неровной оборкой,
Будто глаза людского чуралась.
Ни души! Августо́вская зорька
Ввечеру почивать собиралась.

17:30

Октябрь. Вечер. Семнадцать тридцать.
На остановке людей полно.
Я из окошка смотрю на лица,
А в них тревожно, а в них темно.

Автобус туго скрипит дверями,
И на подножке скопился люд.
Закат дорогу распополáмил
На «здесь, откуда», и «там», где ждут.

И «здесь, откуда» – в глазах усталость,
И день был долгим, и нет его.

А «там» – дождутся, чуть-чуть осталось.
«Привет! Ну, как ты?» – «Да, ничего!»

Октябрь. Мочит. Срывает листья.
Рябит на стёклах дождя узор.
Не так чтоб очень, да всё ж неблизко
Ползёт автобус. Рычит мотор.

Отцу

У тебя будет дождь, у меня будет дождь,
Правда, в разных концах страны.
Я и жду, и не жду. Ты и ждёшь, и не ждёшь.
А до тех – будут сниться сны.

Мне там пять, то есть это давным-давно,
(Если в снах и бывает суть).
Мне там пять, а тебе двадцать девять, но
Ты как я, ты не видишь путь.

Мы стоим на пороге времён лихих,
Как напишут о них потом.
«Чем кормить жену? А ещё троих?»
...По слогам в букваре Барто.

И на фоне развала и бардака,
Когда мало что можно дать,
Крепко держит гитару твоя рука,
А моя бережёт тетрадь.

Поменяются даты. И города.
Так бывало. Успел забыть?
Без труда недостаточно лишь пруда.
Правда, пруд тоже должен быть.

Отчего-то я верю, что ты поймёшь.
А до тех – будут сниться сны.

У тебя будет дождь, у меня будет дождь.
Правда, в разных концах страны.

Математическое

Где-то там, где нас нет, зеленее листва,
Ярче солнце, и «котики-бантики».
Мы стремимся уехать из пункта А,
Как в учебниках по математике.

Мы – такие! Экватор бы обогнуть!
Больше мира! И больше движения!

Зная скорость и время, найдите путь,
Как в задачке на умножение.

Перемножил? Отлично! Пиши ответ.
Как не знаешь, в какую клеточку?
Говорят, хорошо где-то там, где нас нет,
И листва зеленее на веточках...

Соловьиное

Соловьи поют весь май
Голосами светлыми,
Будто опустился рай
С неба предрассветного.

Соловьи поют в тиши
Снизошедших сумерек,
Будто вдруг иную жизнь
Нам с тобой придумали.

Тут черёмуховый дух
Разметался на́долго.
Пахнет летом всё вокруг,
А на небе – радуга...

Полуявь и полусон
На бумагу просятся:
Лёгкий, теплый перезвон
Из листвы доносится.

Их будущих книг

Светлана ЛЕОНТЬЕВА

Родилась в 1960 году в Свердловске. Окончила Уральский электромеханический техникум в Свердловске, курсы сурдопереводчиков, филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского, Высшие литературные курсы в Москве. Работала воспитателем, сурдопереводчиком на Горьковском автомобильном заводе, Нижегородском телевидении.

Публиковалась в ведущих литературных журналах. Автор многих стихотворных сборников.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ВОЛОНТЁРША

Отрывок из повести

Дроны летели, вытянув шеи…

Стаей.

Это были вражеские «байрактары».

Восемь штук долетели до Балашихи. Одиннадцать до Волгограда. Семь до Брянска. Один угодил в наш район возле завода.

Звонок:

– Фотинья, сбор через тридцать минут. За тобой заедет Бианка.

Быстро беру рюкзак, кладу аптечку, надеваю удобную одежду, обуваюсь в кроссовки.

Подъезжаем. Пахнет гарью. В темноте различаю фигуру Николы. Чуть подальше маячит силуэт Ольги. Сосредотачиваюсь, понимая, что взрыв был серьёзным. Но люди всё равно суетятся, куда-то все бегут, кипешуют. А этого делать нельзя, нужна предельная собранность. Я подбегаю к одинокой старушке, которая сидела, сгорбившись, прямо на земле.

– Всех мирных отводим в автобус! – услышала я приказ Николы. Он был у нас сегодня за главного.

Вообще-то наша группа из нескольких десятков человек. Но сегодня приехали четверо. Мы добровольцы, не люблю слово «волонтёр». Оно какое-то заграничное.

Я помогаю старушке подняться и тут понимаю, что она не может стоять. То ли напугалась сильно, то ли ногу подвернула. Я её подхватываю под локоть, но бабушка валится снова на горячий асфальт. Скорее всего, у неё инсульт, понимаю я.

– Эй, нужна скорая, здесь сердечный приступ!

– Сколько тебе раз говорить: ставить диагноз не твоё дело! – резко вскрикивает на меня Бианка, который уже успел сбегать «к очагу» и вернуться.

Подбегают молодые ребята с носилками. Они мне помогают уложить бабусю. Я ей под голову подсовываю её сумочку, держу за руку и приговариваю: «Всё будет хорошо! Как вас зовут? Скажите имя!» Старушка молчит, лишь глядит на меня испуганными глазами. У неё трясутся руки. Я глажу её морщинистую ладошку, повторяя: успокойтесь, не волнуйтесь, всё наладится. Вообще, моя задача как добровольца – проследить, чтобы не пропали вещи при погрузке пострадавшего, чтобы он не отключился раньше времени, чтоб он, она, они хоть чуть-чуть успокоились.

– Мария…

Произносит бабушка. И затихает, вздыхая.

У меня был страшный случай, после которого Никола мне запретил ездить за ленточку потому, что я всегда находила какие-то чрезвычайные беды.

Он так и говорил мне: «Фотинья, к тебе несчастья как грибы ползут!» Ха-ха, как будто грибы ползать умеют.

Тогда мы поехали вчетвером, их всех звали «Гарики», и худого, и толстого, и водилу.

Заехали в первое село, раздали воду и еду. Нам местные сказали: ещё поезжайте к соседям, это рядом, километров десять будет, уважьте! Там три старика, наверняка оголодали, к ним мало кто ездит.

Гарики развернули машину, и мы поехали, но, видимо, заплутали. Проехали десять километров – никого, лишь обгорелые хаты, ещё пятнадцать, ещё три.

– Наверно, заплутали! – сказал тощий Гарик.

– Вернёмся! – кивнул толстый.

– Эй, Фотинья, ты как?

– Давайте приостановимся, оглядимся, заодно «мальчики налево, девочки направо» сходим! Я после сухого виноградного вина не могу долго терпеть!

Остановились. Выключили фары. Осторожно ступая, вышли возле поля с кукурузой.

– Надо же… война, а кукуруза растёт, как ни в чём не бывало…

– Фотка, ты аккуратней, далеко не ходи! – толстый Гарик ко мне проявлял не только дружеский интерес, а немного заигрывал.

Мужчины встали возле машины. Никто не полез в кукурузу за мной. Не мужское это дело в кустах садиться!

Стебли были мокрыми, просто как банные веники. Небо было густым. Тьма-тьмущая. Я присела, выдохнула. И вдруг – взрыв. Оглушительный такой. Противный. Меня учили: молчи, хотя в этот миг я взвизгнула по-девичьи.

Это вам не в кино сидеть на заднем ряду и лобызаться. Это настоящий, смертельный, поганый взрыв. Машина горела. Тела Гариков были разбросаны по дороге. А я сидела в кустах и не могла пошевелиться. Затем чуть отползла, трясущимися руками натянула штаны, застегнула пуговицу. И вдруг отчётливо услышала, что плачет ребёнок. Тихо так, словно испуганный кот. «Кажется? Мерещится? Может, я контужена?»

Я встала в полный рост. Нащупала в кармане очки, надела их. Плач раздавался где-то в середине поля. Моя волонтёрская душа сказала мне: «Иди, Фотка, спасай дитя!»

Малыш сидел возле убитой матери.

Видимо, эфпивишки кружили над этим полем, выслеживали. Я потрогала руку женщины, холодная. Мальчик от неожиданности смолк. Самое странное было то, что малыш сидел абсолютно голым. Его трясло от страха и холода. Я стянула с мёртвой и уже неподвижной женщины кофту, закутала малыша. Достала косынку из своего кармана и обвязала возле его талии. Затем нащупала в своём рюкзаке запасные носки и надела на маленькие ножки. Так-то лучше!

– Я фея! Из сказки! – сказала я. – Нам надо пойти к своим!

И я настойчиво потянула малыша за руку.

Главное, выбраться с этого поля потому, что мать малыша наверняка подорвалась на мине. Поэтому и я, и он в опасности.

На дороге догорала наша «Нива».

Я старалась не глядеть на Гариков.

Достала свой кнопочный телефон из кармана. Позвонила в штаб, объяснила обстановку.

– Чёрт вас попер в это село! – рявкнул Старшой. – Сиди там. Жди!

– Есть сидеть и ждать!

Из стеблей я сделала небольшое ложе. Мы легли с малышом, накрывшись моей курточкой.

– Ты вправду фея? – прошептал малыш.

– Да, как тебя зовут? – Я крепче прижала малыша. Мне так хотелось взвыть. Вот прямо – громко! На всё поле. И дальше. Я сжала губы, чтобы не разораться.

– Я? Мика…

Я достала из кармана штанов конфету и протянула Мике. Он её съел. Обнял меня ручонками и затих.

Нас нашли к утру.

Старшой так орал в машине, когда нас вёз, что Мика расплакался от испуга: «Мама! К маме хочу! Моя мама!»

– Заткнись! – ответила я Старшому. – Если не заткнёшься, башку расшибу! Я же фея! Я могу!

– Больше на линию ни за что! Дура! Эти бабы шастают туда-сюда, только под ногами крутятся. Сидите дома, трусы шейте.

Мика разревелся ещё громче.

Я шлёпнула Старшого по затылку. Кулаком. От неожиданности он перестал орать. Мика тоже утих.

– Я же говорила, что фея! Умею укрощать орущих. И утешать ревущих!

Старшой даже затормозил. И остановился. Вышел из машины. Закурил.

– Здесь не Воронеж, чтобы прогуливаться. У меня ребёнок полуголодный на руках! – возмутилась я.

– А что дерёшься-то? – Старшой обиженно поджал губы.

– А ты чё орёшь? Я же не нарочно. Мы не на курорте.

Старшой прошёлся возле машины. Потянулся. Размял спину.

– Есть будете?

– Давай!

Старшой достал откуда-то из-под сидения термос с остывшим чаем и бутерброды:

– Жена всегда обед даёт с собой. Заботливая…

Я молча налила в стаканчик чай и стала поить Мику, отламывая по кусочку хлеб и запихивая малышу еду в рот. Меня душили слёзы. Ещё секунда – и забьюсь в истерике. Но мне плакать нельзя. Можно лишь лупить по затылку и выражаться грубо.

Я взяла и выругалась. Вот так, как шоферня, как держатель борделя. Это был отборный, трёхэтажный мат.

– Хочешь выпить? – неожиданно предложил Старшой. – Мне нельзя. Я за рулём.

– Ты чё, на прогулку собрался? Чай-кофе, вино-коньяк, колбаса, сыр! Давай уже, валим отсюда!

Я допила чай после Мики и доела бутерброд.

К вечеру мы были в штабе.

Мика плакал, хватался ручонками за мою курточку: «Фея, фея!»

– Мне надо других деток спасть! Я приеду к тебе, малыш!

Тело у Мики было белое, ножки пухлые, волосы мягкие, пупок торчал, когда он начинал плакать.

– Ты когда придёшь, фея?

– Вот найду свои крылышки и прилечу к тебе…

– Ты их потеряла?

– Ага. Временно…

Мика ещё долго никак не мог разжать свои кулачки, как его ни уговаривали медсёстры в больнице, куда мы отвезли Мику. Он не хотел расставаться феей. Он повторял: «Мама. Хочу к маме! Фея, не уходи! Отвези меня к маме! Она там…»

Мика показывал своей тёплой ладошкой в сторону окна.

– У! У!

Дура-война.

Крылья феи пробиты пулями…

Крылья феи разорваны в клочья.

Фея… Фея…

Ты настоящая! Ты не имеешь права оставлять малыша! Ты не должна! Я достаю фломастер и пишу на запястье Мики номер моего телефона. Нащупываю какую-то пластмассовую фигурку, выданную в магазине «Магнит» за покупки, и даю её Мике. Это тебе на память! Играй! Я скоро-скоро! Правда. Вернусь!

Старшой нервно курил, стоя рядом.

Он понимал, что я не вернусь. Что у меня свои дела. А волонтерство – это добровольный поступок и не более. И что я никакая не фея. Что я – просто баба, которая отважилась поехать, чтобы отвезти волонтёрку, пофоткаться на фоне неба и похвастаться в социальных сетях своими деяниями. Потому что помощь наша – мизер. Копеечная и смешная. Тут миллионы нужны.

Та, кто рожала, та понимает, что такое дитя. И как ему трудно без матери. Как его трудно переключить, как трудно оторвать от себя.

Бабы, если не рожали, то не пишите рассказы про детей.

Если не рожали, то сожгите все повести свои, где идёт упоминание о ребёнке.

Я рожала, мне можно писать.

И при этом целовать ручки – пальчики и ладошки! Говорить и ласкать дитя. Писать и качать его. Целовать в мягкие щёчки и писать невероятные пронзительные стихи.

– Идём!

Старшой подхватил меня под локоть.

– Пора!

Я получила эсэмэску от одной Скоморошихи: «Моя новый путь самурая. Решила, что помогать с гуманитарной помощью стану только отдельным подразделениям, будут две бригады на Б… направлении фронта. Номера в/ч не скажу. Одну с заботой опекает Бианка. И нам очень нужна обувь. Сбор 30 тыс. Во второй служит П. Там дали очень большой список от товарища гвардии генерал-майора такого-то на генератор и другие изделия. За мной Yealink».

Тоже мне – самурай!

Волонтёры обмениваются так информацией.

Так собирают деньги.

Я не собираю.

Я доброволец. Есть вызов – еду. Есть продукты – иду. Есть работа – участвую. Да лучше носки бабою вязать! Или подштанники шить. Нежели побираться.

«Настройте свой каюр-код и наведите на экран!»

Ага, счас! За енералами приглядывайте. Чтобы поменьше им – «сижу за решёткой в темнице сырой»! Поначалу так вообще без пригляда жили. Тыловые. Бери сколько хочешь. Сейчас лучше стало. Наладилось. Конечно, наши там воюют, конечно, деньги у них на карту идут. И жизнью они своей рискуют. Её за бабло не купить.

Не могу привыкнуть к запаху смерти. Я как-то за больной девушкой-олигофреном ухаживала, я к ней в комнату заходила, накрыв нос повязкой. Иначе всё – сблюю! А иные запахи – гнили, мочи, пота – тоже плохо переношу. Никола об этом не знает, иначе бы меня выкинули из отряда за шкирку. Ольга догадывается, когда я морщу нос, но молчит, у неё самой нелады с переносимостью вони. Я видела трупы, разодранные в клочья. Видела отдельно руки, ноги, видела внутренности, изъедаемые червями. Видела трупные пятна во всё лицо. Синие губы, раскрытые чрева, размотанные на три метра кишки. Видела столько дерьма, что мои перепады настроения настолько противоречивы, что я могу плакать и ржать одновременно. Молчать и орать. Лупить и целовать.

Как Есенин – ласкать и карябать.

Как-то Ольга выругалась: sos!

Это было её главное ругательство.

Но Ольга – классная.

Хотя рисковая.

И она мне постоянно говорила, что её убьют с Николой вместе. Ибо у них – любовь.

– А тебя, Фотка, не убьют. Ты до победы доживёшь. И тебе самый главный ручку поцелует.

– А я что ему в ответ?

– Как что? Моё любимое: sos! – ухмыльнулась Ольга.

– И дальше что?

– А ничего…

Ольга так орала в рацию, причём непрерывно своё любимое sos, sos, sos, что Бианка ответил:

– У тебя что там? С Николой брачная ночь?

Оказалось, что «буханка» приехала, а грузчиков нет. Забухали.

Я первая примчала на место сборки. И сама вгрузила 15 сумок барахла.

Затем и вправду мне стало – sos.

Лопнул мениск, порвалась связка, разодрался хрящ. И через три месяца мне поставили диагноз – артроз четвёртой степени.

На МРТ написали: на левом колене правой ноги.

Это было настоящее sos.

Дочь мне высылала посылки за посылками, делала заказы через Wildberries лекарств. Но бесполезно! Я хромала полгода. Затем вышла на выгрузку и снова захромала, но уже на правую ногу. Пришлось продать дачу, чтобы вылечиться. Мы же бесплатники, нам ничего не положено. Ни копейки.

Деньги дают лишь за конкретное – sos.

– Может, Старшому? – предложила Ольга. – Он в МЧС работает, у него бабло есть.

– Нет! За мной тут Гарик толстый ухлёстывал, миной шлёпнуло, поэтому я зареклась, от меня неприятности! – ухмыльнулась я в ответ Ольге.

Мы как раз ехали на концерт в Мулино.

Солдатики были все как на подбор – стриженые. Безусые. Беленькие. Они слушали наши песни – Ольга с Николой хорошо играли на гитаре, Бианка пел, я с упоением читала стихи. Зал плакал. Особенно мамаши, приехавшие на присягу.

Затем нас кормили обедом.

Старшой сам лично проверял: всё ли у нас в порядке с порциями.

Но раковина в части не работала, из трубы несло ужасающе.

Ольга на меня пристально смотрела, когда я закрыла дверь с надписью toilet, выходя оттуда с побледневшим от отвращения лицом.

Но я заставляла себя учиться отсутствию брезгливости. Вот тебе и кодекс самурая.

– Ну что, sos? – спросила она.

– Иди, Ольга, в казарму, там наверняка чище!

– Нет. Не дотерплю! – Ольга проворно скользнула к вонючей дырке посреди.

И отчего тут в центре русской воинской части это английское слово – toilet? Может, для того, чтобы показать – це Европа настоящая клоака?

Никола и Ольга пели на мои стихи. Настоящие. Военные. Боевые песни. Жаль, конечно, если их убьют, потому что они на своей «буханке» не переставали ездить на ленту, бугор, антрацитовые горы да в шахты угольные.

Вот мне всё равно, когда говорят, что лезешь? Сиди, баба, дома, щи вари!

Мне всё равно, когда говорят – не наше дело, начальник сам виноват, куда глядел в 14-м году? Отчего допустил кровавый переворот в Куеве? Отчего поверил всем меркелям-макронам? Не видел, что ли?

Мне не это главное: мне людей жаль.

Вот глядят они усталыми, измождёнными и испуганными глазами. Словно не на этой земле находятся, а подорвались в космосе и спустились только что на грешное поле наше. Их много, а ты одна! И от них идут словно сигналы SOS!

Мне и бывший муж говорил: уж больно ты сердобольная! И друзья тоже – всем не поможешь!

А того хуже, когда ещё в очереди какой-нибудь мужик в тапочках и шортиках начнёт пузыриться:

– Тебя кто на войну звал? Кто просил идти? Я не просил! Вот и стой за мной. Я крайний!

А у меня ногу ломит! Мениск выворачивает! Кость ноет! Я уставшая, вспотевшая. И жрать хочу. Вон ту булочку с изюмом и вон ту банку с йогуртом.

Нет. Я работаю на самом-то деле.

А волонтерство – для души. Людям помогать – это тоже иногда клёво. Когда бабки благодарят. Бабы кланяются, в ноги кидаются, мужики головы склоняют. Дети кричат: фея прилетела! Это тебе не коучи-блогерство-мимишки для маришки.

Это тебе не гарри поттеры, орки, виртуальные игры.

Дети сейчас растут без знания войны. Они едят бургеры, чизбургеры, пьют колу, фанту и торчат в телефонах целыми днями, там развлекуха.

И ничего не поменялось с 14-го года и с 22-го тоже. Всё те же ЕГЭ, ОГЭ, Болонская система, в жюри литконкурсов всё те же мужчины сидят и бабы, которые из 90-х и из нулевых. И стремятся к денежным призам. Вот все хотят денег.

Дай!

А в ответ – тишина.

И лишь песни Ольги и Николы. Которых убьют. Они оба подорвутся через пару лет. А ведь они могли мёдом заниматься. Пасекой. Продавать тягучий липовый, густой цветочный. Могли бы детей нарожать. Пять штук. Могли бы в филармонии петь. У них красивые голоса. Особенно у Ольги – молочный, густой.

Они даже пахнут одинаково – женитьбой, брачной постелью, завтраком, ужином, мужем и женой, Иваном и Марьей, Лелем и Ладой, ночью на Ивана Купалу.

Вообще у меня собачий нюх.

Выпустят в лес, а я хожу принюхиваюсь, со мною бы пропавших, потеряшек искать. Но мне больше подходит волонтерство, ибо мы работаем с живыми, а поисковики не только с ними, у них мертвяка много. И вино они пьют.

У нас на счёт этого строго: никаких пьянок.

Поначалу мы ездили, словно туристы или рыбаки, только удочек не хватало, а постепенно набрались опыта. Я даже на курсы сходила по оказанию первой медицинской помощи, жгуты умею накладывать, зубами держать жгут, зажимать артерии, находить лимфоузлы потому, что при искусственном дыхании мало делать массаж сердца и дуть рот в рот. Надо находить важные лимфоузлы и слегка массировать их. Это тоже эффективно. Но Никола орёт: «Не вздумай!» Ольга подхватывает: «Не лезь!» И Бианка мычит, соглашаясь. Он писатель средней руки. Такой банальный. Но не фальшивый. Иногда приносит мне рукописи и просит: прочти. Я киваю и стараюсь сосредоточиться. Отчего-то последнее время ко мне лезут все, кто хоть что-то более-менее сочиняет. Просят: издай. А мне не всегда хочется. Скорее всего, просто не хочется. Те, кого хочу, – недосягаемы.

Я поехала в Брянск.

Позвонил Старшой:

– Фотка, езжай за наградами. Привезёшь всем, сколько дадут, бери.

– Отчего я? – мне не хотелось вставать с места, я вообще мечтала 2-3 дня полежать под солнышком, позагорать, покупаться в бассейне и сбросить 5 кг.

– ЧВК хотят концерт заодно. Ты же читаешь стишата будь здоров, все кони оживают!

– Не поеду, Старшой, не зови! Тратиться не хочу. Читать стихи не хочу. Ехать отказываюсь.

– Почему?

– Потому что возвращаюсь из поездок со вшами. Помнишь, ехала поездом от тебя после смерти Гариков? Так вот, привезла вшей полную голову. В этих вагонах в отстойниках бомжи спят по 50 рэ за ночь!

– Тебе за поездку возместят, заодно диплом получишь на литфесте! Как раз 24 августа, успеешь! – не унимался Старшой.

– Ну, ладно… я купаться хотела…

– В Десне искупаешься!

Вшей я действительно нахватала в вагоне, хотя платком оборачивала голову, шапочку на затылок привязывала, шампунем от вшей мылась, но увы – серые, блохастые бегали по моей голове целых три дня. Гребнем вычёсывала, волосы над ванной вытряхала, мылила специальным раствором из чемерицы – бесполезно.

Эти вагоны – просто рассадник!

Но медаль привезла. Именную.

В удостоверении было написано, что мне, Фотке!

Правда, удостоверение и все подарки оставила в номере вместе с туфлями на высоком каблуке и юбкой из шифона. Я вообще боялась лишней тяжести, старалась брать с собой в дорогу только необходимое: доширак, кипятильник, бельё и расчёску. От вшей.

Затем Старшой позвонил и сказал:

– Съезди к Мику, он в детдоме. Тебя зовёт!

– Не поеду. У меня сердце не камень. Разревусь.

– Не ври! Я тебе деньги скину на карту. Езжай. Адрес прочти в почте. Считай, что это моё задание. Личное.

Старшой говорил нараспев. Последнее время он не отваживался орать на меня. Он знал – кулаком по башке получит.

Я купила в магазине новогодних костюмов накидку для феи. Она была оранжевого цвета, с большими пуговками на груди и спине. Крылья на ней пришиты из тюлей и каких-то глупых бумажных цветов.

Мика, увидев меня, помчался с конца коридора. За три месяца, что мы не виделись, он ещё больше растолстел, зарозовел, закудрявел.

– Фея! Моя фея!

Толстый, беленький мальчик, с мягкими волосами и, стыдно сказать, с таким родным маленьким пупком.

Он обнял меня, стал радостно разглядывать мой костюм.

– Ты нашла свои крылья! Да! Мы полетим к маме!

– Позже! Мика! Мой мальчик!

Я его целовала в пухлые щёки, я перебирала его пальчики на руках, я гладила его беленькие ладошки. Он тоже целовал меня истошно:

– Ты останешься со мной? А? Хотя бы на одну ночь?

– Мика, а как же другие дети? Кто им будет искать их мам, пап, бабушек, тётушек? Я же одна на всех!

Воспитательница Люся стояла рядом. Она растерянно смотрела на меня и Мику. Она всё знала и понимала. Молчала. Скованно. И мило.

Просто стояла и была очень милой.

Вот умеют люди ничего не делать, а быть такими милахами!

Кушать и улыбаться.

Плакать и улыбаться.

Петь и улыбаться.

Бухать и тоже улыбаться.

Спать с мужчинами и всё равно улыбаться.

А у меня печаль на лице. Я не улыбаюсь. Я волонтёрю. Таскаю тюки с гуманитаркой. И эта гуманитарка не кончается, оттого что люди хотят есть, пить, одеваться, а их жильё с одеждой, едой, питьём разбомбили. Я вяжу носки, но иногда мне кажется, что я вяжу из своих волос. Вот только выведу вшей и снова вяжу.

– Люся, а можно фея останется? На одну ночку? Пожалуйста!

Из уст Мики – это «пожалуйста» прозвучало, как sos.

Люся отрицательно покачала головой.

– Вы сначала сходите погуляйте. Фея! Мика! Идите во двор!

Мы вышли на широкое крыльцо, залитое солнцем. Именно залитое. Солнце было размазано по листве, цветам, кустам, по голосам птиц. И по щекам Мики.

– Куда пойдём? – спросила я.

– На качели. А потом сбежим? – Мика крепко схватился кулачком в подол моей шёлковой юбки.

– Сбежать не получится! Я опять сломаю крылья…

– Тогда полетим!

– Мои крылья не рассчитаны на такую тяжесть! Мика, я попрошу Люсю, чтобы меня оставили с тобой в комнате для гостей переночевать. А улетать мы не станем. Иначе меня поймает полиция и посадит в тюрьму. А там мои крылья отвалятся и умрут. И я стану обычной, серой домашней хозяйкой с противным квартирным бизнесом. Коей я иногда являюсь кроме случаев волонтерства и спасения людей.

– Квартирный бизнес? – Мика покачал осуждающе кудрявой головой. – А я думал ты всегда фея!

– Садись на качели…

Он взобрался. Посмотрел на меня.

– А как же мама? Ты мне её не вернёшь?

– Я её не отбирала у тебя. Она сама осталась в кукурузном поле. Заболела… видимо…

Мика тихонечко заплакал. Затем громче. Я не переставала раскачивать его, думая, что поплачет и забудется. Но нет. Мика взревел во всю мощь…

Я его сняла с качели и прижала к себе.

– Мика, родной, ну прости! Прости! Нам, феям, тоже приходится несладко!

– Останься со мной! И я не буду плакать!

– Ах ты, шантажист маленький! Я же сказала: попробую спросить у Люси.

Мы пошли в сторону прудика. Это был заурядный водоёмчик из резиновой ванночки.

– Всем разрешают ночевать здесь. Вчера к Вовке бабушка приезжала. Гостила всю неделю. Вовка хвастался!

Я достала из кармана телефон и набрала Люсе, спросив, есть ли возможность мне остаться на ночь?

Воспитательница ответила согласием:

– Конечно! Комната свободна до субботы! Питаться вы можете у нас в столовой с доплатой и гулять с Микой можете целыми днями по территории.

Я согласилась.

На ночь я снимала свой костюм, чтобы крылышки отдыхали.

– Мика! Предупреждаю, если меня срочно вызовут на помощь людям, то я улечу! Не реви!

– Ладно!

Согласился он.

Было в нём такое чудовищное зияющее чувство войны и вины.

Вины взрослых людей.

И моей личной!

Что я не уберегла его мать.

Человек – существо несовершенное, воюющее и злое!

А фея одна!

Я целовала Мику и целовала. Я его таскала на руках и тискала. Мы играли в прятки, выбивалки и просто в мячик. Мы спали днём после обеда. И спали ночью после ужина. Мы ели всё. И пили всё, что приносили из столовки. Мы были как мать и дитя.

– Научи меня тоже быть феей!

– Нет. Ты будешь сынком феиным. Ты Феич! Такой маленький, пузатый Феич! Вырастешь и тоже станешь добровольцем! Ладно?

И мы спасали весь день игрушечных солдатиков, отвозили их на скорой, делали им искусственное дыхание. И успокаивали. Я Мика Феич! – орал малыш. И радовался всему на свете.

Я уехала утром, перенеся сонного Мику в его кроватку в спальню для мальчиков. Это был самый глубокий и сладкий сон – в три утра.

Я и сама, кажется, спала.

Все пять дней я спала в счастливом сне.

Я хотела внуков. Так вот же он – уже готовый, живой, беленький внук! Я его нашла в кукурузном поле. Не всем же детей приносят аисты.

Всю дорогу я плакала.

Днём позвонил Старшой и сказал:

– Нужны РЭБы.

– Всем нужны.

– Складываемся!

– Повезут на ЛБС Никола и Ольга. Фотка останется на телефоне штаба.

Тогда Николу ранило. А я потащилась к нему навестить его в больницу. Это было страшно! Воняло мочой и пенициллином.

Ольга сказала: дадим концерт для военнослужащих.

Дай сама. Вот иди и дай. Дай им! Дай всем.

И при этом не реви.

…

Ночь. Всегда ночь. Век – ночь. Каждую ночь – ночь. Каждый день – ночь. Каждый грех – ночь.

И стихи – ночь

Я – ночь.

…

Спи!

Глазки пусть спят. Тело спит. Руки спят, голова спит. Ноги спят.

Но одной ноги нет. Она вечно будет теперь гулять по полю. По широкому полю. Ольга никак не могла понять – как это случилось? Отвезли груз. Ехали со скоростью запредельной. Уже возвращались. Осталось до города каких-нибудь 20 км, и вдруг! Ослепительная вспышка под

левым колесом. Крик Николы. Брызги крови: на полу, сиденье, даже на стекле переднем капли. Машина, стыдно сказать, цела. И даже на ходу. Лишь нога Николы отдельно от Николы. Старшой сказал: взорвалось снизу, пробило дно и оторвало ногу. Не задело более ничего. Не загорелось. Лишь воронка под педалью, небольшая такая. Но этого хватило, чтобы отсечь живую волосатую ногу, пройдя по кости.

Ольга думала, что ногу пришьют. Замотала её в полиэтиленовый мешок.

Николу уложила на носилки в «буханке», перехватила жгутом выше колена. Даже не помнит, как сама села за руль и помчалась в больницу. Ехать надо было мимо морга. Там целый воз вещей убитых воинов. Героев. А поверх всего бронник возвышается.

Вот зачем я поехала в Москву в этот госпиталь воинов всех войн?

На 14-м этаже есть такая палата на четверых. Все тяжело раненные. У всех оторваны конечности. Лежат такие коконы после операций. А уже идёт десятый день. И кто-то из них старается привстать. Возле больных жёны суетятся:

– Васечка, бульончик?

– Петечка, кашку?

– Данечка, Данечка!

Запах войны – это запах болящей плоти. Запах пота, человеческой боли и страданий. Капельницы, перевязки, уколы.

А до протеза ещё терпеть и терпеть.

Он лёгкий, у него полость мягкая, как шарик воздушный.

Никола, будешь передвигаться на воздушном шаре! Как Жюль Верн.

Ольга сказала:

– Всё равно дадим концерт. Это не обсуждается!

– Но… как-то не ко времени! – попыталась возразить я.

– Ты читаешь. Я пою.

– А что читать? У меня всё слёзное. Всё философское и сложное, я же не Барто! – я сидела в Николиной палате и смотрела на всех сразу. И на всё сразу. На еду. На тумбочки, на стены, на судно, на медленный ток лекарства из капельниц. И слышала, как кричат тяжелые.

Так же орала роженица, нагулявшая ребёнка и убившая его в животе своём. Нам не рассказывают, что баба, переспав с мужчиной и забеременев, добровольно идёт на искусственные преждевременные мертворожденного дитя роды. Его убивают специальным раствором. И вызывают роды медикаментозно. Так же орал Петечка. Он – птичник. Его засекли и всекли беспилотником.

Вошёл хирург:

– Терпим! Терпим! Сейчас укольчики всем сделаем. Затем ужин. Через пару месяцев встаём на протезы и гулять идём!

– Пошли! – скомандовала Ольга. – Если будем кукситься, то выздоравливать больным тяжелее. Когда Никола поправится, то возьмём и его тоже. Да?

Никола лишь простонал в ответ. Раны затягивались трудно. Швы воняли мазями. Кость ребрилась неровным конусом.

В коридоре Ольга прошептала мне на ухо:

– Любви хочу, аж горло сводит! Как ты думаешь, на Николу это повлияет?

– Нет. То есть повлияет, но в лучшую сторону, ободряюще сказала я. Точнее брякнула.

Ольга удивлённо вздохнула.

– Откуда ты знаешь, а вдруг наоборот в худшую?

– Погляди на себя в зеркало. Ягодка-малинка! Юбочка короткая, коленки белые. Как только поправится Никола, тут же станет любить тебя!

– Ха! – Ольга довольно улыбнулась.

– Верное решение! – ободрила я Ольгу. – Ты что петь будешь?

– Как всегда, – отмахнулась она, доставая гитару из чехла. – У меня сейчас мысли только о том, как оказаться в нашей супружеской постели.

– А ты попроси отдельную палату после концерта. Авось хирург раздобрится. Мы чё тут, забесплатно вкалываем, что ли, рифмы гоняем? А?

Ближе к ночи Николу перенесли в отдельную палату. Он так жалобно стонал, что я только морщилась. Вместе с Николаем перетащили его судно, утку, пачку печенья, два яблока, стакан томатного сока, градусник, бутылочку с водой. Медсестра не пожалела обезбола, и Никола утром очнулся посвежевшим и в хорошем настроении.

Ольга позвонила мне и рассмеялась. Я такого счастливого смеха не слышала давно.

– Ну как, Ольгунчик?

– Фотка, это класс! Помнишь у Шолохова, вот вставила бы перо и полетела!

– Ну, так вставь!

– Я теперь и без этого летать могу!

– Вот-вот, я же предупреждала…

– Давай гони мне новые тексты, что-нибудь про любовь. Красоту. Наготу. Лепоту! Из меня музыка так и прёт!

Я взяла листок бумаги. Авторучку.

Текст получился, наоборот, тяжёлый и вычурный. Я его перечеркнула крест-накрест.

Но Ольга сказала: оставь! Получится красивый романс. Вот получится! Точно! Фотка, ты умница. И ты гений!

Я лишь пожала плечами. Ночью мне снились все сразу: Старшой, Ольга, Бианка, Гарики, Мика, даже мама Мики и Никола, но идущий на своих ногах.

Когда Ольга привезла оторванную ногу Николы в больницу и самого Николу, то врачи долго не могли понять просьбу Ольги: пришить конечность на место. Она причитала: «Я слышала, что можно пришить! Слышала!» Врачи её увещевали: «Нельзя!» Но Ольга не останавливалась: «Пришейте!» Вышел хирург и как воскричит: «Ага! Сщас! Только иголку поточу и простерилизую! Вы с ума сошли? Может, мне водичкой живой побрызгать, чтобы новая выросла? Это жизнь, женщина, а не сказка!» И добавил: «Тьфу ты…»

Романс и вправду получился в миноре. А припев такой мажорный. Ольга убрала про гнёзда и чёрных панков. А утром Ольга написала мне сообщение: «Кажется, забеременела. 10 лет пытались, и всё никак. По врачам ходили, биомассу сдавали по пол-литра каждый месяц. А тут с первого раза на обезболе… Поздравь меня, Фотка!»

«Поздравляю обоих!» – ответила я, понимая, что теперь придётся ездить с Бианкой, Старшим и двумя новыми парнями – Тошей и Мокшей. Мы их так прозвали. Они были такими наивными, непугаными, как два птенца из Края глупых птиц, я провела им два курса первой помощи и показала, как накладывать жгуты. Тоша бледнел от вида крови,

а Мокша от ножа и плоскогубцев. Эти вещи тоже нужны, если перекусывать проволоку или заграждения, чтобы пробраться в серую зону.

Фея, фея!

Мика меня ждал. Он был терпеливым. И Люся мне звонила и говорила, что Мика молодец. А один раз она мне предложила, может, усыновите? Или муж против?

Нет. Не против. Его просто нет.

А-а… вы же волонтёрите. Сочувствую.

Нет. Он жив. Но он бывший.

Вот я тоже слышала, что волонтёрят лишь неприкаянные и одинокие.

А ещё пьяницы и гулящие! Но я ни то, ни другое, ни третье. Я, Люся, с 14-го года такая. Правильная. Хорошие книги читала. А плохие выкидывала. Из окна вагона поезда.

Как это?

Просто в окно. На полном ходу. Раз, и нету. Лети, голубок!

Журавли летели клином. Ровным. Лишь один отчего-то выбивался. И чуть косил налево.

– Это к добру! – сказал Тоша. И Мокша кивнул в ответ.

– Ладно.

– Можно мы вас сестрой называть будем? Сестра Фотинья!

– Лучше систер по-английски. Систер Фотка.

Парни ловко вгрузили 11 мешков в курскую. Бианка был за рулём.

– Поехали!

Ага. Я осталась.

Трава была мокрая. Ноги сырые. Ботинки насквозь влажные.

Завтра идти на квартиру. Съехали арендаторы и, как всегда, оставили грязный пол, пригоревшую плиту и сломанную стиральную машинку.

– Старшой! Помоги! – позвонила я в штаб.

– Чё, кинули? Объюзгали всю жилплощадь и смотались?

– Как всегда…

С утра я мыла полы. Тёрла порошком раковины. Замачивала в хлорке ванну. Мне как-то одна женщина сказала: ну подумаешь – квартиру сдавать, пришла раз в пять лет, проверила и далее живёшь! Ну-ну. Если бы всё было просто. На самом деле я по натуре чистюля. И пятна на стенах, жир на полу, грязная ванна, рваные шторы – это не для меня.

А вчера сама несла на пятый этаж микроволновку и стиральную машинку. Тащила и отдыхала посередине лестничных пролётов. Естественно, к вечеру была просто выжата как лимон. И такая же кислая!

…Тоша и Мокша попали под обстрел.

Они думали, что проскочат мост. Но не успели.

Они такие хорошие ребята. Исполнительные. Но без опыта. Учила, учила, учила, как поступать в сложных ситуациях. Обождать. Где-то пройти пешком, если недалеко. Затаиться, спрятаться в блиндаже. В ангаре.

Но мы все охотники. В книгах об этом мало кто пишет, что лучше иногда залезть в нору, присыпать себя землёй, прикрыться брезентом или куском рубероида, который не выдаёт тепловую сигнатуру. Я таскаю всегда такой рулон в рюкзаке вместе с аптечкой, жгутами, запасным термобельём. Но Старшой сказал: Фотка, сиди. Фотка, не лезь. Фотка, ты баба. И ты нам нужна как лирическая женщина. Твоё дело – концерты в больницах, лазаретах, гуманитарщица. Ты ж бесплатница и бессребреница. Жди, когда позовём.

…Накануне мы с Тошей и Мокшей сидели в баре. Захотелось просто попеть в караоке и съесть тарелку пельменей. Тоша и Мокша рассказывали, что они одиноки, оба, что девушкам не до них. Что Тоша любит рисовать, а Мокша стремится попасть на ННТВ, как стендапер, но его не берут за отсутствием таланта. И поэтому он хочет набрать материала про гуманитарщиков и затем ходить рассказывать весёлые истории.

– Например? – спросила я. – Какое веселье, когда едешь со скоростью 140 кэмэ и боишься поднять голову?

– Вот я и говорю, что найду смешное и выйду на сцену, – Мокша улыбнулся. – Слушай, систер, например, едем, а у меня живот разболелся, я хочу выйти, но останавливаться нельзя. И тут грохот. Бац, и кювет. Выхожу и понимаю, что рядом дом. И что я уже у цели. А тут снова бац – беспилотники. Я их сбиваю веником!

– Не смешно! – возражает Тоша. – И пошло.

– Там у всех пошло. Главное, придумать историю. А дальше само пойдёт!

– Да… уж веселья…может, ты петь будешь лучше? Это сейчас нужнее.

– Нет! Ни слуха, ни голоса у меня нет.

– Может, у тебя знакомые есть. Они пристроят на какую-нибудь передачу.

– Так там спать надо с продюсером, руководителем…

– Все говорят, что спать! Но никто не видел эту большую кровать, чтобы после неё на экран прорваться! – улыбнулась я.

Тоша в этот день не пил. Мокша тоже лишь жевал пельмени.

Я сказала:

– Всё, отбой. Вам завтра рано вставать.

Мы тепло распрощались.

А на следующий день пришла сводка – Тоши и Мокши больше нет. Вот тебе и камеди-клуб.

Как впоследствии оказалось, Мокша не погиб. Он был взят в плен. Каким-то чудом Мокшу выбросило из окна во время взрыва на мосту, он откатился, видимо, к обрыву. А там ДРГ его обнаружила, связала, утащила в лес. Пытали.

Это был Содом.

Страшный город на берегу.

Самые изощрённые пытки – это у них, у азовцев* . И почему-то всегда с наличием эротики. Вот не могут они без низменного и унизительного. Отрезание ушей. Прижигание при помощи калёного железа или прутика. Кастрация. Отрывание ногтей, зубов, переломы коленей.

И того страшнее – это ножом по животу, вырезание кожи в паху.

Я в юности смотрела спектакль, где мученица встречается по сюжету с палачом. Он её не узнал, но мученица сразу признала палача, ибо мечтала всю жизнь отомстить за унижения. Палач был уже немощным стариком, попавшим в западню. И тут разыгрывается драма: мученица ведёт длинный диалог, рассказывая о своих страданиях и извращениях палача. А в конце – отпускает его в море. И тот не тонет, а спасается.

А мученица причаливает со спокойной душой, думая, что отомстила.

Но месть не настигла палача.

Иллюзия мести оказалась окрашенной в синие тона.

Расплата, видимо, должна была прийти позже. В наших сердцах.

---

* Запрещенная в России террористическая организация.

Я мысленно несколько раз убивала этого палача. Наяву. Во сне. И я до сих пор мечтаю вставить в него жуткую пулю. Отравленную. С разрывом внутренних органов.

Мокша истекал кровью. А его пытали и пытали. Затем взмыл наш беспилотник над головами мучителей, те ринулись в разные стороны, но наши осколки их всех сразили наповал. Мокшу спасли. Доставили в больницу. Он тридцать дней пролежал в реанимации. На тридцать первый очнулся и написал мне сообщение:

«Фотка, жить нет смысла…»

Я позвонила в штаб. Мне сказали:

– Езжай. Успокаивай. Ты сможешь.

– А вдруг не смогу?

– Тебя же обучали на курсах. Ты опытная.

– Но у меня квартиранты. У меня аренда. Я без денег сижу… – возразила я. Но уже собрала свой рюкзак, положила туда несколько книг на военную тему, витамины, травки успокоительные и ещё всякую мелочь. Рюкзак добровольца, так я называю всегда мою поклажу.

Машина приехала за мной через час. Я даже цветочки успела полить и накормить кота. И соседке наказала: Милка, если меня долго не будет, то пригляди за Стиксом!

Так звали моё пушистое чудо. Пять кило радости и пуха.

Меня безоговорочно пропустили в палату. Даже не заставили надевать белый халат и полиэтиленовые тапочки.

– Идите! – сказала медсестра на посту. Было такое впечатление, словно они не верили, что Мокша не наложит на себя руки.

Я зашла в мало освещённую, вообще какую-то тусклую прорезь палаты. И словно протиснулась в иное измерение.

– Мокша, милый! – я обняла его голову. Стала неистово целовать затылок. Мои губы упирались в бинты, в сплошное белое, шершавое…

– Систер? Ты? – Мокша приоткрыл глаза. Зрачки были фиолетового цвета.

– Я, бразе! Я!

– Зачем ты?

– Мокша, мы же добровольцы. Мы сильные. Я сильная. Ты тоже. Мокша! Мы ещё с тобой на камеди попадём, мы фильм снимем! Мы в театре будем играть на самой главной сцене! Мокша!

– Систер, ты не понимаешь, я урод. Меня…

Мокша заплакал. Так по-детски. Мягко. Как кошка.

– Бразе, нам надо отомстить им. Надо вылечиться и пойти мстить этим гадам! А умереть мы всегда успеем. Да мы ещё и жить не пробовали! Мы возьмём калаши, гранаты, беспилотники, мы же бойцы, Мокша!

– Я… меня…

– Мокша, верь мне! Всё наладится. Плохое забудется. Ну не в этом же дело, тебя… меня… Мы их всех, этих нацистов накажем, Мокша. Мы с ними сделаем то, что они проделали с нашими пленными. Они будут корчиться и просить пощады.

– А где мы их найдём? – Мокша чуть привстал на кровати.

– Как где? На западе! Ты же знаешь, как работает наша разведка. Наши службы. Ты видел, как работаем мы.

Я целовала Мокше мокрые щёки. Я гладила его руки.

– Вот умеешь ты, систер Фотка, сказать так, что жить начинает хотеться!

– Так я же фея. У меня ещё Мика есть. Такой хорошенький пацан. Выздоровеешь, поедем к Мику, бразе! Он ждёт меня.

– Откуда он взялся?

– Оттуда же, как и все. Он с кукурузного поля.

– Ну-ну…

– Он маленький, беленький весь, толстенький. Его маму убили эти палачи! Ему хуже, чем тебе, бразе! И мы нужны ему. Ты, я, просто люди. Он скучает и ждёт!

Я встала с табуретки и дотянулась до выключателя. Желто-лимонный свет ярко ударил в роговицу глаз.

– Совсем иное дело. Мокша, я тебе книги привезла. Про разведчиков. Бои. Про партизан. Ты прочти это до субботы, а потом, когда вылечишься, то позвони. И приезжай. Мы тебя ждём. Весь штаб.

– Отчего до субботы, систер? Тут пять толстенных томов! – Мокша приподнялся на локте.

– А потому, бразе, что мы, добровольцы, психологи хорошие. В науке есть такой термин «рассасывание боли», поэтому два-три месяца мозг надо занять чем-то невероятным. Заставить его интенсивно работать. Сопереживать другим. Кому хуже! А этим людям – намного труднее. И тяжелее. Мокша… милый… больше не пугай нас! Меня! Мику! Старшого! Ольгу и Николу! Вон Никола без ноги валяется. А у Ольги скоро дитя родится. А мне без вас кранты. Вы моя семья! С кем я повезу одеяла и подушки в сёла? Книги? Ты же знаешь, что не хватает рабочих рук!

Мокша на меня посмотрел сосредоточенно:

– Систер! Не боись. Не подведу!

Мы ещё долго болтали до вечера. Ели яблоки и грызли орехи. Придумывали диалог для камеди-клуба. И сочиняли куплеты для фестиваля «Доброволец на сцене».

Затем мне позвонили из штаба и сказали:

– Машина ждёт. Спускайся!

– Хорошо!

Соседка изумилась:

– Что так быстро? Стикс даже проголодаться не успел!

– Милка, спасибо тебе! Это было самое настоящее благородное дело. И я, как спасатель, горжусь собой.

– А много платят-то? – соседка запахнула халатик, вставая с дивана.

– Нет. Но не всё же измеряется в валюте…

– Ясно. За спасибо вкалываешь, Фотинья! Как юродивая…

– Ты знаешь, меня никто не заставляет это делать. Кроме моей совести! Всё, Милка, спасибищи. Иди!

– Зови, если чё…

Я протянула Милке коробку конфет «Ассорти».

Ладно!

От Мокши пришло сообщение: «Фотка, я так и не понял, отчего до субботы надо всё прочесть?»

«Я же не сказала, до какой субботы конкретно!» – ответила я.

«Да… ты настоящая волонтёрище! Буду учиться у тебя!»

«Спок ночи, бразе!»

Спок. Спок…

Данкевич написала: «Срочный сбор на мавики…»

Вот бы Мокша женился на Данкевич! Это был бы хороший, крепкий брак.

Сейчас операции делают на восстановление всех жизненных функций. Врачи научились. Медицина не стоит на месте. Вылечится Мокша. Обязательно!

И, наверно, они бы жили долго и счастливо если бы Данкевич не…

Блин… только не Данкевич. Ибо она – красавца. Ушки длинные, шея белая, щёки впалые, а волосы кудрявые, цвета спелой вишни и рябины.

У Данкевич оторвало руку.

И Мокша её утешал. Он научился у меня – целовать в голову. Долго-долго. Затем качать, как ребёнка. И петь колыбельную.

Данкевич без руки была ещё прекраснее. Она повязывала локоть какой-то бренчащей фигнёй в стиле боро. И на шею надевала колокольчик. Каждый раз разный.

Они бы были прекрасной парой, если бы Данкевич не была влюблена в другого. В того, кто её бросил. Какой-то трус с пирсингом и татушками. Из богатеньких, рублёвских, папа начальник на Винилрусе, з/п три ляма. Данкевич рыдала навзрыд, когда узнала, что её хахаль ушёл от неё, безрукой. Тоже хотела повеситься.

И меня вызвали: Фотка, езжай, утешай!

Мы приехали вместе с Мокшей. И мы её целовали наперебой в затылок, мы её тискали. И орали громко!

– Не дадим повеситься! Солдаты погибают лишь смертью храбрых! Ты должна сначала отвезти эти пакеты новым пострадавшим в приграничье. Данко, выполняй задание!

Затем мы пошли в ближайший бар и там набухались до сблёва. Нас всех рвало одновременно за углом. Спать мы легли на скамейке в парке. Полицейские нас разбудили и пригрозили, что увезут в вытрезвитель.

Я как самая трезвая позвонила в штаб. И нас забрали.

Мы спали у Старшого на надувных матрасах, с которыми он обычно ходил на рыбалку. Утром пили рассол из-под огурцов и хохотали, придумывая новые сценки для камеди. И частушки для феста. Днём пришла жена Старшого Лидия Игоревна и покормила нас борщом.

К вечеру мы разъехались. Данкевич к себе. Мокша поехал её провожать. А я к Стиксу! Старшой долго крестил Мокшу и Данкевич вслед.

– Хоть бы сложилось у них…

Да… вот тебе и патриоты. Крестятся да молятся. Им бы пистолеты в зубы и на полигон!

Добровольцев в России много. Тысячи, а то и миллионы. Да кто ж их считает? Есть, конечно, официальные списки, есть учёт и контроль. Но, как говорится, нас тьмы и тьмы, нас небо и космос, нас так много, что со счёта собьёшься. Звезды по ночам тоже волонтёрят. Солнце – тоже волонтёр небесный. Мы ему ни копейки не платим, а вот жить без него не сможем. Любовь – это тоже волонтёр, церкви, храмы, больницы, школы – тоже волонтёры. Но первыми и живыми числимся мы. Некоторые не числятся, не получают удостоверение волонтёра, да и зачем? У нас никто корочки не спрашивает. Мы просто приходим и помогаем. Чаще всего все друг друга знают, переписываются в соцсетях. Складываются деньгами. Обмениваются. Например, кто-то уже приехал, и ему не пригодились аккумуляторы, ибо не те и слабые. А другим в самый раз.

Добровольцы – это снабженцы. Например, на Херсонском срочно требовались одеяла – это вообще материал расходный и скоропортящийся. Сейчас есть термоодеяла и носилки. И такие блестящие накидки. Они согревают и они одноразовые. Их легко сдать в утиль. Видели в госпиталях полные контейнеры этих блестяшек? Но одеяла были нужны позарез, я бросила клич, мне прислали новые, ватные, в упаковке. Человек состоит из одежды, еды, питья, постели, чашек, ложек.

У человека есть дети, матери, жёны, коты, собачки, птички, мужья, отцы, братья, сёстры. У человека есть Родина. И Вселенная. И самое страшное, что человек – смертен. А мы, волонтёры, все сплошь суицидные. С кем ни поговоришь, все говорят – повешусь, застрелюсь. Нет, ты сначала врага убей. Вот сколько встретишь, столько и убей. А потом, ребята, дискотека! Кино, бабы, ночь любви, бухло, курево и снова дискотека!

Я без дискотеки не сдамся!

И не уйду.

Мне вруби музыку, да погромче!

Например, «Комбат, батяня…»

Или «Я русский».

Поэты, поэты, вы опоздали со своими стишочками про цветочки! Я теперь сплошь читаю Набокова и его «Толстого», а ещё Булгакова. И Твардовского. Если ты – не Юлия Друнина, то читать не могу. От слова совсем. Про летящий с дерева листочек мне не интересно. «Не вставляет», как пишет Мокша.

Они с Данкевич лежали на разных матрасах. Взяли поехали на дачу и легли там в комнатушке на матрасах, которые были чуть отодвинуты друг от друга. Сначала Мокша протянул руку и коснулся руки Данкевич. Они рисовали узоры на ладошках. Второй руки у Данкевич не было, но зато была здоровенная, утолщённая в локте культя. И Мокша начал целовать этот кукольный узелок. Ему нравилось. Они уже три часа целовались. И Данкевич с ума сходила от желания.

Мокша был доволен тем, что почуял себя мужиком.

– Ты знаешь, Данко, я ж…

– Да знаю я! Не говори ничего. Всё наладится… мне хорошо с тобой, Мокша!

Они прижались к друг другу. Они согрелись друг о друга. И стали встречаться. Данкевич забеременела даже. У неё округлилось тело, появился красивый стан, талия вытянулась, а спина расширилась. Данкевич носила кофты с длинными рукавами и кисточками, сумочки тоже на длинных ремешках и такие же сапожки с цветами.

Она красивая!

Ну очень-очень.

Синие глаза. Кудрявые длинные завитушки до талии.

И вдруг как-то случайно, то ли на дискотеке, или концерте, или в кафе Данкевич встретилась с бывшим. С этим подонком, косившим от армии, войны, разгуливающим по дорогим ресторанам. У него был пирсинг на щеках, серьги в ушах. Его имя Ик.

Этот Ик как раз расстался с новой девушкой. У него была сберкарта с полумиллионом от бати, новый авто, часы, кроссы и… море наглости.

Данкевич столкнулась с ним в дверях, в метро. Самое смешное, что именно в дверях и в метро. Ик обычно не ездил на общественном транспорте. Но тут распсиховался, выпил коктейль и ринулся вниз по лестнице. А тут – хоп – Данкевич – похорошевшая настолько, что глаз не отвести.

– Данко, Данко! – Ик обнял её за талию. – С ума сойти! Моя Данко!

– Я уже не твоя! – Данкевич сделала шаг назад и упёрлась в косяк двери. И чуть не упала.

Ик ловко её подхватил:

– Ну, милая! Ты всегда моя. И будешь ею. Пойдём поболтаем. Просто, без обязательств!

От Ик пахло дорогим парфюмом, не так, как от Мокши, у Ик были деньги и море наглости.

Он повлёк Данкевич в парк, на лавочку.

Сели.

– Ну, ты как, милая?

– Я занята. У нас сбор в полдень. И ещё надо 50 тысяч дособрать на мавик… а ещё в институт на лекцию.

– Я счас тебе скину сто? И в институт подвезу на своей тачке? Хорошо?

Ик был кроток и печален. Ик был свой и привычный. Он был нагл и самоуверен. И этот парфюм. Эта футболка. И родной телячий говор.

Данкевич даже не поняла, как оказалась после лекций в объятьях Ик. Как её губы оказались во рту его. Тело внизу его тела. А ноги закинутыми на спину Ик. Она просто поплыла по течению.

А рука где?

– Ничего, мы тебе купим протез. Такой красивый с розовым браслетиком. Мягкий. И на нём пять розовых пальчиков с налакированными ноготками!

А ещё домик на Рублёвке. Аккуратный, трёхэтажный с участком 75 соток. Я женюсь на тебе, Данкевич!

– Нет. Я беременна от другого!

– Неважно! Я люблю твоего ребёнка. И тебя.

– Ты же сказал, что просто поболтаем. Без обязательств!

– Так и что? Ты без обязательств. А я с обязательствами – жениться! Срочно!

Батя, благослови!

Свадьбу играли в ресторане.

Данкевич просила – скромно, без шумных гостей.

Но все ей твердили, да, да… без обязательств!

Но гостей набежало много – из Госдумы, из дирекции, из надзора, лично от мэра.

А когда жених взял невесту на руки, то Данкевич увидела внизу, под балконом загса жилистую фигуру. Это был Мокша. Он стоял сгорбившись, а лицо его было искривлено маской боли.

Он выложил из камушков фразу: «Я буду ждать, когда ты разведёшься!»

Прошло 10 месяцев.

Мы как раз вернулись с концерта.

Уставшие. Ольга сына оставляла с мамой. Я Стикса с Милой. А Мику усыновила какая-то бездетная пара из Москвы.

Мы работали. На победу!

И вдруг я получаю сообщение от Мокши: «Данкевич вернулась! С малышом! Ко мне!» Я ответила: «Поздравляю! Завтра сбор в штабе в два часа! Надо будет грузить новый конвой в Курск».

Мы собирали на корм собакам. Собирали на корм кошкам. На памперсы для детей. На памперсы для стариков. И грузили, грузили, грузили.

Я точно знала, сколько всего тюков входит в нашу «буханку», а когда её разворотило взрывом от какой-то фигни, то сколько может войти в новый грузовичок. Вообще, рассказывают, что некоторые отряды бесконечно бухают. У нас была железная дисциплина. Бианка следил за этим строго. Несколько человек он выгнал за несоблюдение. Это были мужчины, которые думали, что проканает. Двух женщин он выгнал за разгульное поведение, они ехали на линию и давали там изголодавшимся по бабьему телу парням. Но не просто спали с ними, а за деньги. Это было гадко. Поэтому Бианка высадил одну сразу, как переехали границу, а вторую чуть позже, на вокзале в Воронеже.

Затем мы ехали молча, лишь Ольга пела на мои четверостишья песню: «В чернозёмной столице да как не увязнуть?»

И все подхватили: «Мне не надо ни чая, ни булок, ни кофе! Ибо мы мимо парков идём, мимо кладбищ, здесь бесплатнее сыра, пожалуй, Голгофа…»

Слова были тяжеловатыми. Но мы пели, пели.

Мы остановились на выезде, зашли в кафе. Это ведь только в песне не надо ни чая, ни булок, ни кофе, а на самом деле и чая, и кофе хотелось! Мокша заказал пива и снова начал немного поскуливать, что его бросила Данкевич. Он все 10 месяцев, пока та не родила и не вернулась к нему, поскуливал. А мне приходилось слушать его.

– Вот ты, ты Фотинья Александровна Гуманцева, ты вот отчего одна?

– А чё?

– А то, что красивая баба, на тебя мужчины оглядываются. Командир части прямо-таки напрямую вчера тебе сказал: люблю тебя! А ты сидишь, как глухая, и не реагируешь. Отчего?

– Мокша, тебе показалось. Это был анекдот. Обычный солдатский гон. Я спросила: всё ли есть у ребят. А он в шутку: нет тебя! Сейчас у них всё в норме. Думаю, что последний раз едем. Снабжение наладилось. Министр пришёл строгий. Так и сказал – вплоть до уголовного!

Мы все сидели за одним столом, придвинули стулья и сели. Ели борщ и запеканку с мясом. Старшой неожиданно строго цыкнул на Мокшу:

– Ещё одну беременную бабу я не осилю. У Ольги малыш, она вся молоком исходит, вон бока мокрые. Данкевич тоже родила. А если Фотка забеременеет, то я с кем останусь? С Бианкой? Ты мне, Мокша, брось это! Мы не в комнате свиданий, а на войне. Кровавой и страшной. Может, Фотинья и красавица, но не для этого солдафона!

– Тю… ревнуешь, батя? – усмехнулся Мокша.

– Я женатый человек. И мне не до флирта и цветочков! Фотка должна быть свободной, одинокой и небеременной! Всё! Ужин кончен! Надо к вечеру до области доехать. А там – по домам.

– Точно! Фотка – хороший друг и психолог. Она этих испуганных людей как орехи щёлкает, успокаивает. Даже не словом, а обворожительной, ощутительной красотой! – подхватила Ольга. – Едем, я по малышу скучаю!

Никола Ольгу обнял ласково, он уже хорошо ходил, чуть прихрамывая на своём бионическом протезе. Мокша угрюмо встал, прищуриваясь, поглядывал на меня. Старшой закурил, но отчего-то бросил сигарету не докурив.

Из Воронежа мы ехали молча.

Все дружно успокоились и стали дремать. Я свернулась калачиком на заднем сидении. Дорога была ровная, без выбоин, шуршащая.

И тут мне приснилось, что я как вроде умерла. Вот взяла и стала отходить в иной свет. Наверно, от попадания осколков в меня. И я стала просить горсть ягод. Смородину. А была зима вроде. И думаю: откуда возьмутся ягоды, да ещё с куста? Зимой? И тут дяденьку увидела. Маленького и синенького. Он шёл ко мне и нёс кружку, полную ягод.

Но тут машину тряхнуло на повороте, и я проснулась.

Бр-р.

Пить хочу!

А ягоды я действительно ела. Мокша попросил остановиться на пять минут. И принёс мне полную горсть земляники. Я съела, и у меня перехватило дыхание.

Аллергия!

И я провалялась в больнице целый месяц.

Доктор, который делал каждое утро обход, на меня поглядывал с интересом. И всё время спрашивал: придёте к нам петь? Я кивала. Затем говорила – да. Затем – обязательно.

Когда меня выписали, я поехала в детдом, где провёл почти год Мика. Мне хотелось узнать, кто его усыновил. И как он поживает. Но Люся холодно мне ответила:

– Нет сведений.

– Как так нет? – удивилась я.

– Очень просто. Мика сейчас у родителей, под опекой. За их семьёй смотрят специальные службы. И мы не имеем права разглашать тайну усыновления.

– Люся! – взмолилась я. – Прошу!

– Нет! Идите, Гуманцева, я вам ничего не скажу!

– А если я запрос сделаю официальный от ведомства? Дадите сведения?

– Если бы да кабы… не знаю я!

Через месяц Старшой отправил запрос. А ещё через два пришёл ответ, что Мика попал в отказники и что его взяли новые люди, как раз пару дней тому назад.

Я выла в голос! Я так орала, что охрипла!

Меня трясло в конвульсиях.

…судьба сжалилась надо мной. Старшой нашёл, куда отправили Мику.

– Но тебе, одиночке, его всё равно не отдадут! – сказал Мокша, когда зашёл ко мне домой, чтобы сообщить новость. К этому моменту я навела порядок в квартире, накормила Стикса. Сама накрасилась, волосы заплела в косичку и надела скромное платье с белым воротничком. Лишь мешки под глазами выдавали моё депрессивное состояние. И Милка, которая всё никак не уходила к себе, а ворчала: «Фотинья Александровна, поберегите себя!»

– Тогда я замуж выйду! – ответила я Мокше, который сразу прошёл на кухню с тортом и фруктами.

– Это тебе от нас! От Ольги, Николы, Старшого, Данкевич и меня! Ешь!

– За кого замуж? – Мокша оторопело сел на стул.

– За доктора. Он аллерголог. Заодно и вылечит! – я прищурилась и нагло хмыкнула.

– А-а… это из-за земляники на меня злишься?

– Не злюсь я. Просто Мику видеть хочу!

– Поедем!
– Куда?
– В детдом. Мику второй раз вернули. Не прижился…

Я обнимала его, моего мальчика. Я целовала его, моего чудесного! Я не могла от него оторваться!

– Фея! Моя фея! Прилетела!

Ага! Запакуйте и заверните! Беру!

Мика… мой любимый… мой золотой… беленький, пухлый!

Подросший!

За лето он вытянулся, у него стало румяным лицо, движения стали плавными. Но он всё такой же – мой Мика! Мы не могли наговориться и наиграться в разные игры. Я ему сочинила несколько весёлых сказок и пару детских стихов. Вечером Мика спросил:

– Почему ты меня не возьмёшь к себе?

У него был серьёзный такой взгляд. Чисто мужской. Такой требовательный. Что я зарделась. Мне стало стыдно.

– Мне тебя не отдадут…
– Почему?
– Я не замужем, Мика! Одинокая женщина.
– Женись! Что же ты так? – Мика осуждающе сжал руки в узелок. И накинул ногу на ногу. Причём у него ноги стали легко заплетаться в косичку. Я удивилась, когда увидела, что он умеет это делать. Я тоже так делала, когда была молодой.
– А на ком жениться, Мика? У меня нет жениха…
– Ну вот! Она ещё не нашла себе мужа! Чем же ты занималась это время? – Мика осуждающе покачал головой. Мягкие кудри разметались по плечикам.

Я прижала Мику к себе. И отчего-то заплакала. Тихонечко. И без слёз.

– Хочешь, я на тебе женюсь? – Мика стал тереть мои щёки.
– Тебе нельзя. Ты несовершеннолетний. И у тебя нет паспорта.
– Тогда выходи замуж за моего отца! Он где-то по тюрьмам болтается! Так мама говорила.
– Хорошая перспектива, Мика. Но меня в тюрьму не пустят.
– Так ты же фея. Через окно пролезь!
– Мика. Замуж надо идти по любви. А не по расчёту!
– Что такое расчёт?
– Ну, не за любимого. А за деньги его. Чтобы был богатый. Машина. Квартира…
– Ну да… – вздохнул Мика.

Когда мы легли спать в гостиной комнате, я потихонечку выпростала из-под одеяла руки, достала телефон и написала сообщение Мокше: «Спроси у аллерголога, не хочет ли он на мне жениться? Прямо сейчас!»

Я обняла Мику крепче, снова поцеловала его в тёплый, пахнущий парным молоком затылок. Прижала его к себе. Вот так, мой сладенький комочек! Вот так! Скоро будешь мне сыночком!

Мокша ответил: «Нет, он убеждённый холостяк. Сказал – только переспать могу!»

Я ответила: «Мокша, узнай, может, командир части женится?»

Мокша ответил: «Да. Он согласился. Только спросил, отчего такая спешка? А цветочно-букетный период?»

Ой! Я, кажется, обрадовалась!

Я выпростала из-под одеяла не только руки, но и всю себя. Надела тапочки и села к окну, чтобы свет фонаря лучами помогал мне видеть быстрые фразы, которые я торопливо писала в эсэмэске.

«Напиши, хочет страстно замуж. Именно чтобы официально! Воспитание не позволяет без печати в паспорте в постель ложиться! Принципиально!»

Мокша ответил: «Командир к себе зовёт для бракосочетания. Уже генералу рапорт написал. Любовь с первого взгляда!»

Я ответила: «Скажи, что я хочу Мику усыновить! Это моё условие!»

Мокша торопливо написал: «Он согласен!»

Я добавила: «Спроси, как его зовут по имени-отчеству? Я только его позывной знаю – Иван Грозный!»

«Значит, выйдешь за самого царя!»

«Ну, спроси!»

«Иван Иванович Грозно».

……

Все наши хохотали до колик. Была нормальной Гуманцевой. Станешь Грозно-Гуманцевой! Страшно, жутко Гуманцевой!

Слушай, Гуманцева, а у тебя мужики были? Ну там, чтобы любовь-морковь? Страсть? Экстаз? Чтобы тело к телу? Мы ни разу не слышали, чтобы тебе кто-то из мужчин звонил, приглашал на свидание.

Особенно забавлялся Мокша: «Фотка, представь первая брачная ночь! Ты в неглиже. Грозный тоже с голым пузом. И вы ложитесь в блиндаже на гнилой матрас, где кровь, слизь, подтёки. На этом матрасе умирали и спали. На этом матрасе валялись человеческие обгоревшие тела. Кости. И ты чё будешь с Иваном Грозно делать? Ну, для начала?»

Все снова принялись хохотать. Особенно Данкевич. Она на сей раз поехала с нами. Всё-таки событие – Гуманцева замуж выходит!

Малыша Мокша и Данкевич оставили у матери первого мужа. Она обещала приглядеть. Тем более Ик женился на новой пассии и смылся куда-то в сторону Ларса. А свекруха томилась от безделья.

– Ну, дальше, дальше! Погладила Ивану Грозно пузичко. А потом?

Я пожала плечами: «Наверно ещё раз поглажу!»

– Дальше, дальше! – кричали не только Мокша и Данкевич, но и Ольга с Николаем. И даже Старшой, который был за рулём не удержался:

– Говори!

– Ещё раз поглажу!

Хохот был непрерывным: поглажу! Кричали все, глядя на друг друга! Поглажу, и всё тут! Он же рубашка. Он же брюки! Его надо гладить утюгом! Гладить и гладить!

– Фотка! Мы тебе утюг подарим на свадьбу!

– Фотка, мы подарим тебе два утюга!

– Нет, три!

– Четыре!

– Пять!

Такого веселья давно не было. Обычно мы все сидим тихо. Либо поём. Либо дремлем. Старшой и Никола меняются местами. Ночью ведёт машину Мокша. Женщины спят. Им достаются самые удобные места.

На место сборки мы приехали на второй день. Выгрузились. Стали ждать Ивана Грозно. Прошло около трёх часов. Мокша хохотал, изображая глажку белья. Гуманцева, готовься! На мне были серые, камуфляжные брюки на удобной резинке и белая футболка. Всё-таки замуж

иду! Паспорт в кармане. Женщина из администрации, которую вызвали, чтобы зафиксировать наш брак и выдать необходимые справки для усыновления Мики, ждала у окна. Только бы не было прилётов. Эти птицы так и шныряют целыми днями! Но сегодня было спокойно, детектор терпеливо молчал.

– А вы все печати поставили на справках? – осведомился Мокша.

– Да все, все! Только подписи мужа не хватает! – кивала добрая женщина. У неё был мягкий южный говор на «х». – Приедет, распишется, и тут же все бумажки вам отдам! И всё, что полагается: льготы, деньги, всё пойдёт на имя жены нашего Ванечки! Не сомневайтесь – он хороший человек!

Мы присели в тени за домом. Вокруг ветвился сад. Он был цветущим и жизнерадостным. Обворожительно пахло абрикосами. Прямо сногсшибательно.

Иван Иванович прибыл к вечеру. И женщина из администрации терпеливо дождалась. Она быстренько произнесла нужную тираду слов и поставила в наших паспортах печати. Затем произнесла дежурное: «Теперь вы муж и жена!»

Хотела добавить: «Поздравьте друг друга!», но в этот момент запиликал детектор. Потому что прилёт!

Я стояла как вкопанная. Тут только до меня дошло, что Иван Иванович Грозно стал мне мужем.

Стань мне мужем! – такое счастливое выражение.

Стань мне мужем! – заветная фраза.

Стань мужем моим!

Блин… что я натворила.

– Погладь его! – выкрикнул Мокша. И все снова расхохотались, забегая в дом. Начались сбросы. Один. Второй. Третий. Иван Иванович, это вы их сюда привезли! Видимо, они за вами следили! Мы гурьбой ринулись в подвал. Женщина из администрации быстро сунула мне в руки все бумаги, которые мы заказали. Согласие мужа на усыновление. Его заявление. Свидетельство о браке. Справка, где служит.

– Ой, – пискнула Ольга. – Я, кажется, подвернула ногу!

Старшой взял женщину на руки и посадил на диван в подвале. Данкевич спустилась сама. Мокша просто спрыгнул. Никола, отдышливо пыхтя, спустился вниз. Он еще не очень хорошо владел протезом на спуск. Мы с Иваном Грозно взялись за руки и ловко метнулись по лестнице; несмотря на полноту, мой новый муж был ловким и увёртливым. Я оказалась в его цепких объятьях, а затем и в глуби подвала. За нами спрыгнул водитель, который привез командира на уазике.

Надо сказать, что в администрации был очень уютный подвальчик. Просторная комната, однако! Ковры, полки для документов. Столик, стулья, два кресла и холодильник.

– Шампанское в студию! – вскрикнул Мокша и достал из рюкзака бутылку, припасённую заранее.

– Мы тоже не с пустыми руками! – Иван Грозно приказал водителю открыть вещмешок.

О! Ветчина! Курица жареная! Коньяк дорогущий! Лимоны, яблоки, конфеты. И даже пирожки с мясом!

Мы выпили. Свет тихо лился из небольшого, но круглого окна. Стало весело. Мокша врубил на телефоне марш Мендельсона.

– Фотка, иди гладь Ивана!

Все снова дружно рассмеялись. Женщина из администрации робко сказала:

– Может, я пойду?

– А как же мы? – спросил Старшой.

– Вы оставайтесь!

– Мне велено вас доставить до дому! – Иван Грозно махнул рукой водителю: – Исполняй!

– Есть!

– И возвращайся за нами! Поедем ночевать в гостиницу…

Я тайком налила себе в стакан коньяка. Налила прямо доверху. И выпила. В суете никто не заметил моего испуга. Водитель и женщина из администрации удалились, благо прилёты стихли. Ольга жаловалась на боль в ноге.

– Её надо в больницу определить… – робко попросил Никола.

– Определим! – Иван Грозно говорил чётко, по-солдатски и громко. При этом он сжимал мою руку и трогал меня за бедро. Я не противилась. После третьего стакана мне стало всё равно.

– Ты утюгом погладила? – спросил на ухо Мокша, хохоча.

– Ага! Два раза! – также шёпотом ответила я.

И мы оба расхохотались.

Все принялись есть курицу. Иван Грозно принялся пощипывать мои бёдра. Затем потянулся к ногам. В этот момент вошёл водитель в подвал и крикнул:

– Приказ исполнен, товарищ наччасти! Едем в город?

– А что там наверху? Спокойно?

– Да!

– Едем!

Все обрадованно начали выбираться наверх. Меня так развезло от коньяка, что я едва стояла на ногах. Я не могла даже выпрямиться. Меня валило обратно вниз. Мокша хохотал, как ненормальный. Глядя на него, хихикали Ольга и Данкевич. Один Никола был серьёзен. Даже Старшой не мог никак удержать истерический смех.

Иван Грозно подхватил меня под мышки и втащил наверх.

– Эх, невеста-то вам досталась того… пьющая! – подначивал Ивана Грозно Мокша. – И поющая!

– Это не от счастья! От голода. Она весь день не ела. Так замуж хотела!

– Отставить! – вдруг заорал Иван Грозно. – Не позволю! Моя жена приличная женщина. Просто я понимаю её стремления! Она хотела Мику усыновить, поэтому согласилась пойти за меня! Я её торопить не буду. Пусть привыкнет!

– Ага! – Мокша не выдержал. – Я видел, как ты её обихаживал с ног до головы…

– Ничего. Я просто привыкал. Хотел понять – какая её красота! – Иван Грозно довольно кивнул головой.

На свежем воздухе я немного оклемалась и пошла самостоятельно вдоль забора.

– Так что, и спать сегодня с ней не будете? – Мокша снова хихикнул, садясь в нашу машину.

– А это уж как дело пойдёт! – Иван Грозно повёл плечами.

Мы подошли к уазику.

– Фотинья, а тебе со мной! – Иван подал мне руку. – Садись рядом!

Я видела, как наши гуманитарщики размещаются в наш грузовичок. Видела, как они повторяют: утюгом погладь его! Погладь его! И хохочут. Ну дурачье!

На самом деле Иван Грозно оказался очень галантным. Он поцеловал мне ручку и слегка отодвинулся. По уставу.

– Мы поедем в другую строну, – сказал он. – К ручью. Тебе надо умыться. Затем направимся в гостиницу. Там посидим пару часов. Затем поднимемся в номер. Я заказал еду туда. И твоим гостям в кафе ужин накрыт уже. Поняла?

– Да.

Ручей был очень живописным. Он небольшим водопадом выкатывался из ущелья. Вода холодная. Но терпимо. Я разделась. И вошла в воду. Было примерно по пояс. Иван Грозно остался караулить. Водитель мило отвернулся и не смотрел на меня, как я скидываю одежду, как остаюсь в одном белье, как трогаю ногой песок, как делаю первый шаг. Как охаю, входя в сам ручей.

– А зачем мне надо быть трезвой? – спрашиваю я новоиспечённого мужа.

– Фотинья, мы не в тылу. У нас дисциплина. Ну, и сплетни всякие могут до генералов докатиться. Я бы не хотел худого. Тем более моя скоропалительная женитьба – очень спорный вопрос! – Иван Грозно объяснил мне ситуацию, стоя возле уазика. Он говорил медленно, словно объяснял, как наводить калаш на цель, как ползти по траве, как делать перевязки. Затем он взял травинку и сорвал её, стал ковырять в зубах.

Я купалась и купалась. Плескалась и радовалась. Вот есть же счастье в жизни!

– Выходи! Хватит уже. Простынешь…

– Ещё пять минут! Ну, ещё!

Водитель отошёл чуть левее и присел на бугорок. Иван Грозно достал из багажника полотенце и чётко произнёс в приказном порядке:

– Живо на берег! Здесь не курорт!

Но я ещё раз окунулась прямо с головой. Ещё и ещё раз.

Это-то меня и спасло. Что я окунула голову.

Ибо осколок от снаряда угодил прямо в Ивана, отрикошетив, прошлёпал по воде. А сам снаряд попал в уазик.

Я выскочила из ручья, выхватила из рук Ивана полотенце и завернулась в него. Иван лежал, раскинув руки, словно обнимая землю.

Кровь текла, просачиваясь в землю.

Глаза Ивана были открыты: «Я люблю тебя! И любил… ещё тогда, это была любовь с первого взгляда… я женился по любви…»

Через секунду сердце воина, наверно, перестало биться.

Не успела стать женой, а уже овдовела…

Это была я.

…надеюсь, тебе я пригодился?

И ты смогла усыновить Мику?

…спи спокойно, славный воин. Ты умер по любви. И жил по любви.

Стихи по кругу

Татьяна СТАФЕЕВА
Чкаловск, Нижегородская область

* * *

Неизвестно, в какие края унесут нас ветра перемен
И к каким берегам нас прибьёт, словно щепку, в итоге,
Но мы помним, что главный вопрос не «за что?», а «зачем?»
Происходит порой то, что с нами сейчас происходит.

Иссечённый стихией на мачте не спущен штандарт,
И какая, не знает никто, уготована участь,
Но мы всё же идем, без компáса, без лоций и карт,
Принимая все меры в жестокой борьбе за живучесть.

Мы найдем нашу гавань, замоются шрамы от ран
В тишине, где ветра штормовые бывают нечасто.
А сквозная пробоина – нам предоставленный шанс,
Чтоб избавить наш хрупкий корабль от крыс и балласта.

История одной фотографии

В потертом альбоме с каждой страницей
Время листаешь вспять.
На снимках родные, знакомые лица
Для нас оживают опять.

Все подписи четкие в помощь потомкам,
И даже смешные есть.
Но есть и особые: «Павел Ладонкин.
Весна. Сорок первый. Брест».

Слева на снимке – по сути мальчишка –
Прадеда младший брат
Брови нахмурил. Короткая стрижка,
Очень серьезный взгляд.

Артиллерист – не случайность – призванье.
Пусть нет наград на груди,
И рядовой – невысокое званье,
Но все еще впереди.

Одно только фото отправлено маме
(Хвасталась всей родне)

С последним письмом. А с июля – молчанье…
Сведений больше нет.

Бе́з вести… и не найти человека.
Пропал, улетел как дым.
Ему на единственном фото навеки
Останется двадцать один.

Время идет, ход его непреклонен.
Надежней, чем крепкий гранит,
Один фотоснимок в потертом альбоме
Застывшую память хранит.

Андрей КОЗЫРЕВ
Омск

Стихи в декабре

Фонари в фиолетовом мраке печально и слепо
головами качали над узкой и хрусткой тропой,
над окраиной сонно склонялось размытое небо,
и трамвай уходил по заржавленным рельсам в депо.

Все до боли привычно, все скучно, обычно и вечно –
бомжевастый пейзаж миллионной из третьих столиц:
гаражи серым рядом стояли, до туч, бесконечно,
мусор, сваленный в кучи, глядел дружелюбно на птиц.

В серо-желтых домах, как в мозгу, занавески смыкались,
желтый луч из окна ворошил небеса, как золу,
тополя над пропащей судьбою маняще качались,
и огни магазинчика звали к вину и к теплу.

Заводских корпусов опустелые темные склепы
вспоминали былое, раскинувшись вольно во сне.
…Пусть игра Демиурга в придуманный космос нелепа,
в этой выдумке есть что-то нежное, близкое мне.

По-кошачьи царапал обивку домов серый ветер,
и мерещилось мне, как блажному, слепому от слез,
что над миром – над тленом и грязью – в серебряном свете
возносился усталый от крови и славы Христос.

Если жалость осталась во мне, то осталась и вера,
и мне кажется, что-то о жизни понять я могу,
горько пряча лицо в воротник от свободы и ветра,
веря в Бога, как веруют в хлеб воробьи на снегу.

Проходя под огнем фонарей, как под сводами склепа,
сквозь себя пропускал я потоки иного огня,
а с собой тайно нес в виде книжки карманное небо
и читал воробьям те стихи, что напишут меня.

Дни Великого поста

Небо – снежное на диво,
Улица пустым-пуста.
Тяжелы и молчаливы
Дни Великого поста.

Дремлет небо в белой славе,
Непреклонна высота.
Смотришь ввысь – и видишь въяве
Свет Великого поста.

Ложь всегда замысловата,
Только истина проста –
Есть вина и есть расплата,
Хлад Великого поста.

Глянь в сердечные пещеры
И сомкни, сомкни уста!
Посвяти огранке веры
Дни Великого поста.

Не смотри в окно в смятенье,
Не спеши, не жди вестей.
Пост – как мера пресеченья
Всех страданий и страстей.

Воздух пуст… Нет в сердце крови…
Только тьма в груди густа –
Хватит, чтоб прожечь безмолвье
Дней Великого поста.

* * *

Пусть это лето несерьезно,
Прозрачно, словно акварель, –
Его переозвучил грозно
Жужжащий в парке пышный шмель.
Отягощенный грузом ценным,
Он выползает из цветка,
Он часто мчится мимо цели,
Жужжит и сердится слегка.

Вот-вот хозяйственная осень
Остатки лета спрячет в ларь,
И листья под ноги нам сбросит
Усталый желтый календарь,
И пышному шмелю-всезнайке,
Еще хмельному от забот,
Как образцовая хозяйка,
Предъявит счёт и даст расчёт.

Но в высшем абсолютном мире
Есть некий абсолютный шмель,

Уж он-то не промчится мимо,
Он видит путь, он знает цель,
В небесной розовой аллее
Цветам стихи свои жужжа,
Он всех милее и шмелее,
И чувствует твоя душа
В своем уютном небосклоне
Цветы, колосья и поля,
И в вечном розовом бутоне
Жужжанье вечного шмеля.

Елизавета МАРТЫНОВА

Саратов

* * *

Как снега чистое сиянье,
Как темнота в рубежный час,
Взаимное непониманье
Надежно связывает нас.

Ещё звучит в проулке ветер,
Подрагивает нить в руке,
Но музыка едва заметит
Двоих, идущих налегке.

О чём бы я ни говорила
Тебе: о небе, о земле,
Таинственно-скупая сила
Скрывает прошлое во мгле.

Уляжется слепая вьюга,
Но время боли истекло.
И наблюдаем мы друг друга,
Как бы сквозь тонкое стекло.

* * *

А по утрам нисходит счастье,
Неопалимое судьбой –
Глядеть без нежности и страсти
На отсвет неба голубой,

На снег рассветный непечальный,
На непочатые края
Полей, в конце или в начале,
Их цвет вбирая и тая.

Когда бы я ни рисовала,
Когда бы кисти не брала
С неутолимой краской алой –
Тогда бы вовсе не жила.

Из тишины я выбираю
Оттенки неводом тугим,
Пока ещё хожу по краю
Меж миром этим – и другим,

Где на окраине небесной
Живут все близкие мои,
Где сердцу от любви не тесно –
И где не больно от любви.

* * *

Всё прошло. Не надо обещаний.
За калиткой – зыбкая трава.
Накануне пасмурных прощаний
Сыплет тополь белые слова.

Крепко руки на коленях сцепишь.
В медленное небо поглядишь:
Облака – танцующие цепи –
Разомкнули блеск покорных крыш.

Пейзажист и дел глагольных мастер,
Что ты знаешь о своей судьбе?
Всё прошло. И страсть глаза не застит.
Белый свет так нестерпимо бел.

Брызнул он на тысячу осколков
Голодом и мором, и войной.
Сколько ждать ещё и верить сколько,
Что срастётся нежный шар земной.

Что рубец увечия срастётся,
Позвоночник века – не разбит.
Что чиста ещё вода в колодце
И душа лишь Богу предстоит.

Дмитрий ФИЛИППЕНКО

Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Горняк

Почернела внезапно луна,
Ветер с крыши срывает антенну.
Провожает шахтёра жена
На войну. На войну – не на смену.

В сонной печке стрекочут дрова,
На столе пироги и окрошка.
Муж от пыли глаза отмывал.
Всё равно не отмыл он немножко.

Дочь рыдает, и плачет сынок.
Лишь бы воздуха в лёгких хватило.
И жена собрала тормозок,
Горняка на войну отпустила.

Кристина ДЕНИСЕНКО
Юнокоммунаровск, ДНР

Багряный горизонт

Возьми меня, воскресшую, за ворот
и в тёмное бездумье утащи.
Мэри Рид

Бетонные дома лежат холмами
разбитых судеб братьев и сестёр.
Стихает вьюга плачем Ярославны,
и вдовий лик мерещится в немой,
пустынной и крамольной панораме,
меняющей рубеж, передовой…
Идёт война, и с неба свет багряный
течёт на снег, как убиенных кровь.

Здесь был мой дом, беседка, пчёлы, груши.
Всё стёрто пламенем с холста земли.
Никто не воспретил огню разрушить
и церковь, где несчастных исцелить
могло бы время, битое на части…
В минуте шестьдесят секунд беды.
За пазухой я горе камнем прячу.
Я не могу былое отпустить.

Любовь моя покоится в подвале,
отпетая ветрами, без креста.
Я душу верить в чудо заставляла
и тысячу свечей в мольбах сожгла.
Мой прежний дом – блиндаж, траншея, бункер.
Мой прежний город – холод катакомб.
Мой регион делили, и он рухнул.
Мой прежний мир подавлен целиком.

Мне память довоенных вёсен гложет
сознание аккордами тоски
о том родном, что мне всего дороже,
о том, что отнято не по-людски.
Багряный горизонт, рукой суровой
над пустошью удерживая щит,
возьми меня, воскресшую, за ворот
и в тёмное бездумье утащи.

Павел КЛИМЕШОВ
Нижний Новгород

* * *

В череде человечьих рождений
Ненароком возникло моё.
Может, было кому вожделенней
Обозначить явленье своё?
Не случилось... прости, нерождённый!
Ты бы жил полноценней меня,
Но растаял во времени оном,
Никого ни за что не кляня.

* * *

Как бы надо теперь исповедно раскрыться –
До поддонья души, до предсмертного дня,
Чтоб усопших друзей полнокровили лица
И яснели во тьме, прошлый путь не кляня,
Чтобы ждали меня в запределии вящем;
Я приду, я приду, залатаю разрыв
Меж посмертьем немым и шальным настоящим,
Всеобъемье Любви запоздало раскрыв.

* * *

Не горяч и не холоден – тёпл
В вере я со времён комсомольских,
Но зато не среди недотёп
Нагловато-уверенных, скользких.
Тщетно бабушка в благостных днях
Всё мечтала, что буду священник...
Пред покойной главу преклоня.
Чую: душу безбожную щемит.

Александр ПОПОВ
Нижний Новгород

* * *

Ох и тяжко молчать под мотивчик негромкий,
Заунывно тягучий, что душу так рвёт…
Провожаю друзей…Завтра им в автономку,
И уже без меня лодка в море уйдёт.

Хриплый бас корабля ляжет грузом на плечи,
И откликнется шёпотом тихим прилив,

Ходовые огни, как венчальные свечи,
Отразит на прощание Кольский залив.

Не забудется край, где безумствует вьюга,
Только сопки, да скалы, да вечный ледник…
И не вырваться мне из полярного круга,
Потому что навек в сердце Север проник…

* * *

Памяти Героя России
матроса Сергея Преминина

Никто не знал, что будешь ты Героем…
Всё, как у всех, и в службе, и в судьбе –
Ходил на камбуз с экипажем строем,
Умело вахты нёс на корабле,
Матроса будни шли обыкновенно…
Но это только лишь до рубежа,
Когда был должен осознать мгновенно,
Что вход в седьмой отсек и есть межа –
Граница между вечностью и жизнью,
И что вернуться вряд ли суждено…
Моряк-подводник, ты служил Отчизне,
И выбор сделан был тобой давно.
Представить трудно страшную картину:
Во тьме кромешной, выбившись из сил,
Ты укротил реактора машину,
Но этим жизнь свою укоротил.
Сбивая руки в кровь, матросы-братья
Тебя спасти пытались долго, но
Не разомкнул стальной отсек объятья,
И вместе с лодкой ты ушел на дно…

Цветы на воду опускает мама…
Плывут венки, гонимые волной…
И в каждом тяжком вздохе океана
Друзья живые слышат голос твой…

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского.

Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

«ЧТОБЫ НАША ЖИЗНЬ БЫЛА СВЯТА…»

Исполнилось 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904) – замечательного русского классика, в личности которого добропорядочность, мягкость и деликатность сочетались с мужеством и силой воли.

Душевная тонкость проявлялась в чутком отношении не только к людям, но и ко всему живому, сущему. Так, например, в рассказе «Каштанка» (1887), который растрогал современников писателя и продолжает трогать сердца детей и взрослых по сей день, в обращении героя к потерявшейся собаке слышится голос самого Чехова:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват. <...> Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с её спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? <...> А ты хорошая, смешная! <...> Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдём со мной!

По мере сил своих Чехов старался помочь и людям, и животным. Медик по образованию, он не оставлял врачебной практики, принимая и исцеляя тысячи больных. К самоотверженным трудам замечательного писателя и доктора присоединялись и другие благие деяния: постройка

школ, сбор средств для голодающих, поездка на остров Сахалин с целью изучения и облегчения жизни ссыльных и каторжан…

«Возмужалость» и «чувство личной свободы» писатель воспитывал в себе с ранней юности. Собственный нелёгкий путь вступления в жизнь на грани нищеты, когда гимназисту Антоше Чехову приходилось за гроши давать уроки купеческим детям, чтобы содержать не только себя, но и помогать родительской семье, обрисовал он впоследствии в письме к издателю А.С. Суворину 7 января 1889 года:

Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сечённый, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...

Знаменательно, что ставшая широко известной чеховская установка – выдавливать «из себя по каплям раба» – была сформулирована в Святочные дни, и звучит она в полном соответствии с евангельской заповедью свободы во Христе, освобождения человека от рабства, греха и от ига страха смерти. В послании святого апостола Павла сказано, что Иисус послан был в мир, «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр. 2: 9), «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2: 15); «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий чрез (Иисуса) Христа» (Гал. 4: 7). Таким образом, событиями Рождества и Воскресения Христова утверждается ценность, достоинство и духовная свобода человека, который уже не является узником и рабом ни других людей, ни собственного тела, но наоборот – вмещает в себя всё мироздание.

Брату Михаилу Антон Чехов писал:

...Зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой»? <...> Ничтожество своё сознавай, знаешь где? Перед Богом... перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать своё достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность.

Постоянно выступая против силы, наглости и хамства так называемых «вышестоящих», их чванства, спесивости, надменного самодовольства, Чехов не принимал и оборотной стороны медали – раболепия, пресмыкательства, самоунижения «нижестоящих». На эту тему – множество чеховских произведений, среди которых такие шедевры, как «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон».

Художественный мир Чехова занимает особое место в русской словесности. Следуя своему принципу «краткость – сестра таланта», писатель в первый период творчества создавал настолько лаконичные произведения, что некоторые читатели и литературные критики упрекали его за крохотный объём рассказов – «меньше воробьиного носа». Это даже не рассказы в привычном жанровом отношении, а миниатюры, зарисовки, «вещицы». Однако в сжатую до пределов форму художнику

слова удавалось вместить чрезвычайно ёмкое содержание – глубокое исследование человеческой природы, русской жизни и социальных отношений. «Умею коротко говорить о длинных вещах», – так сам Чехов афористически характеризовал эту особенность своего оригинального писательского дарования.

Поначалу чеховские литературные «вещицы» публиковались в юмористических журналах, которые во множестве расплодились в начале 1880-х годов. Зубоскалили «Русский сатирический листок», «Развлечения» и «Зритель», порхала «Стрекоза», цокотал «Сверчок», названивал «Будильник»… Все они охотно помещали на своих страницах рассказы и юморески молодого талантливого автора – медицинского студента, который для печати выдумывал себе множество забавных псевдонимов: Антоша Чехонте, Дон Антонио Чехонте, Брат моего брата, Юный старец, Дяденька, Человек без селезёнки, Врач без пациентов и др.

Например, святочные выпуски журнала «Зритель» за 1883 год были почти целиком заполнены произведениями Чехова. Среди них – забавная зарисовка из мещанского быта «Мошенники поневоле», которую автор снабдил иронически-выразительным подзаголовком «новогодняя побрехушка»; новогодний «психологический этюд» «Пережитое»; «подновогодние картинки» «Гадальщики и гадальщицы»; святочный «фантастический рассказ» «Кривое зеркало»; «юмореска» «Ряженые». Уже одни только подзаголовки этих «вещиц» демонстрируют неистощимую жанровую изобретательность молодого автора, его стремление разнообразить привычный и, возможно, приевшийся читателю типичный святочный рассказ, выстроенный по устоявшимся канонам, в котором обычно всё известно заранее.

С проницательностью опытного редактора Н.А. Лейкин, сознавая, что своим успехом у читателей его журнал «Осколки» обязан таланту Чехова, пригласил его к постоянному сотрудничеству. «Что Вам робеть? Вы писатель опытный и уже давно набили руку, – писал редактор “Осколков” двадцатитрёхлетнему Чехову. – У Вас литературное чутье».

В миниатюрных зарисовках, призванных, на первый взгляд, всего лишь развлечь и позабавить читателей юмористических журналов, Чехов изобличает черты социального зла, неправедно устроенного общества, искажённой грехом человеческой природы, всеобщую продажность, ложь, позёрство, лицемерие:

> Всё старо, всё надоело и ждать нечего <...> Канальи останутся канальями, барышники останутся барышниками. Кто брал взятки, тот и в этом году не будет против благодарности...

Чеховский художественный мир – при всей его кажущейся бытовой обыденности – ироничный и парадоксальный, полный «сюрпризов и внезапностей», непредвиденных метаморфоз, маскированных «ряженых» персонажей. Таковы «Задачи сумасшедшего математика», «Козёл или негодяй?», «Женщина без предрассудков», «Злоумышленник», «Пересолил», «Канитель», «Дочь Альбиона», «Беседа пьяного с трезвым чёртом», «В бане», «Шило в мешке», «Ночь перед судом», «Жалобная книга», «Свадьба с генералом», «Жизнь в вопросах и восклицаниях» и множество других рассказов, в которых проступает неистощимая на курьёзы и парадоксы русская жизнь.

Стихия чеховского смеха, как и у Гоголя, вбирает в себя не только весёлую шутку, но и сатиру, сарказм, гротеск. По-гоголевски «невидимые

миру слёзы» проливает в сердце своём борец со всякой пошлостью Чехов, рисуя «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь»:

Жизнь – канитель <...> Пустое, бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, годы за годами, а ты всё такая же скотина, как и был... Пройдут ещё годы, а ты останешься всё тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счёт поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..

В «тине мелочей», болотной жиже неприглядно-пустого и пошлого прозябания барахтается и вязнет, захлёбывается и тонет человек, пока не опомнится и не обратится с молитвой о спасении к Богу: «Спаси меня, Боже; ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. <…> Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне» (Пс. 68: 2–3, 15).

И всё же, несмотря на страдание от несовершенства неправедно устроенной жизни, Чехов, испытывая острую тоску по идеалу, сохранил поэтическое ощущение русской зимней сказочности праздника Рождества Христова.

«Поздравляю Вас с Рождеством, – обращался он в письме к Д.В. Григоровичу в 1888 году. – Поэтический праздник. Жаль только, что на Руси народ беден и голоден, а то бы этот праздник с его снегом, белыми деревьями и морозом был бы <…> самым красивым временем года. Это время, когда, кажется, что сам Бог ездит на санях».

Чеховская поэтика смыкается с творческими установками Николая Семёновича Лескова (1831–1895) – одного из христианнейших русских писателей. Для Чехова Лесков – «любимый писака», «Человечина, стоящий внимания». В свою очередь маститый писатель также отметил и высоко оценил литературное дарование своего младшего современника. В письмах Лесков неоднократно упоминал о чеховском таланте: «Талантлив Чехов очень», «рассказ Чехова превосходен». Точно библейский пророк, зрелый художник обратился со своеобразным благословением к молодому Антону Чехову, провидчески угадав в начинающем писателе большой талант: «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида… Пиши».

Лесковский рождественский рассказ «Запечатленный ангел» (1873) был книгой для семейного чтения в доме Чеховых. 7 марта 1884 года Чехов сообщал Лейкину: «Отец читает вслух матери “Запечатленного ангела”». Таким образом, у Чехова на слуху был лесковский «Ангел», и его духовно-эстетическое воздействие, художественная манера нашли отражение в чеховском творчестве – в создании пасхального рассказа «Святою ночью» (1886). Как шедевр Лескова снискал всеобщее признание: «нравился и царю, и пономарю», так и чеховское творение принесло автору заслуженную награду: рассказ был приведён в материалах о награждении Чехова академической Пушкинской премией.

Основная тема лесковского рассказа – отношение к русской иконе и иконописанию. «Запечатленный ангел» – уникальное литературное творение, в котором главным действующим лицом стала икона. А в рассказе Чехова воплотилось чудо церковной поэзии, святого православного слова. Чеховский герой иеродиакон Николай – простой монах, который «нигде не обучался и даже видимости наружной не имел», –

обладает Божественным даром создавать изумительные по красоте акафисты.

Но Чехов с душевной болью отмечает, что даже в монастыре «некому вникать» во вдохновенные слова канонов, нет подлинного благообразия: «народ всё хороший, добрый, благочестивый, но… Ни в ком нет мягкости, деликатности». И кроткий поэтичный человек – безвестный творец акафистов – остаётся непонятым, ненужным даже среди монастырской братии. Он умирает под Пасху, и, согласно традиционному житийному представлению, это смерть праведника, открывающая двери в Царствие Небесное.

Также под праздник Светлого Христова Воскресения заканчивает свой земной путь герой другого пасхального рассказа Чехова – «Архиерей» (1902). Представитель высшего церковного духовенства, наречённый в монашестве Петром, при крещении в младенчестве получил имя Павел. Так в имени и судьбе героя соединяются имена новозаветных апостолов Петра и Павла, вводятся мотивы апостольского служения, подвижничества, мученичества.

Со второй половины 1880-х годов Чехов перестал считать своё писательство «игрой в литературу». На смену пёстрому калейдоскопу остроумных сценок, юморесок, пародий, сатирических «мелочишек» пришли подписанные уже собственным именем автора вдумчиво-серьёзные рассказы, новеллы и повести, с их проникновенным лиризмом, тихой – вполголоса – интонацией, психологической углублённостью, особенной поэтикой уводящих в подтекст символико-лейтмотивных деталей, внутреннего плана – «подводного течения». В кругу этих шедевров «Степь», «Пари», «Дуэль», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Учитель словесности», «Чёрный монах», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Ионыч», «Душечка», «Дама с собачкой», «Невеста»…

Многие чеховские повести и рассказы экранизированы. Любимы зрителем художественные фильмы «Анна на шее» и «Анюта» (фильм-балет), «Володя большой и Володя маленький», «Дама с собачкой» и «Очи черные» (по мотивам «Дамы с собачкой»), «Мой ласковый и нежный зверь» (по мотивам «Драмы на охоте»), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (по пьесе «Платонов») и другие. Чеховские пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» постоянно ставятся в театрах по всему миру.

Андре Моруа приоткрыл секрет неизменного интереса к творчеству и личности Чехова:

> ...Он был великим, быть может, одним из величайших художников всех времён и всех народов. Им восхищался Толстой. Музыкальной тонкостью чувств он напоминал Шопена. Это был не просто художник, это был человек, который открыл для себя и без всякого догматизма предложил людям особый образ жизни и мышления, героический, но чуждый фразерства, помогающий сохранить надежду даже на грани отчаяния.

Действительно, отчаянию нет места в чеховском творчестве, несмотря на то, что основной его мотив – томление духа, души, очнувшейся и ужаснувшейся от сознания своего одиночества, прозёванной жизни, бесплодного ожидания счастья. Настоящее показано в свете минувшего и в духовной перспективе предстоящего, православного чаяния «жизни будущего века». Именно эта философия времени, определяющая

христианский смысл русской классической литературы, представлена в чеховском пасхальном рассказе «Студент» (1894).

Убедившись на живом примере, что новозаветные события имеют непосредственную связь с настоящим, герой рассказа Иван Великопольский – студент духовной академии – испытал небывалую, захватившую дух радость:

...И он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

Христианские идеалы свободы, правды, красоты ведут к ликующей пасхальной радости, приветной молитвенной вести о Светлом Христовом Воскресении, о торжествующей победе вечной жизни с её высоким таинственным смыслом:

...Правда и Красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы <...> невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

Чеховские произведения благодаря открытым финалам продолжают жить, дышать, зовут к новым высотам, духовно-душевному преображению. Отсвет вечности сияет в лирических признаниях писем и произведений писателя: «Надо веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать её место шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своею совестью»; «Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай»; «Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный»; «И как ни велико зло, всё же ночь тиха и прекрасна, и всё же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и всё на земле только ждёт, чтобы слиться с правдой».

Размышления о правде и красоте Божьего мира гармонируют с сокровенным чеховским убеждением, воплотившимся в крылатом афоризме о том, что и «в человеке всё должно быть прекрасно». А для этого нужно непрестанное продление едва начатой людьми «работы, которая будет продолжаться, может быть, ещё десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далёком будущем человечество познало истину настоящего Бога...»

Дмитрий АНИКИН

Родился в 1972 году в Москве. По образованию математик. Предприниматель. Член Союза писателей XXI века.

Публиковался в журналах и альманахах «Нижний Новгород», «7 искусств», «Новая Литература», «Перископ-Волга», «Арина», «Поэтоград» и других изданиях и сетевых ресурсах. Автор книг «Повести в стихах», «Сказки с другой стороны», «Нечетные сказки».

Лауреат конкурса «Золотое перо Руси». Шорт-лист конкурсов MyPrize, «Мыслящий тростник».

Живет в Москве.

ГОРОДЕЦКИЙ. СТОНЫ, ЗВОНЫ, ПЕРЕЗВОНЫ

Среди многочисленных – более сотни – сонетов-медальонов Игоря Северянина, посвященных русским поэтам и писателям, нет сонета о Городецком. А ведь Северянин даже для Вербицкой и Любови Столицы не поскупился, отсчитал ровно по четырнадцать строк каждой.

Отчего ж такая немилость к известному поэту?

Городецкий долгое время слыл всеобщим любимцем.

Милейший человек! – был всеобщий глас. – Какой внимательный! Какой услужливый! Какой деликатный!

После революции внимательности, услужливости и деликатности поубавилось, и милейшим человеком Городецкого уже никто не считал, да ему это было уже и не нужно.

Когда Городецкий впервые читал свои стихи из сборника «Ярь» на Башне у Вячеслава Иванова, все были в каком-то экстатическом восторге. Ещё бы – прозвучало новое слово – подлинное, русское, неискажённое городом и грамматикой.

Только у Мережковского хватило душевной трезвости и крепости, чтобы не поддаться. Может быть, именно тогда он и придумал свой знаменитый афоризм: «Что по́шло, то пошло́».

Древний хаос потревожим,
Космос скованный низложим, –
Мы ведь можем, можем, можем!

А эти строки Городецкого, по словам Мережковского, были сущностью мистического хулиганства.

Видимо, русский модернизм нуждался в чём-то таком: народном? славянском? языческом? в таком наивно безвкусном? Кажется, всякого уже было достаточно, но, может быть, это спор о приоритетах.

Как бы там ни было, самые тонкие ценители, самые глубокие знатоки были в восторге. От Блока до Вячеслава Иванова.

«Миф – это наибольшая ложь. А большая ложь – это существенный признак той большой, здоровой поэзии, которой так теперь хочется. Лги по правде – вот формула, т. е. так, чтобы тебе поверили», – писал Городецкий. Особенно хорошо для таких завиральных целей наше язычество: лги, что хочешь, всё равно никто не поймает. Русские боги не знали письменности, как будто предвидя поэзию, которая наскажет о них всякого.

Может, и Гомер вот так же – практически на ровном месте, зная только несколько непривычно звучащих имён, – создавал греческую мифологию, а заодно и Элладу.

А ведь была потом настоящая попытка создания легендарной древней Руси: Вячеслав Иванов стал писать «Повесть о Светомире царевиче». Но это ведь не сборник «Ярь», тут читателей, почитателей было намного меньше. Не по́шло и не пошло́.

Городецкий потрафил вкусам публики. Есть настоящая история Древней Руси – тёмная, малоизученная, сложная, и есть интеллигентские ожидания такой истории – вполне в билибинском, в городецком духе. Даже Блоку не удалось удержаться, и есть в цикле «На поле Куликовом» несколько фальшивых, приятных слуху нот.

Свекровь-госпожа в терему до полдён заспалась:
Спи, ро́дная, спи, я одна, молода, убралась!
Серьгу и кольцо я в бору колдуну отдала,
Питьё на меду да на сладком корню развела.

Когда холодный и по-дворянски надменный Бунин публиковал эти и другие свои стихи из крестьянской жизни, модернисты морщились и отшатывались, потому что это было страшно и правдиво. И ещё Городецкий основывал традицию, а развить бунинские темы мог только Бунин.

Городецкий обладал разнообразными талантами: он и картинки рисовал, портреты собратьев по перу – быстро схватывал похожесть и – одним махом её на бумагу. Точнее, не на бумагу: Городецкий рисовал на каком-то странном материале – то ли сырмяжке, то ли дерюжке, но так, чтобы этак понароднее выходило. А! На рогожке.

Вся-то живопись – из куля в рогожку!

На вечерах, устраиваемых Городецким, над сценой висел портрет Кольцова, украшенный снопами ржи или пшеницы. Ну так кто в тогдашнем Петербурге, кроме Клюева, умел различать злаки?

Поэт Кольцов хорош и показателен как пример тяготения народа к искусству, а как поэт, к сожалению, плох. Образованный человек, подражающий неловкостям и шероховатостям поэзии Кольцова, даже не смешон. Это оскорбление в первую очередь для памяти Кольцова, который во всяком случае старался писать грамотно.

Снопы ржи. А вместо председательского колокольчика использовался тимпан. Ну и одеты все были соответственно, так что Сологуб интересовался, где берут лапти напрокат.

То, что Городецкий плохо знал народную поэзию – не беда. Поэт – не фольклорист. Дело поэта – давать народу песни.

А дело народа – решать, какие песни он будет петь, а какие – нет.

Разница между русским и псевдорусским в искусстве – это разница между стихами, которые хочется похвалить, и теми, которые надо обругать.

Многие отмечали близость поэзии Некрасова и Городецкого. Сходство, конечно, есть, но это очень поверхностное сходство: Некрасова волновали страдания народа, Городецкому был позарез нужен народный антураж.

В 1907 году Городецкий был арестован и десять дней провёл в «Крестах». За это время он успел написать целый цикл «Тюремных песен». По этим стихам кажется, что Городецкий сидел в какой-то условной, а не реальной тюрьме. А голуби, клюющие крошки под решётчатым окном, прилетели не с воли, а с картины художника Ярошенко.

Многие поэты имеют преувеличенное представление о своем месте в литературе. Весьма простительная ошибка. Но в случае Городецкого поражает масштаб искажения.

«Вячеслав Иванов – стилизатор. Моя же работа вывела русский язык из тупика, в который завели его эстеты», – писал Городецкий, попутав Божий дар с яичницей. Славянство Вячеслава Иванова было вышедшим из-под спуда тихим светом, озарившим и преобразившим язык поэзии. Словесные эксперименты Городецкого были погремушками, очаровавшими слушателей, но быстро надоевшими. Русские тимпаны, что бы это ни значило.

И товарища своей юности, Блока, Городецкий со временем тоже начал трактовать несколько свысока, если и оправдывая его поэзию, то только за поэму «Двенадцать».

После Цветаевой с её русскими песнями, сказками Городецкий стал невыносимо пресен. Гениально исковерканный синтаксис Цветаевой совершенно не соответствовал строю народной речи, но неожиданно давал понятие о том праязыке, на котором, возможно, говорили наши предки.

Перу Городецкого принадлежит антиинтеллигентский пасквиль «Формуляр идеалиста», заканчивавшийся строками:

Всю жизнь стоял он за народ.
Но только задом наперёд.

Как будто это Городецкий о себе написал.

Советская литература умела похвалить пошедших к ней на службу поэтов. В предисловии к сборнику Городецкого в серии «Большая библиотека поэта» было написано: «Влияние школы Некрасова, а отчасти и творчества Демьяна Бедного явственно ощущается в ряде произведений…»

Влияние Демьяна Бедного – это даже для Городецкого слишком.

Мы поедем в Сестрорецкий
Вчетвером, вчетвером.
Если будет Городецкий –
Вшестером, вшестером.

Эти строки вполне можно трактовать как всеобщую историю акмеизма, походя рассказанную Александром Блоком. И действительно: всё за компанию.

Как же мучительно искал Гумилёв соратников, если согласился на Городецкого.

Потом рассказывал, что ценил Городецкого за детскость, за непосредственность. «Ведь не за стихи же», – добавлял Гумилёв.

Городецкий не просто стал одним из многих, но вторым синдиком Цеха Поэтов, одним из вождей движения. Теоретиком!

Третьим синдиком был Кузьмин-Караваев.

Акмеизм… первоначально течение называлось «адамизмом». Адамова голова – известный в народе символ смерти. Мертворожденное, мертвожившее, но оставившее после себя столько живого направление.

Перечисляя имена акмеистов, иногда хочется кого-нибудь от себя прибавить и всегда хочется забыть Городецкого.

Между прочим, Нарбут и Зенкевич только себя считали настоящими акмеистами.

Гумилёв отмечал, что Городецкий – «обладатель неиссякаемой певучей силы (и в этом отношении сравнимый только с Бальмонтом), носитель духа веселого и легкокрылого…»

Что ж, и Бальмонт и Городецкий – оба были ликующие, праздноболтающие, но только у Бальмонта есть несколько десятков абсолютно гениальных стихов, тех, где не прибавишь, не убавишь ни слова. А Городецкий? Убавить из его стихов можно любое слово – и только лучше станет.

Гумилёв радовался, что во время революции Городецкого не оказалось в Петрограде. Зная непосредственный нрав своего друга, Гумилёв опасался, что тот стал бы не стесняясь выказывать большевикам всё, что на душе, резать правду-матку. Дитя, чисто дитя. Непременно бы расстреляли.

Велико же было изумление Гумилёва, когда Городецкий появился в Петербурге с партийным билетом в кармане и с нелепым пафосом начал читать революционные стихи.

Дитя, чисто дитя… Нет с такого спросу.

Гумилёв говорил, что после этого стал больше ценить людей взрослых, дюжинных, отвечающих за свои поступки.

Георгий Иванов вспоминал, как вскоре после казни Гумилёва встретил в табачном магазине Городецкого.

«Теперь его серые глаза смотрели грустно и “душевно”:

– А бедный Гумилев!.. Такое несчастье...»

И в самом деле, какое несчастье…

«Нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит…»*

К сожалению, Городецкий не ограничился констатацией «такое несчастье…»

Но обескровливал поэзию
Стальным рассудка лезвиём,

– написал Городецкий о Гумилёве. Свою поэзию Городецкий обескровливал чем угодно, но только не рассудком.

Ужель поэтом не был ты?

– вопрошал Городецкий в финале стихотворения, которое было написано кем угодно, но не поэтом.

Иудин грех не прощается…

* *Василий Жуковский*. Торжество победителей.

Советский Союз не хотел отказаться от музыки Глинки и не мог допустить на сцену оперу «Жизнь за царя». Городецкий написал новое либретто, и появилась политически правильная опера «Иван Сусанин».

Когда в детстве Городецкого спрашивали: «Кем ты хочешь стать?», у него было два ответа – действительным статским советником или святым. Может быть, зря я написал «или», может быть – «и»!

Отчество «Митрофанович» было не случайным. Оно определяло кровную связь Городецкого с фонвизинским героем.

Почти у всех в Серебряном веке были духовные искания, метания; случились они и у Городецкого. И привели в мистический анархизм.

Что такое «мистический анархизм» и чем он отличается от анархизма обычного, не мог удовлетворительно объяснить даже его несчастный основатель Георгий Чулков. Что-то в этом учении чувствовалось определённо ноздрёвское: «Шампанское у нас было такое – что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико».

Вот такой не просто, а двойной анархизм, анархизм-матрадура, с подтанцовками. Городецкий для такого учения был одним из самых подходящих адептов.

Настолько устоялось мнение о Городецком как о плохом поэте, что было бы странно найти у него удачные строки. Городецкий и не обманывает – он безнадежно плох, он хорошо постарался, засыпая свои немногочисленные удачи словесным шлаком. А как следует потрудившись и разобрав шлак, понимаешь, что никаких настоящих удач и не было – попусту слова громоздились.

Незадолго до смерти Городецкий получил орден «Знак Почёта». Славы не осталось, так пусть хоть почёт будет.

Можно предположить, что сейчас трудно разделять восторги по поводу поэзии Городецкого, потому что все его открытия, мотивы использованы и развиты другими поэтами, куда более талантливыми, мастеровитыми, а иногда и гениальными. Клюев, Есенин, Цветаева, Вячеслав Иванов – как с ними тягаться Городецкому? Всего лишь предтеча – выстелил, так сказать, стези.

Но всё это не отменяет того факта, что стихи Городецкого просто из рук вон плохи. А интерес к народной культуре, к русскому потаённому языку реализовался в русской поэзии как-то помимо Городецкого.

В самом деле, так ли уж необходим Городецкий, чтобы заинтересоваться русским фольклором?

Если бы не было такого поэта, как Городецкий, то его следовало бы придумать. Для полноты колоды Серебряного века. Потому что какая игра без фосок?

У Золотого века был граф Хвостов, у Серебряного – Городецкий. «Се, мнится явно, сходство есть ». Но Золотой век был умён и насмешлив, а Серебряный – чересчур серьёзен, он не понял своего Хвостова и «сосульку, тряпку принял за важного человека !»

Есть люди, которым всё прощается: небрежность, необязательность, глупость, пошлость, в конце концов, даже настоящая подлость. Таким легко скользить по жизни. Такие не оставляют следа.

Городецкому простилось всё, даже его поэзия.

Попрыгунья стрекоза…

Стоны, звоны, перезвоны…

Иван РОДИОНОВ

Литературный критик, редактор. Родился в 1986 году в г. Котове Волгоградской области. Преподаёт русский язык и литературу.

Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Звезда», «Нижний Новгород», «Юность», в «Литературной газете» и ещё в двух десятках СМИ. Автор книг «сЧётчик. Путеводитель по литературе для продолжающих» и «На дно, к звёздам. Заметки об отечественной литературе 2019–2021 годов». Член Литературной академии премии «Большая книга». В разные годы – член жюри премий «Национальный бестселлер», «Лицей», «Ясная Поляна» (рабочая группа), «Болдинская осень», им. В. Катаева. Лауреат премий «Литблог» за лучший книжный блог года (2021), «Чистая книга» им. Ф. Абрамова (2024) и других.

Живёт в г. Камышине Волгоградской области.

СЛЕДИ ЗА ШЕРШНЯМИ

Андрей Ломовцев «Свет мой, зеркало, скажи…» Издательство «Перископ-Волга», 2024

Отечественный магический реализм, поизносившись в девяностые-нулевые на столичных окраинах, в городских промзонах и спальных районах, оказался перед развилкой. Направо пойдёшь – в социалку попадешь, возможно, с фемуклоном. Да магическим пессимизмом пропитаешься в облупившихся панельках с домовыми и беременными школьницами. А налево пойдёшь – на региональных просторах очутишься. Там, где магреализм образует симбиоз с этнофэнтези. Особенно удачно, если действие подобных книг происходит в какой-нибудь национальной республике – в таковых водится своя мифология, свои причудливые народные обычаи, древние боги-духи-сущности с таинственно звучащими именами. А где-то рядом таится уже не социалочка, но хоррор.

Собственно, роман Андрея Ломовцева «Свет мой, зеркало…» ближе ко второму повороту, нежели к первому. Хотя и с оговорками.

Итак, у главной героини, Катерины, есть бабушка-ведунья по имени Меликки. Она передаёт внучке свой потомственный ведьминский дар и зеркало, в котором можно видеть будущее. Меликки живет двести лет, застала Первую мировую и даже Отечественную войну 1812 года. Ещё у нее есть собственный ручной волк (точнее, не совсем волк), а на выручку в сложной ситуации готовы прилететь шершни – или, иначе, пташки Хийси, соратники лесного духа финской мифологии. Все это добро переходит в наследство Катерине, становящейся, как она сама отмечает, «координатором судеб». Также в романе наличествуют карельские заговоры, одержимый злом антагонист, а также великая сила и, как водится, великая ответственность.

Но этнофэнтези – лишь один слой романа, часто играющий роль лора, сеттинга. Есть и ещё как минимум два. За динамику, развитие и отчасти

экшн отвечает линия Катерины и ее экс-жениха по имени Кирилл. Дело в том, что он вампир. Вроде как энергетический – питается не кровушкой, а жизненными силами своей возлюбленной. И, лишившись после расставания столь мощного источника жизни, начинает лютовать. С другой стороны, очень велик соблазн прочесть Кириллово вампирство как метафору психологической тирании. Он манипулятор, сталкер, абьюзер, причём очень выпукло выписанный, как по учебнику. То есть, натурально, сущая нечисть, а уж какой природы-племени – непринципиально.

Наконец, есть в романе ещё один слой. История взаимоотношений главной героини и трех её подруг – Мары, Жанны и Нади. Сюжетный маховик текста и начинает раскручиваться, когда женщины видят в зеркале новообращенной ведуньи-Катерины варианты своей судьбы. Драматической, трагической, счастливой. Так в романе возникают вопросы о свободе воли и ответственности за знание. Нужно ли тебе увиденное в зеркале будущее? Этично ли рассказывать про него? Всё предопределено – или что-то можно изменить?

Четыре подруги здесь предельно непохожи – и друг друга же прекрасно дополняют. Почти как четыре стихии. Или, извините, как феи Винкс. Очень уж разные – и по предыстории, и по характеру. И у каждой в анамнезе есть собственные изломы, по-своему логично приводящие их к тому, что они видят в зеркале. У одной – властная и подавляющая волю мать, от которой у девушки все же хватает сил, как сейчас говорят, сепарироваться. У другой – чрезмерная страсть к контролю, риску и авантюрам. Третья слишком уверовала в стабильность и течение, которое принесет, куда надо, – что подсознательно ведет ее к саморазрушению. Разве что характер самой Катерины, как это зачастую и полагается главному герою, не такой яркий и выпуклый. Но у неё есть смягчающие обстоятельства – во-первых, она проводник, медиум, а во-вторых, романный протагонист.

Пожалуй, именно третий слой книги оставляет у читателя чувство некоторой недосказанности. С одной стороны, Жанна, Надежда, Мара – точно не статисты, нам сообщаются убедительные детали их биографий и характеров, им посвящены отдельные главы. А с другой – этого все-таки маловато. Ежели уж вводить столь значимых персонажей и раскрывать их, то и историй, с ними связанных, можно рассказать больше, и судьбы двух из них отчетливее закруглить. Впрочем, если у книги будет продолжение (например, с новыми вызовами для ведьмы-Катерины), то там всё это можно и доиграть.

Написан роман лаконичным литературным языком – не бедным и упрощённым, не вычурным и перегруженным, а таким, каким надо рассказывать жанровые истории. Авторской прямой речи почти нет, ни рассказчик, ни герои не рассуждают о вечных материях, что здесь тоже совершенно к месту. Много деталей, потому это не притча. Притчи бесплотны, а здесь – ворох реалий из разных времен: Великая Отечественная, девяностые, нулевые. Есть и отсылки к современности.

Наконец, «Свет мой, зеркало…», несмотря на эпизоды с бандитами, оторванными головами и прочим, отчего-то кажется очень уютным текстом. И эскапистским. Как книги того же Виктора Дашкевича, столь полюбившиеся нашему читателю в последние пару лет. Такая литература не играет в многоумие, не претендует на разрешение проклятых вопросов бытия. А берет читателя за руку, ведёт за собой. И уводит. Пойдём, говорит, будет интересно.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Наталия Петрищева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Елена Гаврюшова

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04
Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru
Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 27.05.2025.
Выпущено в свет 25.06.2025.
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13